

СЕЛЕСТА ИНГ

ПРОПАВШИЕ

НАШИ

СЕРДЦА

НЕВОЗМОЖНО ОТОРВАТЬСЯ  
СТИВЕН КИНГ



СЕЛЕСТА ИНГ

ПРОПАВШИЕ

НАШИ

СЕРДЦА

НЕВОЗМОЖНО ОТОРВАТЬСЯ  
СТИВЕН КИНГ



## Annotation

Автор двух мировых бестселлеров «Все, чего я не сказала» и «И повсюду тлеют пожары», не изменяя своему психологическому стилю, ступает на новую для себя жанровую территорию. Роман о материнской любви в мире, который поработщен страхом. Двенадцатилетний Чиж ведет тихую жизнь с любящим, но сломленным отцом, бывшим лингвистом, который теперь работает библиотекарем. Чиж знает, что нельзя задавать вопросы, нельзя выделяться, нельзя уходить далеко от дома. Последние годы их жизнь подчинена законам, призванным сохранить традиционные ценности. Новые законы позволяют властям забирать у оппозиционно настроенных родителей детей, из библиотек и книжных магазинов изымаются книги, считающиеся непатриотичными. Среди них и книжка стихов матери Чижа. Мать исчезла, когда Чижу было девять лет. Однажды Чиж получает загадочное письмо, в котором только странные рисунки, и отправляется на поиски матери. Его путешествие станет возвращением к сказкам и историям, которые мать когда-то успела ему прочитать и которые он забыл. Новый роман Селесты Инг — история о том, что можно выжить даже в переломанном и искореженном мире, если сердце твое уцелело.

- 
- [Селеста Инг](#)
    - 
    - [I](#)
    - [II](#)
    - [III](#)
    - [Пояснение автора](#)
    - [Благодарности](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)

- [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
-

# Селеста Инг

## Пропавшие наши сердца

*Посвящается моим родным*

*В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде...*

*Как-то раз кто-то «опознал» меня. Стоящая передо мной женщина с голубыми губами, Которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего Имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):*

*– А это вы можете описать?*

*И я сказала:*

*– Могу.*

*Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.*

*Анна Ахматова, «Реквием», 1935–1940*

*Но ПАКТ – это не просто закон. Это наше обещание друг другу: обещание отстаивать наши американские идеалы и ценности; обещание неминуемых последствий для тех, чьи антиамериканские идеи расшатывают страну.*

*Из руководства для юных патриотов  
«Что такое ПАКТ»*

OUR MISSING HEARTS by CELESTE NG

Copyright © 2022 by Celeste Ng

© Марина Извекова, перевод, 2023

© «Фантом Пресс», издание, 2023



Письмо приходит в пятницу, вскрытое и запечатанное самоклейкой, как все адресованные им письма: *Проверено в целях вашей безопасности – ПАКТ*. На почте не сразу разобрались, в чем дело: служащий развернул листок, просмотрел, передал контролеру, а тот – начальнику почтового отделения. Но в итоге его пропустили, сочтя безобидным. Обратного адреса нет, только нью-йоркский штемпель шестидневной давности. На конверте его имя, Чиж, – значит, письмо от матери.

Чижом его не называют уже давно.

Ему дали имя Ной, в честь дедушки со стороны отца – ему это когда-то рассказала мать, – а имя Чиж он себе придумал сам.

В слове этом ему всегда чудилось что-то очень близкое. Крылатое создание, кто-то маленький, шустрый. Непоседа-щебетун, всегда готовый оторваться от земли.

В школе на это смотрели косо, мол, Чиж – не имя, тебя зовут Ной. Воспитательница в детском саду возмущалась: зову его, а он будто не слышит, только на Чижа и откликается.

Потому что его так зовут, отвечала мать. Откликается на Чижа, вот и зовите его Чижом, и плевать на свидетельство о рождении. По каждой записке из школы она проходила с маркером – «Ноя» вычеркивала и писала «Чиж».

Такая была мать – самая ярая его защитница, всегда на его стороне.

В конце концов все смирились, но имя учительница с тех пор писала в кавычках, как бандитское прозвище: *Дорогой «Чиж», пусть мама подпишет согласие. Уважаемые мистер и миссис Гарднер, ваш «Чиж» – воспитанный и прилежный ребенок, но иногда витает в облаках*. И только в девять лет, когда мать ушла, он стал зваться Ноем.



Отец говорит, это к лучшему, и никому больше не позволяет его называть Чижом.

Если кто-то тебя так назовет, сразу поправь. Скажи: простите, вы ошиблись.

Не только это переменилось после ухода матери. Другая квартира, другая школа, другая работа у отца. Совсем другая жизнь, как будто отец решил полностью их преобразить, чтобы мать, если вернется, никогда их не нашла.

В прошлом году он как-то раз встретил по дороге домой свою бывшую воспитательницу. Ну, здравствуй, Ной, сказала она, как дела? – то ли свысока, то ли с жалостью.

Ему уже двенадцать; три года, как он стал Ноем, но имя Ной до сих пор для него точно карнавальная маска, неудобная, неприятная, и как носить ее, не знаешь.

И вот, словно с неба, письмо от матери. Почерк вроде бы ее – и Чижом его называет она одна. *Чиж*. После стольких лет он иногда забывает ее голос, пытается вызвать его в памяти, но голос ускользает тенью.

Дрожащими руками он открывает конверт. За три года ни слуху ни духу, зато теперь он наконец все поймет – почему она ушла, где пропадала.

А в письме ни слова, только рисунки. Весь лист, от края до края, изрисован кошками, каждая с мелкую монетку. Взрослые кошки и котята, полосатые и черепаховые, одни просто сидят, другие умываются, третьи нежатся на солнце. Совсем простенькие – таких ему рисовала когда-то мама на пакетах с завтраками, таких он рисует иногда в школьных тетрадках. Незатейливые, но выразительные. Живые. И больше ничего – ни строчки, ни слова, только кошки, кошки, кошки, шариковой ручкой. Рисунки будят смутное воспоминание, но за него никак не ухватиться.

Он переворачивает листок, ища хоть какую-то зацепку, но на обратной стороне пусто.

Ты что-нибудь помнишь про свою мать? – спросила его однажды Сэди. Они были на игровой площадке перед школой, наверху лесенки, а возле их ног уходила вниз горка-труба. Пятый класс, последний год,

когда на большой перемене выпускают на площадку. Всё здесь малышовое, всё они уже переросли. Внизу, по ту сторону асфальта, гонялись друг за дружкой одноклассники: кто не спрятался, я не виноват!

На самом деле он много чего помнил, только ни с кем не хотел делиться, даже с Сэди. Сблизило их то, что оба остались без матери, но истории были у них разные. Одно дело мама Сэди, другое – его мама.

Почти ничего, ответил он, – а ты про свою?

Сэди схватилась за поручни горки, будто собиралась подтянуться.

Помню только, что моя мама герой, сказала она.

Чиж не ответил. Всем было известно, что отца и мать Сэди лишили родительских прав, так она попала в приемную семью и в эту школу. Каких только слухов про них не ходило – мол, мама у Сэди чернокожая, а отец белый, но оба китайские прихвостни, предатели Америки. Про Сэди тоже болтали всякое – дескать, когда за ней пришли полицейские, она одного укусила, завизжала и кинулась к родителям, пришлось ее уводить в наручниках. И это у нее уже не первая приемная семья, все от нее отказывались, никто с ней сладить не мог. И даже после того, как ее забрали, родители ее продолжают бороться против ПАКТа, будто им все равно, вернут им дочь или нет; кажется, их арестовали, держат где-то в тюрьме. Наверняка и о нем, о Чиже, ходят слухи, но знать он о них не хочет.

Вот подрасту, продолжала Сэди, поеду домой, в Балтимор, и найду маму с папой.

Она была на год старше Чижа, хоть и училась с ним в одном классе, и никогда не давала ему забыть, что она взрослее. Второгодница, шептались родители, когда приходили за детьми в школу, а всему виной воспитание, и даже новая жизнь ее уже не исправит.

Как ты их найдешь? – спросил Чиж.

Сэди промолчала и, выпустив поручень, плюхнулась возле ног Чижа маленьким дерзким комочком. А через год, как раз перед каникулами, Сэди пропала – и вот, в седьмом классе, Чиж снова один.

Начало шестого, скоро придет папа и, если увидит письмо, заставит сжечь. Они не хранят дома ничего из маминых вещей, даже одежды. После маминого ухода папа сжег в камине ее книги, разбил



брошенный мобильник, а остальное сложил грудой перед домом. Не вспоминай о ней больше, сказал он тогда. К утру от вещей и следа не осталось – все растащили бездомные. А через несколько недель Чиж с папой переехали в квартиру при университете и ничего не взяли из старого дома, даже кровать оставили, потому что на ней спала мама. Теперь они спят на другой, двухэтажной, – папа внизу, Чиж наверху.

Лучше сжечь письмо самому. Все, что связано с мамой, хранить опасно. Мало того, когда он видит на конверте свое имя, свое прежнее имя, внутри словно приоткрывается дверца и оттуда сквозит. Порой он приглядывается к спящим на тротуаре бездомным, нет ли на ком из них маминых вещей. И, заметив что-то знакомое – шарф в горошек, блузку с красными цветами, фетровую шляпку, надвинутую на глаза, – в первый миг он думает: она. Нет, на самом деле даже проще, если она ушла навсегда, если она никогда не вернется.

Слышно, как с трудом ворочается в тугом замке папин ключ.

Чиж пулей летит в спальню и прячет письмо в наволочку.

Воспоминаний о маме у него не так уж много, но одно он помнит точно: у нее всегда был план. Она не стала бы просто так рисковать – искать их новый адрес, писать ему. Мамино письмо что-то да значит, в этом он уверяет себя снова и снова.

Она нас бросила – вот и все, что папа говорил.

И продолжал, опустившись на колени, чтобы заглянуть Чижу в глаза: это к лучшему. Забудь о ней. Я тебя никогда не брошу, и это главное.

Чиж тогда еще не знал, что она натворила. Лишь одно засело в памяти: в последние недели ему каждую ночь мешали уснуть приглушенные голоса родителей на кухне. Обычно их вечерние беседы убаюкивали, служили знаком, что все хорошо. А в те дни, напротив, их разговоры напоминали схватку: то папин голос, то мамин, напряженный, сквозь стиснутые зубы.

Даже тогда он понимал, что вопросов лучше не задавать, – просто кивал и грелся в папиных объятиях, теплых и надежных.

Лишь спустя время на школьной площадке ему бросили в лицо правду, точно камнем запустили; твоя мать предательница, сказал Диджей Пирс и плюнул ему под ноги.

Всем было известно, что мама его – ЛАП, лицо азиатского происхождения. «Лапки куриные», дразнились ребята. Это не новость, по лицу Чиж все и так ясно – по несходству с отцом, по выступающим скулам, по разрезу глаз. Если ты ЛАП, постоянно напоминали власти, это само по себе не преступление. ПАКТ не имеет отношения к расе, он касается патриотизма и мировоззрения.

Но из-за твоей матери начались беспорядки, сказал Ди-Джей, мне родители говорили. Она антинародный элемент, и за ней охотились, вот она и сбежала.

Папа его предупреждал: всякое будут болтать, ну а ты не обращай внимания, твоя задача сейчас – учиться. Отвечай: у нас с ней ничего общего. Говори: мы ее вычеркнули из жизни.

Он и говорил.

У нас с ней ничего общего, ни у папы, ни у меня. Мы ее вычеркнули из жизни.

Сердце готово было разорваться. На асфальте блестел и пенился плевков Ди-Джея.

Когда возвращается папа, Чиж сидит за учебниками. В обычный день он бы вскочил, прижался к папиному боку, обнял. Сегодня, весь в мыслях о письме, он прячет взгляд, еще ниже склонившись над книгой.

Опять лифт сломался, говорит папа.

Живут они в одном из общежитий, на самом верху, на десятом этаже. Здание из тех, что поновее, но университет такой древний, что даже новые корпуса на самом деле не такие уж новые.

Мы старше американского государства, повторяет папа. Он говорит «мы», хоть сам в университете давно уже не преподает. Теперь он работает в университетской библиотеке – ведет каталоги, расставляет книги по полкам, – а квартира у них служебная. Спору нет, выгодно, ведь платят папе мало и нужно экономить, но для Чиж служебная квартира – довольно сомнительный плюс. Раньше у них был целый дом с садом, а теперь двухкомнатная конура: спальня на двоих и гостиная, где один угол отведен под кухоньку. Плитка с двумя конфорками; мини-холодильник, такой крохотный, что даже упаковка молока в нем не помещается стоямя. Соседи снизу – студенты – постоянно меняются, едва их запомнишь в лицо, а они уже съехали.

Летом здесь духота, кондиционера нет; зимой батареи жарят на всю катушку. А когда капризный лифт отказывается работать, приходится бегать туда-сюда по лестнице.

Ну что ж, – папа ослабляет узел галстука, – скажу коменданту.

Чиж уткнулся в тетрадку, но чувствует, что папа на него смотрит, ждет, когда он поднимет глаза. Чиж не решается.

Сегодняшнее задание по английскому: *Дайте краткий ответ на вопрос: как расшифровывается «ПАКТ» и в чем его значение для национальной безопасности? Приведите три примера.* Чиж точно знает, какого ответа от него ждут, в школе им каждый год объясняют. Закон о Поддержке Американской Культуры и Традиций, так расшифровывается ПАКТ. В детском саду его называли клятвой: *Клянемся защищать американские ценности. Клянемся оберегать друг друга.* Каждый год они учат одно и то же, только формулировки все усложняются. Учителя на этих уроках многозначительно поглядывают на Чижа, следом оборачиваются и ребята.

Отложив сочинение, Чиж берется за математику. *Допустим, что ВВП Китая составляет 15 триллионов долларов и растет на 6 % в год. Если ВВП Америки равен 24 триллионам долларов, но рост составляет всего 2 % в год, через сколько лет Китай обгонит Америку?* С числами проще – всегда понятно, где правильно, а где ошибка.

Все хорошо, Ной? – спрашивает папа, и Чиж, кивнув, указывает на тетрадь: да, хорошо, просто задали много, и папа, вполне довольный ответом, уходит в спальню переодеваться.

Чиж сносит единицу, аккуратно обводит ответ. Нет смысла рассказывать папе, как прошел день, все дни у него одинаковые. Дорога в школу, всегда тем же маршрутом, линейка, гимн, переходы из класса в класс с опущенной головой, страх поднять руку. В удачные дни его не замечают, в обычные либо дразнят, либо жалеют. Неизвестно еще, что хуже, но и в том и в другом он винит маму.

Папу тоже нет смысла спрашивать о новостях. Насколько знает Чиж, у папы что ни день, то одно и то же: знай себе ходи с тележкой по рядам, расставляй книги, а в хранилище поджидает новая тележка. Сизифов труд, говорил папа, когда только начинал. Раньше он преподавал лингвистику; он свободно говорит на шести языках, читает еще на восьми. Это он рассказал Чижу миф о Сизифе, обреченном

вечно катить в гору камень. Папа любит мифы, непонятные латинские корни, длинные слова, которые нужно заучивать, как скороговорки. Когда папа рассказывает, он то и дело отвлекается: перескакивает с темы на тему, растолковывает сложные термины, объясняет происхождение слов и их родство – словом, глубоко копает. Раньше Чижу это нравилось – давным-давно, когда он был маленький, а папа преподавал в университете, и мама жила с ними, и все было по-другому. Когда он верил, что истории хоть что-то объясняют.

Теперь папа уже не рассказывает подолгу о словах. Из библиотеки он возвращается усталый, к вечеру у него болят глаза; он приходит окутанный тишиной, будто выпитал ее с книжных полок, из прохладной духоты, из мрака, который не в силах рассеять тусклые лампочки в проходах. О маме Чиж не расспрашивает, да и сам папа избегает о ней говорить, по одной простой причине: лучше не жалеть о том, чего уже не вернешь.

И все-таки она возвращается – внезапными проблесками, обрывками полузабытых снов.

Ее смех, хриплый, будто фырчит тюлень, – смеялась она раскатисто, запрокинув голову. Неженственно, говорила она с гордостью. Или ее привычка в задумчивости барабанить пальцами, словно мысли ей не дают покоя. И еще воспоминание: глубокая ночь, Чиж сильно простужен. Просыпается в поту, сам не свой от страха, задыхаясь от кашля и слез, грудь будто залита расплавленным свинцом. Он, кажется, умирает. Мама, завесив полотенцем ночник, сворачивается клубочком рядом, прильнув к его лбу прохладной щекой, и он засыпает в ее объятиях, и всю ночь мама его обнимает. А когда он просыпается, мама по-прежнему рядом, и страх, что встрепенулся было в нем, топорща перья, снова прячется.

Чиж с папой сидят за столом – Чиж барабанит карандашом по листку, папа уткнулся в газету. Все вокруг узнают новости из интернета – услышав сигнал, достают из карманов телефоны, прокручивают ленту. Раньше и папа так делал, но после переезда отказался и от телефона, и от ноутбука. Старомодный я человек, и все тут, отвечал он на расспросы Чижа. Теперь он читает газету, от корки до корки. До последнего слова, говорит он, каждый день. В его устах

это почти похвальба. Чиж решает задачи, стараясь не оборачиваться в сторону спальни, где лежит письмо. Чтобы отвлечься, он пробегает взглядом заголовки на первой странице газеты, заслонившей от него папу. «ЗОРКИЕ ДРУЖИННИКИ ПРЕДОТВРАТИЛИ БЕСПОРЯДКИ В ВАШИНГТОНЕ».

Чиж считает.

*Если корейская машина стоит 15 000 долларов, но служит она всего три года, а американская стоит 20 000 долларов, но служит десять лет, то сколько денег можно сэкономить за 50 лет, если покупать только американские машины? Если опасный вирус распространяется среди десяти миллионов человек и каждый день поражает вдвое больше людей...*

Папа, сидя напротив, сворачивает газету.

Осталось только сочинение. Чиж с трудом выдавливает из себя слово за словом, выходит косноязычно. *ПАКТ – это очень важный закон, который положил конец Кризису и поддерживает безопасность в нашей стране, потому что...*

Папа, свернув газету, смотрит на часы, и Чиж облегченно вздыхает – наконец можно отложить сочинение и карандаш.

Почти полседьмого, говорит папа. Идем ужинать.

Ужинают они в столовой через дорогу. Еще одно якобы преимущество папиной работы: не нужно готовить, для отца-одиночки в самый раз. Если вдруг они опаздывают на ужин, папа что-то стряпает на скорую руку – скажем, варит макароны из синей коробки, что стоит в буфете; скудный ужин, совсем не утоляет голод. Когда мама еще жила с ними, ели они все втроем за кухонным столом, под разговоры и смех, а потом мама, тихонько напевая, мыла посуду, а папа вытирал.

Они выбирают самый уединенный столик, в дальнем углу обеденного зала. Вокруг сидят по двое-трое студенты, со всех сторон струится их шепот. Чиж не знает их по именам и лишь немногих знает в лицо: он не привык смотреть людям в глаза. Просто иди мимо, всегда говорит папа, если на них смотрят прохожие, ощупывая взглядами, щекочущими, словно сороконожки. Чиж рад, что не нужно улыбаться и кивать студентам, поддерживать разговор. Студенты тоже не знают, как его зовут, да и все равно к концу года они разъедутся.

Под конец ужина с улицы доносится шум. Крики, грохот, визг тормозов. Сирены.

Никуда не уходи, велит папа, а сам подбегает к окну, где уже толпятся студенты, выглядывая на улицу. На столах остывают забытые тарелки, по стенам и потолку мечутся сине-белые лучи. Чиж не трогается с места. Скоро все кончится. Ни во что не ввязывайся, учит его папа, это значит – не привлекай к себе внимания. Если видишь, что где-то что-то неладно, сказал папа однажды, разворачивайся и беги. Такой он, папа, – идет по жизни с опущенной головой.

Но шепот в столовой нарастает. Все громче сирены, все ярче огни, по потолку пляшут жутковатые широкие тени. За окном недовольные голоса, толкотня, топот. Ничего подобного Чиж никогда не видел, так и тянет подбежать к окну, выглянуть, узнать, в чем дело. И в то же время хочется юркнуть под стол, спрятаться, как загнанный зверек, – Чиж и не знал, что он такой пугливый. С улицы хрипит репродуктор: «Полиция Кембриджа. Всех просим не покидать помещений. Не подходите к окнам до особого распоряжения».

Студенты возвращаются на места, а Пегги, заведующая столовой, обходит зал и наглухо задергивает все шторы. В воздухе звенит шепот. Чиж представляет на улице разъяренную толпу, баррикады из мебели и обломков, коктейли Молотова, пламя. Перед ним оживают фотографии Кризиса из школьных учебников. Колено дрожит, постукивает о ножку стола, а когда возвращается папа, дрожь опускается в самую глубь, в сердце.

Что случилось? – спрашивает Чиж.

Папа качает головой: кажется, провокация. И, заглянув в огромные от испуга глаза сына, добавляет: не волнуйся, Ной. Полиция уже здесь, они во всем разберутся.

В годы Кризиса беспорядки были обычным делом, об этом им твердили в школе, сколько он помнит. Армии безработных, закрытые заводы, дефицит; банды грабили магазины, буянили на улицах, поджигали целые кварталы. Страну парализовало.

Невозможно было жить нормальной жизнью, объяснял им учитель обществознания, переключая слайды на интерактивной доске, – улицы в руинах, выбитые окна. Танк посреди Уолл-стрит. Рыжий столб огня и дыма под аркой в Сент-Луисе.

Понимаете, дорогие мои, как вам повезло? – в наше время благодаря ПАКТу вооруженные протесты остались в прошлом.

И в самом деле, беспорядков Чиж почти не застал. ПАКТ был принят десять с лишним лет назад подавляющим большинством голосов в обеих палатах Конгресса и подписан президентом в рекордный срок. По данным многочисленных опросов, большинство населения до сих пор поддерживает ПАКТ.

Однако в последние месяцы страну захлестнуло нечто непонятное – не забастовки, шествия и волнения, о которых рассказывали им в школе, а что-то новое. Странные, с виду бессмысленные выходки, слишком дикие, чтобы о них умолчать; все устроено неизвестными, все направлено против ПАКТа. В Мемфисе злоумышленники в балаклавах пригнали к берегу мусоровоз, высыпали в реку полный кузов шариков для пинг-понга и скрылись. На каждом шарике алело крохотное сердечко, а под ним надпись: «Долой ПАКТ!» Не далее как на прошлой неделе два дрона развернули над Бруклинским мостом транспарант. «К черту ПАКТ», – гласил он. Не прошло и получаса, как полиция перекрыла мост, подогнала к опорам автокран и сняла транспарант, но Чиж видел фото с телефонов, успевшие разойтись по Сети, их опубликовали на всех новостных сайтах и даже в некоторых газетах. Большая растяжка с толстыми черными буквами, а внизу, кровавым пятном, сердечко.

В Нью-Йорке, пока был перекрыт мост, движение остановилось на несколько часов, люди выкладывали видео с длинными рядами машин, цепочкой огней, уходящей в ночное небо. Домой мы попали к полуночи, рассказывал журналистам один из водителей. Под глазами у него темнели круги, точно копоть. Нас, можно сказать, в заложниках держали, говорил он, и никто не понимал, в чем дело, – думали, теракт. В новостях приводили цифры: сколько потрачено впустую бензина, выделено углекислого газа, какие убытки понесла из-за простоя экономика. По слухам, в Миссисипи до сих пор находят пинг-понговые шарики; в Мемфисе полиция опубликовала фото утки, которая задохнулась, проглотив шарик, – с раздутым, словно от опухоли, зобом.

Форменное безобразие, кипятился учитель обществознания. Если кто из вас услышит, что готовятся подобные акции, ваш гражданский долг согласно ПАКТу – сообщить властям.



В школе провели внеплановую беседу, дали дополнительное задание: написать сочинение из пяти абзацев о том, как нынешние беспорядки угрожают обществу. Пока Чиж писал, рука у него заныла и онемела.

И вот провокация, совсем рядом, под окнами столовой. Чижа переполняет ужас пополам с любопытством. Что там – теракт? Восстание? Бомба?

Папа тянется к Чижу через стол, берет его за руку. Раньше, когда Чиж был маленький, папа часто так делал, а теперь это редкость, и Чиж втайне тоскует. Ладонь у папы мягкая, без мозолей – ладонь кабинетного ученого. Пальцы, теплые и сильные, обхватывают пальцы Чижа и ласково гладят.

Знаешь, откуда произошло слово «провокация»? – говорит папа. И объясняет: *pro* означает «вперед», «за» или «в пользу». Как в словах «прогресс», «проамериканский» или «прокурор».

Давняя папина привычка – разбирать слова на части, точно старые часы, чтобы показать, как устроен механизм. Он будто сказку Чижу рассказывает, старается его успокоить, отвлечь, а может быть, и самому отвлечься.

А *vocare* означает по-латыни «звать, бросать вызов». От слова *vox*, «голос». Как в словах «вокал», «вокалист».

Папин голос от волнения взлетает вверх, звенит натянутой струной. И «провокация», говорит он, на самом деле значит «вызов, подстрекательство».

Чиж представляет взорванные рельсы, перекрытые дороги, руины зданий. Вспоминает, как в школе им показывали фотографии: демонстранты швыряют камни, полицейские заслоняются стеной из щитов. На улице работает рация – сквозь помехи пробиваются голоса и вновь пропадают. Студенты за столиками уткнулись в телефоны – выкладывают новости, ищут объяснений.

Ничего, Ной, уверяет папа, скоро все кончится. Нечего бояться.

Я и не боюсь, отвечает ему Чиж. Он и правда не боится. Волосы у него встают дыбом не от страха, а от напряжения, что сгустилось в воздухе, словно перед грозой.

Минут через двадцать снова хрипит динамик – звук пробивается сквозь задернутые шторы и двойные стекла: «Отбой тревоги. В дальнейшем просим сообщать о любых подозрительных действиях».

Студенты понемногу расходятся – ставят на стойку подносы и спешат в общежитие, ворча, что их задержали. Уже перевалило за половину девятого, и у всех вдруг обнаружились срочные дела. Чиж с папой собираются, а Пегги отдергивает шторы, за окнами уже стемнело. В глубине зала суетятся работницы столовой – снуют от столика к столику с тряпками и флаконами моющего средства, одна возит щеткой по кафелю, подметая крошки и овсяные хлопья.

Давайте я шторы отдерну, Пегги, предлагает папа, и Пегги благодарно кивает.

Оставляю на вас, мистер Гарднер, – и с этими словами она спешит на кухню. Чиж не сидится на месте: скорей бы папа закончил, скорей бы домой.

Чиж с отцом выходят на улицу – прохладный воздух неподвижен. Ни полицейских машин, ни людей, квартал опустел. Чиж ищет глазами разрушения – воронки, сгоревшие здания, битое стекло. Нет, ничего похожего. А когда они переходят дорогу, Чиж видит на асфальте, посреди перекрестка, пятно алой краски. Размером с машину, невозможно такое не заметить. Сердце, как на растяжке в Бруклине. И его обрамляет надпись: ВЕРНИТЕ ПРОПАВШИЕ НАШИ СЕРДЦА!

Чижа пробирает озноб.

На перекрестке он замедляет шаг, вглядываясь в надпись. ПРОПАВШИЕ НАШИ СЕРДЦА. Краска липнет к подошвам кроссовок, в горле пересохло. Чиж косится на папу – узнал ли он? Но папа тянет его за руку, тащит прочь, не глядя под ноги. И в глаза Чижу он тоже не смотрит.

Поздно уже, торопит он. Скорей домой.

Мама была поэтесса.

Знаменитая, сказала однажды Сэди, а Чиж пожал плечами: да ну!

Шутишь? – ответила Сэди. Кто не знает Маргарет Мiao?

Она призадумалась.

То ее стихотворение точно все слышали.

Сначала это была строчка как строчка.

Вскоре после маминого ухода Чиж нашел в автобусе, в щели между стеной и креслом, листовку, тонкую, словно крыло мертвой

бабочки. Одну из многих. Папа выхватил ее у Чижа, скомкал, швырнул под ноги.

Не подбирай мусор, Ной.

Но Чиж успел прочесть: ВСЕ ПРОПАВШИЕ НАШИ СЕРДЦА.

Фразы этой он прежде не слышал, но после маминого ухода она стала попадаться всюду, месяц за месяцем, год за годом. В подземном переходе, на ограде баскетбольной площадки, на фанерных щитах вокруг долгостроя. ПОМНИТЕ ПРОПАВШИЕ НАШИ СЕРДЦА. Широкой кистью поперек плакатов народной дружины: ГДЕ ПРОПАВШИЕ НАШИ СЕРДЦА? А в одно достопамятное утро слова эти появились на листовках – ночью кто-то их разбросал на тротуаре, у бетонных подножий фонарных столбов, подсунул под дворники машин на стоянке. Листки размером с ладонь, размноженные на ксероксе, и на каждом – одна-единственная строчка: ВСЕ ПРОПАВШИЕ НАШИ СЕРДЦА.

Наутро надписи на стенах замазывали, плакаты срывали, листовки сметали, словно сухие листья. Чистота и порядок – уж не привиделось ли ему?

Тогда он не знал, что это означает.

Это лозунг против ПАКТа, коротко ответил на его вопрос папа. Это распространяют те, кто добивается отмены ПАКТа. Безумцы, добавил он. Одно слово, чокнутые.

Да, против ПАКТа только чокнутый станет бороться, согласился Чиж. ПАКТ помог справиться с Кризисом; ПАКТ стоит на страже покоя и безопасности. Это и детсадовцу понятно. ПАКТ продиктован здравым смыслом: если поступаешь непатриотично, последствий не миновать, а если нет, то к чему волноваться? А если ты увидел или услышал что-нибудь непатриотичное, твой долг – сообщить властям. Чиж не представляет жизни без ПАКТа; он непреложен, как закон всемирного тяготения или как заповедь «не убий». Непонятно, кому не угодил ПАКТ, при чем тут сердца и как они могут пропасть? Разве можно жить без сердца?

Ничего этого Чиж не понимал, пока не встретил Сэди. Ее забрали у родителей, потому что те выступали против ПАКТа.

А ты не знал? – удивилась она. Не знал, что за «последствия»? Да ну, Чиж, не придуривайся!

Она ткнула пальцем в листок с домашним заданием: *Три столпа ПАКТа. ПАКТ запрещает пропаганду антиамериканских ценностей. ПАКТ обязывает всех граждан сообщать о потенциальных угрозах нашему обществу.* И там, куда Сэди показывала пальцем: *ПАКТ защищает детей от дурного влияния.*

Даже тогда он не желал верить. Может быть, у кого-то и отобрали детей из-за ПАКТа, но это единичные случаи, иначе об этом уже заговорили бы, разве нет? Если у тебя забрали ребенка, значит, ты и вправду опасен и ребенка нужно оградить – от тебя, от твоих слов и дел. И если на то пошло, говорят некоторые, у тех, кто издевается над детьми, тоже нельзя их отбирать?

Так он и сказал Сэди сгоряча, и она притихла. А потом сжала в кулаке свой бутерброд с тунцом и майонезом и залепила комком Чижу в лицо. Чиж протер глаза, а ее уже и след простыл, и весь день его преследовал запах рыбы.

Через несколько дней Сэди подошла к нему и что-то выудила из рюкзака.

Смотри, сказала она. Впервые за эти дни она к нему обратилась. Смотри, Чиж, что я нашла.

Газета почти двухлетней давности, с потрепанными уголками и поблекшими строчками. И заголовок, чуть ниже сгиба: «МЕСТНАЯ ПОЭТЕССА ВОВЛЕЧЕНА В БЕСПОРЯДКИ». Мамина фотография – улыбка, ямочка на щеке. Перед глазами все заволгло серой пеленой.

Где ты это взяла? – спросил Чиж, а Сэди пожала плечами: в библиотеке.

*Эти строки скандируют на митингах против ПАКТа по всей стране, но корни их здесь – так близко, что становится страшно. С этой фразой все чаще и чаще обрушиваются на всенародно поддерживаемый закон о национальной безопасности; фраза эта – детище местной поэтессы Маргарет Мяо, строчка из ее сборника «Пропавшие наши сердца». Мяо, дочь китайских иммигрантов и мать несовершеннолетнего сына...*

Строчки поплыли перед глазами.

Улавливаешь, что это значит, Чиж? – спросила Сэди. И встала на цыпочки – от волнения, была у нее такая привычка. Твоя мама...

Тут Чиж все понял. Понял, почему она их бросила, почему они с папой никогда о ней не вспоминают.

Она одна из них, сказала Сэди. Она где-то там, организует протесты. Борется против ПАКТа, за его отмену, чтобы дети вернулись домой. Как мои родители.

Глаза ее потемнели и мечтательно блеснули. Казалось, она смотрит сквозь Чижа на что-то далекое, нездешнее.

Может быть, они там, все вместе, сказала Сэди.

Вот размечталась, подумал Чиж. Мама – во главе бунтовщиков? Вряд ли – а точнее, и вовсе невозможно. Но вот же они, ее строки, на всех плакатах и транспарантах с призывом к отмене ПАКТа, по всей стране.

Как именуют в новостях противников ПАКТа? Подлые диверсанты. Вероломные китайские клеветы. Язвы на теле американского общества. Некоторые слова ему пришлось искать в папином словаре, вместе со словами «ликвидировать» и «нейтрализовать».

Всякий раз, когда им попадались мамины строки – в новостях, на экране чужого телефона, – Сэди толкала Чижа в бок, будто заметила в толпе знаменитость. Значит, мама где-то там – печется о чужих детях, а родного ребенка бросила? Несправедливость поражала его до глубины души.

А теперь она уже не «где-то там». Вот мамины слова, алеют, точно кровь, посреди улицы, где он живет. А наверху, у него под подушкой, мамино письмо. И на асфальте возле его ног – такое же сердце, как на Бруклинском мосту. Чиж оглядывается через плечо, всматривается в темные уголки двора и не понимает, отчего у него похолодело в горле – от страха или надежды, не знает, чего бы он хотел – броситься в мамины объятия или найти, где она прячется, и вытащить ее на свет. Но в темных углах никого, и папа тянет его за руку в дом, на лестницу, вверх по ступенькам.

Дома папа, взмокший и усталый после подъема, снимает пальто и вешает на крючок. Чиж снова берется за уроки, но мысли не

слушаются, разбегаются. Он смотрит в окно на двор, но видит лишь отражение их убогой конуры. На столе перед ним черновик сочинения.

Папа, зовет он.

Папа из своего угла поднимает взгляд от книги. Он читает словарь, рассеянно переворачивая страницы, – старая привычка, странная и в то же время милая. Когда-то родители проводили так целые вечера, на диване с книгами, и Чиж заглядывал через плечо то папе, то маме, выпрашивал значения самых трудных слов. Теперь в квартире у них из книг одни словари – только их они и забрали из домашней библиотеки, когда переезжали. Сейчас по глазам видно, что папа бесконечно далеко, в другом времени, изучает извивы истории какого-нибудь древнего слова. Чиж жаль возвращать его в наш мир, но ему необходимо знать правду.

Ты, случайно... Чиж откашливается. Ты, случайно, писем от нее не получал, нет?

Папино лицо застывает на миг, словно маска. Хоть Чиж и не сказал, о ком речь, все и так ясно. Для них существует только одна «она». Папа захлопывает словарь.

Разумеется, нет. Он подходит к Чижу вплотную, нависает над ним. Кладет руку ему на плечо.

Она исчезла из твоей жизни. Для нас ее больше нет. Понимаешь, Ной? Скажи, что понимаешь.

Чиж точно знает, что он должен сказать – понимаю, конечно, – но слова застревают в горле. Да есть она, есть! – хочет он закричать. Она... я не знаю... она пытается что-то мне рассказать, надо со всем этим развязаться, распутать этот клубок. И пока Чиж раздумывает, папа смотрит ему через плечо на неоконченное сочинение.

Дай взглянуть, просит он.

Папа уже несколько лет не преподает, но потребность учить никуда не делась. Ум его как большой пес, запертый в загоне, – мается без дела, рвется на волю. Вот папа уже склонился над сочинением, тянет к себе листок, который Чиж заслонил рукой.

Еще не готово! – Чиж грызет ластик на конце карандаша. Ластик крошится на зубах, во рту привкус графита и резины. Папа качает головой: яснее надо излагать. Вот, смотри, ты написал: *ПАКТ очень важен для национальной безопасности*. Надо уточнить, усилить: *ПАКТ*

– ключевое звено в защите Америки от тлетворного иностранного влияния.

Он проводит пальцем по строке, размазывая буквы.

Или здесь. Пусть учитель увидит, что ты все понял – до конца разобрался. *ПАКТ защищает невинных детей от недостойных, непатриотичных родителей, внушающих им ложные, подрывные антиамериканские идеи.*

Он постукивает пальцем по бумаге.

Ну же, папа снова тычет в листок, так и напиши.

Чиж оборачивается, стиснув зубы и гневно сверкая глазами. Впервые в жизни папа видит у него такие глаза – словно два кремня, от которых разлетаются искры.

Пиши, велит папа, и Чиж пишет, и папа, шумно вздохнув, уходит в спальню со словарем в руках.

Покончив с уроками и почистив зубы, Чиж гасит в квартире свет и прячется за занавеской. Отсюда видна столовая через дорогу – сейчас она закрыта, окна темные, лишь тускло мерцают красные буквы «Выход». Вот подъезжает к обочине грузовик, гаснут фары. Выходит человек, еле различимый в темноте, что-то ставит посреди проезжей части и берется за работу. Через миг Чиж понимает: рабочий вынес ведро с краской и поролоновый валик. И замазывает сердце, наутро от него и следа не останется.

Ной, слышен за дверью папин голос, пора спать.

Ночью, пока папа тихонько похрапывает на нижней койке, Чиж, сунув руку в наволочку, нащупывает мягкий край конверта. Бережно достает письмо, разглаживает. Включает фонарик, который хранит здесь, наверху, чтобы читать тайком по ночам.

В зыбком свете кошки сливаются в мешанину из прямых и кривых линий. Что это – тайное послание? Шифр? Может быть, здесь спрятаны буквы – в полосках, кончиках ушей, изгибах хвостов? Чиж поворачивает письмо так и сяк, водит лучом фонарика вдоль линий, нарисованных шариковой ручкой. На спинке у полосатой кошки ему чудится буква М; изгиб лапки черной кошки напоминает С или Г, но трудно сказать наверняка.

Уже готовясь убрать письмо, он кое-что замечает – луч фонарика, словно миниатюрная линза, высвечивает деталь. В уголке, там, где должен быть номер страницы, – прямоугольник, величиной с ноготь мизинца. А в нем – другой, поменьше. Кошкам, разумеется, дела до него нет; если не присматриваться, то и не разглядишь его среди них. Но Чиж все-таки заметил. Что это – рамка, а в ней пустой лист? Старый телевизор с выключенным экраном? Окно, а за окном пустота?

Чиж приглядывается. С одной стороны точка, с другой – две петли. Дверь. Дверца чулана или сундука, закрытая наглухо. И тут словно ветерок из прошлого перевернул страницу, наваял воспоминание. Мамина сказка, полузабытая. Мама все время ему что-то рассказывала: сказки, притчи, легенды, мифы – прекрасные пестрые небылицы, разноцветье вымысла. Глядя на рисунок, Чиж вспоминает: да, была такая сказка. Про кошек, сундук и мальчика. Подробностей он не помнит, но точно была такая сказка. Что же там вначале?

*Давным-давно... Давным-давно жил да был мальчик, который очень любил кошек.*

Он ждет, когда сам собой вспомнится мамин голос, доскажет ему сказку до конца. Ждет, что покатится история, словно мячик с горы. Но слышит лишь папино мерное дыхание. Он забыл мамин голос. А голос, что рассказывает ему сказку, – его собственный.



После урока естествознания все бегут в буфет, толкаются в очереди за какао и сосисками в тесте, спешат занять самые удобные столики. Чиж никогда не любил обедать здесь, под вечный шепоток. Несколько лет он занимал столик в самом укромном углу, за торговым автоматом. А потом, под конец пятого класса, появилась Сэди и без смущения отвоевала место для них двоих. И весь этот год, чудесный год, он был не один. В первый же день Сэди схватила его за руку и потащила на улицу, на чахлый газончик. Там, в тиши и прохладе, все звуки казались громче, и когда он опустился рядом с ней на траву, он слышал все: и шорох пакетов, из которых доставали они бутерброды, и



как шаркнула по бетону кроссовка, когда Сэди поджала под себя ногу, и шелест молодой листвы на ветру.

За спиной у них стали шептаться по-другому. Ребята теперь распевали: «Тили-тили-тесто, жених и невеста!»

Эту чушь до сих пор поют? – удивился папа, когда Чиж ему рассказал. Этой ерунде даже конец света не страшен. Все книги сожгут, а она останется.

Папа умолк на полуслове.

Не обращай внимания, скоро им надоест.

И задумался. Только не очень-то водись с этой Сэди, добавил он. А то все решат, что вы одного поля ягода.

Чиж кивнул, но с тех пор он и Сэди обедали вместе каждый день, в любую погоду, – вместе жались под козырьком в дождь, вместе дрожали от холода в зимнюю слякоть. А когда Сэди пропала, Чиж в буфет уже не возвращался и по-прежнему обедал в их любимом месте. К тому времени он уже усвоил: иногда быть одному – это не самое страшное.

Сегодня на улицу он не спешит, а задерживается в кабинете естествознания, нарочно долго роется в сумке с книгами, ждет, когда все разойдутся. За учительским столом миссис Поллард, складывая аккуратной стопкой бумаги, устремляет на него испытующий взгляд.

Тебе что-нибудь нужно, Ной? – спрашивает она. И достает из ящика стола коричневый бумажный пакет с аккуратно загнутым краем – свой обед. Позади нее на стене пестреют плакаты. На одном – гирлянда бумажных кукол, красных, белых и синих, растянутая вдоль карты Соединенных Штатов, и надпись: «МЫ ВМЕСТЕ!» Другой гласит: «Каждый благонадежный гражданин сеет добро, неблагонадежный – зло». И флаг, как в каждом классе, – нависает над плечом миссис Поллард, словно занесенный топор.

Можно я посижу за компьютером? – спрашивает Чиж. Хотел кое-что поискать.

Он указывает на стол возле дальней стены, где стоят шесть ноутбуков для общего пользования. Большинство одноклассников Чижа всё ищут в телефонах, а Чиж папа отказывается покупать смартфон. Ни в какую, поэтому Чиж – один из немногих, кто пользуется школьными компьютерами. За ними – пустые книжные

полки, словно памятник из далекой эпохи, а книг на них Чиж никогда не видел.

Знаете ли вы, объясняла им год назад учительница, что бумажные книги устаревают, не успев выйти в свет?

Первый день учебного года, классный час. Все ребята сидят кружком на ковре возле ее ног.

Вот до чего быстро меняется мир. И наши представления о нем.

Учительница щелкнула пальцами.

Мы хотим, чтобы у вас была самая свежая информация. Чтобы вы пользовались только проверенными, современными источниками. Все нужное вы найдете здесь, в Сети.

Но куда они все делись? – подала голос Сэди. В школе она была новенькая, непуганая. Книги. Здесь точно были книги, иначе зачем тут полки? Куда вы их дели?

Улыбка учительницы стала натянутой.

Нельзя копить до бесконечности, объяснила она. Вот мы и изъяли книги, которые сочли ненужными, неприемлемыми или устаревшими. Но...

То есть вы все эти книги запретили, сделала вывод Сэди, а учительница так и заморгала сквозь очки.

Да что ты, милая, возразила она. Эта мысль напрашивается, но нет. Ты что, не слыхала про Билль о правах?

Весь класс со смеху так и покатился, а Сэди вспыхнула.

Каждая школа сама вправе решать, объясняла учительница, какие книги полезны ученикам, а из каких можно набраться заразы. Позвольте задать вам всем один вопрос: ваши родители хотят, чтобы вы водились с плохими людьми?

Учительница обвела взглядом класс. Ни одна рука не поднялась.

Нет, конечно. Родители пекутся о вашей безопасности, это их обязанность. Все вы знаете, что и у меня есть дети, да?

Согласный шепот.

Представьте себе лживую книгу, продолжала учительница. Или книгу, которая вас учит плохому – скажем, вредить другим или себе. Ваши родители никогда бы не поставили такую книгу дома на полку, верно?

Все в классе округлили глаза, закачали головами. Одна лишь Сэди сидела неподвижно, сжав губы ниточкой.

Вот так, сказала учительница. Все мы оберегаем детей. Все мы хотим оградить их от дурных идей – тех, которые могут им навредить, склонить к плохим поступкам. Против самих себя, против родных, против страны. От таких книг мы избавляемся, а вредоносные сайты блокируем.

И с улыбкой оглядела ребят.

Наш учительский долг, сказала она ласково, но твердо, заботиться обо всех вас как о родных детях. Решать, что стоит хранить, а от чего избавиться. Последнее слово остается за нами.

Наконец взгляд ее остановился на Сэди.

Так было всегда, продолжала она. Ничего не изменилось.

А сейчас, пока миссис Поллард раздумывает, Чиж ждет затаив дыхание. За месяц с начала учебного года он уже успел привязаться к миссис Поллард; дочь ее, Дженна, в шестом классе, а сын, Джош, – в первом. Волосы у нее светлые с проседью, она носит пиджаки с карманами и большие круглые серьги, похожие на карамельки. Если речь заходит о ПАКТе, на Чижа она никогда не смотрит, не то что учитель обществознания, а если слышит, что Чижа дразнят, говорит: «Седьмой класс, не отвлекаемся» – и стучит кулаком по столу.

Это для школы? – спрашивает она.

Чижа чем-то настораживает ее тон – а может быть, прищур; она будто знает, что он задумал. Ему бы побольше уверенности! Знать бы, что его поиски – не пустая затея. На лацкане у миссис Поллард поблескивает при свете ртутных ламп крохотный флажок.

Не совсем, отвечает Чиж. Просто интересно узнать. Про кошек, придумывает он на ходу. Мы с папой... кошку хотим завести. Я хотел почитать про разные породы.

Миссис Поллард чуть приподнимает бровь.

Вот как, отвечает она весело, питомца завести решили! Чудесно! Если нужна будет помощь, зови меня.

Кивком указав на блестящий серебристый ряд компьютеров, она разворачивает свой обед.

Чиж выбирает компьютер подальше от учительского стола. На каждом ноутбуке блестит небольшая металлическая табличка: «Дар семьи Лю». Два года назад родители Ронни Лю купили компьютеры в каждый класс и оплатили для школы высокоскоростной интернет. Это наш долг перед обществом, сказал мистер Лю на церемонии открытия.

Он предприниматель – занимается недвижимостью, и директор поблагодарил его за щедрый дар: мол, это прекрасно, когда граждане помогают там, где городские власти не справляются. Хвалил семью Лю за активную жизненную позицию. В тот же год родители Артура Трэна пожертвовали денег на ремонт школьного буфета, а отец Дженни Юн подарил школе новый флаг и флагшток.

Чиж водит мышкой, и оживает экран, появляется фото горы Рашмор на фоне безоблачного неба. Чиж открывает браузер, и разворачивается окно, наверху лениво помаргивает курсор.

Что набирать? «Где моя мама?» Так уж об этом интернет и расскажет!

Чиж думает. Миссис Поллард за учительским столом, поглядывая в телефон, жует бутерброд. Пахнет арахисовой пастой. За окном кружит в воздухе бурый лист, опускается на тротуар.

«Сказка о мальчике и кошках», – набирает Чиж, и на экране вспыхивают строки.

«Черная кошка (рассказ)». «Кошки в литературе». Чиж нажимает на ссылки – вдруг что-то знакомое встретится, вспомнится. «Кот в колпаке». «Сказка о котенке Томе». «Популярная наука о кошках, написанная Старым Опоссумом». Ничего не напоминает. Поиск уводит его все дальше. «Удивительные и правдивые истории о кошках». «Пять рассказов о кошках-героях». «Питание котенка и уход за ним». Столько историй о кошках, но маминой среди них нет. Должно быть, он сам все придумал. И все равно он не сдаётся.

Наконец, когда уже нет сил держать себя в руках, он набирает в поиске то, что ни разу прежде не решался набрать.

Маргарет Мяо.

Секунда ожидания – и всплывает сообщение об ошибке. «Ничего не найдено». Почему-то он еще острее чувствует, что ее нет рядом, как будто она не пришла на зов. Он смотрит через плечо. Миссис Поллард, покончив с обедом, проверяет тетради, ставит галочки на полях, и Чиж жмет на кнопку «Назад».

«Пропавшие наши сердца», набирает он, и страница на секунду зависает. «Ничего не найдено». Теперь страница не перегружается, сколько ни щелкай.

Миссис Поллард (Чиж подходит к учительскому столу), кажется, у меня компьютер завис.

Ничего, дружок, отвечает она, сейчас наладим. И, встав из-за стола, идет за ним следом к компьютеру, но, увидев строку на экране, меняется в лице. Даже не глядя на нее, Чиж чувствует, как она напряглась.

Ной, говорит она спустя секунду. Сколько тебе лет, двенадцать?

Чиж кивает.

Миссис Поллард несколько раз щелкает шариковой ручкой, потом садится возле Чижа на корточки, глаза ее теперь вровень с его глазами.

Ной, наше государство основано на принципе, что каждый вправе решать, как ему строить жизнь. Понимаешь?

Чиж молчит, ведь подобные вопросы взрослых обычно не требуют ответа.

Ной, говорит миссис Поллард, и у него зубы сводит, когда она вновь и вновь повторяет его имя – чужое имя. Ной, дружок, выслушай меня, прошу. В нашей стране верят, что каждое новое поколение может распорядиться своей жизнью лучше предыдущего. Так? У всех равные возможности чего-то достичь, проявить себя. Мы не заставляем детей расплачиваться за грехи родителей.

Глаза ее тревожно блестят.

У каждого из нас есть выбор, Ной, повторять ли ошибки прошлых поколений или идти другим путем, лучшим. Улавливаешь мою мысль?

Чиж кивает, хоть и не совсем понимает, к чему она клонит.

Я все это говорю для твоего же блага, Ной, честное слово, уверяет миссис Поллард. Голос ее смягчается. Ты хороший мальчик, и я добра тебе желаю, и Дженне с Джошем я бы то же самое сказала, слово в слово. Смотри не наделай бед. Просто... веди себя хорошо, соблюдай правила. Не буди лихо. Ради папы, да и ради себя тоже.

Она встает – значит, разговор окончен.

Спасибо, цедит Чиж.

Миссис Поллард кивает, успокоенная.

Если все-таки решите завести кошку, берите у проверенных людей, говорит она, выходя в коридор. А если бездомную подобрать... кто знает, какая у них там зараза.

Только время потерял, досадует Чиж. Весь остаток дня, от английского до математики, он ругает себя. В довершение всех дел обед так и лежит в сумке нетронутый, а в животе урчит от голода. Весь

урок обществознания он думает о своем, и учитель строго велит ему собраться:

Мистер Гарднер, вас это касается в первую очередь.

Тупым огрызком мела он пишет на доске, и из-под руки разлетаются белые хлопья: ЧТО ТАКОЕ ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО?

Кэролайн Мосс и Кейт Анджелини косятся на Чижа с соседнего ряда, а Энди Мур, улучив минуту, когда учитель отвернулся к доске, запускает Чижу в голову бумажный шарик. Ерунда, уверяет себя Чиж. Подумаешь, сказка про кошек, ни пользы, ни смысла, и он тут ни при чем. Всего-навсего сказка, мало ли что мама ему рассказывала. Сказка ни о чем. А может, он что-то напутал и такой истории вовсе не было.

По дороге домой через общественный сад он видит сначала толпу, потом полицейских в темно-синей форме – и наконец, через миг, ничего уже не видит, только деревья. Красные, красные, красные, от корней до макушек, будто их окунули в краску и поболтали. Красные, как перья кардинала, как знаки «стоп», как вишневые леденцы. Три клена, бок о бок, ветви словно протянутые руки. А меж ветвей, среди жухлой листвы, – гигантская красная сеть, висит в воздухе кровавой дымкой.

Чиж должен идти напрямик домой, не отклоняясь от маршрута, что расписал ему папа: через широкий двор между зданиями университетских лабораторий, потом через студгородок с корпусами из красного кирпича. По возможности избегать улиц, держаться ближе к университету. Так безопаснее, настаивает папа. Когда Чиж был маленьким, папа каждый день провожал его в школу и встречал после уроков. Не пытайся срезать, Ной, повторял он, слушай меня, и все. Обещай, попросил он, когда Чиж в первый раз пошел в школу один, и Чиж обещал.

В этот раз Чиж нарушает слово – бросается через дорогу к общественному саду, где уже собралась кучка зевак.

Отсюда ему виднее. Никакая это не краска, а пряжа, будто на деревья набросили огромные кружевные салфетки или надели тугие красные перчатки. Шерстяная паутина – меж ветвей тянутся багряные нити, крест-накрест, где гуще, где тоньше. А в нитках запутались, словно пойманные бабочки, вязаные куклы величиной с палец –

желтые, бежевые, коричневые, с темными шерстяными чубчиками. Прохожие шепчутся, тычут пальцами, и Чиж протискивается ближе.

Страшное зрелище, как если бы великан на досуге решил заняться вязанием. Алый колтун. Рядом с ним Чиж чувствует себя маленьким, уязвимым, беззащитным и все равно смотрит как зачарованный, и его тянет ближе – так притягивает взгляд змеи, готовой напасть.

Вокруг деревьев толпятся полицейские – перекрикиваются, пробуют пряжу на ощупь, обсуждают, как ее лучше убрать. Но поздно: прохожие уже достают из карманов и сумок телефоны, украдкой снимают на ходу. Скоро эти фото появятся всюду. Полицейские с пистолетами за поясом обступают деревья. Один сдвигает повыше на лоб козырек, другой кладет на траву щиток из оргстекла. Они вооружены до зубов, но ни к чему подобному не готовы.

А ну разойдись! – рывкает один и становится между толпой и деревьями, будто пытаюсь заслонить собой диковинное зрелище. Хватается за дубинку, похлопывает ею по ладони. Прошу покинуть место происшествия. Разойтись, всем разойтись, у нас запрет на собрания.

Легкий ветерок колышет вязаных кукол. Чиж, задрав голову, смотрит на темные силуэты на фоне лазоревого неба. Зеваки послушно расходятся, толпа редет, и тут он замечает на асфальте надпись белым по трафарету: СКОЛЬКО ЕЩЕ БУДЕТ ПРОПАВШИХ СЕРДЕЦ? А рядом красное пятно – нет, сердце.

Чиж почти не верит в такую возможность, но все равно ищет – смотрит по сторонам, не прячется ли она за деревом или в кустах. Вдруг из тени покажется ее лицо? Но, ясное дело, никого нет.

Пора уходить, малыш, слышит он голос полицейского и видит, что все уже разошлись, он один остался. Он вежливо кивает – простите! – и спешит прочь, а полицейский возвращается к остальным. Патрульные машины с мигалками перекрывают улицу с двух сторон. Парк оцепляют.

У перехода Чиж медлит, смотрит украдкой, спрятавшись за припаркованной машиной. Умела ли мама вязать? Вроде бы нет. Да и, как ни крути, невозможно такое сотворить в одиночку – и сеть сплести, и столько кукол связать; вот они покачиваются на ветках, словно перезрелые плоды, но держатся крепко, точно сквозь дерево проросли. Когда они успели все это здесь развесить? – удивляется Чиж и сам не

знает, кто эти «они». Сквозь стекла машины видно, как полицейские спорят, что делать, и вид у них растерянный. Один запускает в сеть пальцы и дергает – тонкая ветка ломается с хрустом, похожим на выстрел. Часть сетки распускается, дюйм за дюймом. Внутри у Чижа тоже что-то ломается, он не в силах смотреть, как рушат хрупкую красоту. Куклы трепещут в красных силках, словно бьются в паутине. Голова у Чижа вот-вот лопнет от обилия мыслей.

Один из полицейских достает садовый нож и начинает кромсать, и обрезки сыплются водопадом на землю. Подходит другой, с лестницей, лезет на дерево и, сорвав с ветки куклу, швыряет на землю. Это не куклы, приходит вдруг Чижу в голову, это же дети. Головастые, с темными челками и куцыми ручками-ножками. Безротые, с глазами-пуговками, и когда крохотное шерстяное тельце шлепается в грязь, Чиж отворачивается, еле сдерживая дурноту. Смотреть на это невозможно.

Он думал, что Сэди – исключение.

*Изъятие детей, связанное с ПАКТОм, было и остается большой редкостью.*

Не такая уж это и редкость, уверяла Сэди.

Но сколько таких случаев? – спросил он однажды. Десять? Двадцать? Сотни?

Сэди, подбоченясь, смерила его взглядом.

Чиж, сказала она с убийственной жалостью, ты что, так ничего и не понял?

Вот о чем не любят говорить и уж подавно не хотят слышать: патриотизм ПАКТа замешан на угрозе. Но есть и те, кто пытается вслух сказать о том, что происходит, разобраться самим и объяснить другим. Как мама Сэди. Есть кадры, где она стоит на улице Балтимора, аккуратно обсаженной деревьями. Обычная улица, каких не счесть, только совершенно пустая – ни машин, ни людей, ни собак, одна мама Сэди в желтой спортивной куртке, с микрофоном возле рта.

«Вчера утром, – говорит она, – на эту тихую улицу в дом Сони Ли Чун пришли сотрудники полиции и забрали ее четырехлетнего сына Дэвида. За что? За то, что Соня недавно написала в соцсетях о том, как



ПАКТ пытаются использовать против американцев азиатского происхождения».

Сзади к ней подъезжают две полицейские машины с выключенными фарами – бесшумно, зловеще – и останавливаются поперек улицы. Издали видно, как выходят четверо полицейских и медленно приближаются, а механическая щетка метет и метет асфальт. Не дрожит ни камера, ни голос Сэдиной мамы. «Кажется, мы привлекли внимание полиции... Я с Пятого канала, вот моя пресс-карта, мы... – Приглушенные голоса, а потом мама Сэди говорит в камеру с непоколебимым спокойствием: – Меня арестовали». Как будто это происходит с кем-то другим, а она ведет репортаж.

Микрофон у нее забирают, губы шевелятся, но звук пропал. Один полицейский, заломив ей руки, надевает на нее наручники, другой, глядя в камеру, хватается за пистолет и беззвучно выкрикивает приказы. Невидимый оператор ставит на землю камеру, и горизонт заваливается, перечеркнув кадр. Когда их уводят, камера – по-прежнему работающая – показывает только ноги: вот они движутся к верхней кромке кадра, удаляются, исчезают.

Чижу удалось посмотреть эти кадры, потому что Сэди сохранила видео на телефоне. Строго говоря, это компромат – здесь ее мама «пропагандирует, поддерживает или одобряет непатриотичные действия в узком либо широком кругу», – но Сэди как-то умудрилась заполучить копию и все эти годы упорно ее переносила с телефона на телефон. На упрощенном смартфоне, который дали ей приемные родители (Сэди в насмешку окрестила его «поводком» – мол, она всегда на связи как на привязи, и если надо, ее всегда отыщут по координатам), это видео хранится в папке «Игры». Чижу случалось видеть ее с телефоном в углу школьной площадки или в домике для игр. На экране снова и снова ее мама, невозмутимая среди хаоса, медленно уходящая в небо.

Это был первый ее арест, рассказывала Сэди, но она только пуще расхрабрилась. Стала разыскивать тех, у кого из-за ПАКТа забрали детей, уговаривала дать интервью. Пыталась узнать, где сейчас дети. Хотела заснять, как забирают ребенка; задействовав все свои связи в службе опеки, в мэрии, пыталась выяснить, кто на очереди.

Вскоре с мамой Сэди связалась по электронной почте ее начальница Мишель: кофе в выходные, поболтаем. Неофициально, с

глазу на глаз. Мишель заглянула в гости с двумя бумажными стаканчиками кофе, и они устроились на кухне. Сэди маячила в коридоре, никто ее не замечал. Ей было одиннадцать.

Эрика, меня тревожит, говорила Мишель, потягивая кофе с молоком, как это может аукнуться.

Журналиста со Второго канала недавно оштрафовали за слова, что ПАКТ поощряет дискриминацию азиатов, – дескать, они подрывают устои общества, а он призывает их жалеть. Телеканал выплатил штраф, почти четверть годового бюджета. В Аннаполисе у другого канала отобрали лицензию. Там тоже критиковали ПАКТ – не иначе как совпадение.

Я журналист, сказала мама Сэди. Говорить об этом – моя работа.

Канал у нас маленький, отвечала Мишель. И вот в чем загвоздка: если урезать бюджет, мы еле-еле выйдем в ноль. И если от нас откажутся спонсоры...

Она осеклась, мама Сэди вертела в руке кофейный стаканчик.

А они что, грозятся? – спросила она, а Мишель ответила: двое уже отказались. Но это еще полбеды. Как это аукнется тебе, Эрика? И твоим родным.

Давняя дружба связывала этих двух женщин, белую и черную. Вместе ездили они на природу, вместе отмечали праздники. Замужем Мишель никогда не была и детей не имела, телеканал называла своим детищем. Когда родилась Сэди, Мишель связала ей желтую кофточку и пинетки; она водила Сэди в зоопарк, в океанариум, возила в форт Уильям-Генри<sup>[1]</sup>. Тетечка Шелли, называла ее Сэди.

Ходят слухи, продолжала Мишель. Страшные слухи. Не одним азиатам и участникам протестов стоит бояться ПАКТа, Эрика. Давай мы тебе на время сменим амплуа, поручим тебе что-нибудь подальше от политики.

То есть как – подальше от политики? – переспросила мама Сэди.

Боюсь, как бы с тобой чего не случилось, если продолжишь в том же духе, сказала Мишель. Или с Львом. А больше всего боюсь за Сэди.

Мама Сэди не спеша отхлебнула из стаканчика. Кофе давно остыл.

По-твоему, если я сдамся, спросила она наконец, то нам ничего не грозит?

Сэди забрали через несколько недель.

Пришли они поздно вечером, рассказывала Сэди. После ужина. Она как раз вышла из душа и сидела, завернувшись в полотенце, когда раздался звонок. Мама расчесывала Сэди волосы – густые, курчавые, непослушные, – и тут внизу послышался громкий, сердитый папин голос. Следом – два незнакомых голоса, мужских. Мама, взяв в руку прядь, бережно расчесывала, и вот что запомнилось Сэди: сзади по шее сползает капля, мама уверенной рукой распутывает узелки.

Она не дрожала, рассказывала Сэди с гордостью. Ничуть.

Может быть, она не знала, что сейчас будет? – предположил Чиж.

Сэди мотнула головой: все она знала.

Мама обняла ее, поцеловала в лоб. Сэди еще не понимала, в чем дело, но страх уже просочился ей в душу, по влажной коже пробежал холодок. Она прильнула к маме, уткнулась в ее мягкую шею с такой силой, что чуть не задохнулась.

Не забывай нас, хорошо? – сказала мама. Сэди так ничего и не успела понять, когда открылась дверь ванной. Человек в полицейской форме. Снизу все гремел папин голос.

Полицейских, как выяснилось, было четверо. Двое остались внизу с папой, третий – наверху с мамой, а четвертый топтался под дверью детской, пока Сэди одевалась. Растерявшись, она надела пижаму в радужную полоску, будто готовилась ко сну, как в обычный день. Пусть она вернется в комнату, переоденется, сказала мама, когда Сэди вышла в прихожую, дайте я хотя бы косички ей заплету. Но полицейский в коридоре покачал головой.

Теперь, сказал он, она не ваша забота.

Взяв Сэди за плечо, он повел ее вниз по лестнице, и Сэди наконец поняла, что творится что-то ужасное, но в то же время не верила, что это все наяву. Она обернулась к маме за подсказкой: что делать – кричать? сопротивляться? бежать? смириться? – но полицейский в синей форме заслонил своей широкой грудью маму, виден был лишь кусочек руки. И Сэди вспомнила, чему ее всегда учила мама: с полицейскими держись очень вежливо, говори «пожалуйста» и «спасибо», обращай к ним «сэр» или «мадам». Не зли их ни в коем случае. Сэди завели в большую черную машину, полицейский усадил ее сзади, пристегнул, и Сэди сказала «спасибо». Позже, когда ее отвезли в участок, потом в аэропорт, а оттуда в приемную семью и она

поняла, что домой больше не вернется, она пожалела, что сказала «спасибо», пожалела, что ушла так безропотно.

Первые приемные родители хотели сменить ей имя. С новым именем в новую жизнь, уговаривали они, но Сэди ни в какую.

Меня зовут Сэди, и точка.

Две недели ее упрашивали, потом сдались.

В те дни многое стало для нее новым. Новая семья, новый дом, новый город, новая жизнь – этого она не в силах была изменить, но отстаивала то немногое, что могла. Придя в школу, она остановилась у крыльца, сбросила пышное цветастое платье, в которое ее нарядили, оставила на газоне и зашла в класс в трусах и майке. Звонок директора школы; гневная нотация приемных родителей. На следующее утро Сэди проделала то же самое. Вот видите, твердили все. Что за родители?.. Она же пещерный человек!

Вторая приемная мать пыталась распутать густое облако Сэдиных волос. Придется их выпрямить, сказала она, отчаявшись, и ночью, когда все уснули, Сэди прокралась вниз, на кухню, за ножницами. И с тех пор ходила стриженная, с ореолом кудряшек вокруг головы. Не знаю, что с ней делать, жаловалась приемная мать подруге, думая, что Сэди не слышит. Ей как будто совершенно все равно, как она выглядит.

Все они были добрые люди, все добра ей желали. Их выбрало правительство как благонадежных граждан, способных привить ребенку патриотические ценности.

Что-то с ней не так, сказала при Сэди по телефону ее нынешняя приемная мать – раз в неделю звонил соцработник, собирал доказательства, что Сэди нужно оставить в приемной семье. За все время, что она здесь, ни разу не заплакала. Я даже за дверью стояла по ночам, слушала. Хоть бы раз всхлипнула! Вот и скажите, мыслимое ли дело, чтоб ребенок такое пережил, и ни слезинки? Да. И я того же мнения. Что у нее за родители, раз воспитали ее такой черствой и бездушной?

И вздохнула. Делаем все, что в наших силах, продолжала она. Постараемся залечить все раны.

Спустя несколько недель Сэди нашла в столе у приемной матери письмо. *Ввиду серьезных эмоциональных травм, нанесенных ребенку в*

*семье, рекомендуем окончательное изъятие. Приемные родители назначаются постоянными опекунами.*

И верно, Сэди никогда не плакала. Несколько раз она показывала Чижу письма на свой прежний адрес, нацарапанные на тетрадных листках, – последнее вернулось со штампом «АДРЕСАТ ВЫБЫЛ». Даже тогда Чиж не видел у нее слез.

Но, застав ее на корточках в углу площадки, лицом к проволочной сетке, Чиж всякий раз отворачивался, чтобы ей не нужно было храбриться. Пусть она побудет наедине со своим горем или с чем-то другим, еще более тяжелым, чем она горе заслоняет.

В мае Сэди предложила ему: давай сбежим.

Поедем и найдем их.

Он знал, что Сэди пускалась в бега и раньше, но ее всякий раз возвращали. На этот раз, настаивала она, все у меня получится. Ей недавно исполнилось тринадцать – считай, взрослая.

Бежим со мной, Чиж, уговаривала Сэди. Мы их точно найдем.

То есть ее родителей и его маму. Сэди свято верила, что они где-то рядом, возможно, даже вместе, и их можно найти. Красивая, утешительная сказка.

Тебя же поймают, испугался Чиж.

Нет, не поймают, отрезала Сэди. Я собираюсь...

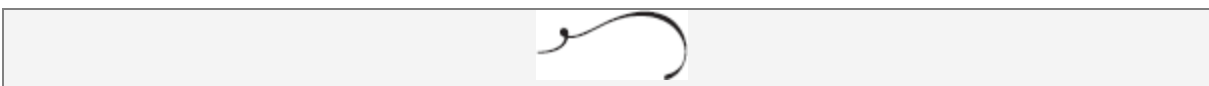
Но Чиж перебил ее: не говори, не хочу знать. Вдруг меня спросят, куда ты делась?

Он смотрел, как она раскачивается на соседних качелях, взлетает все выше и выше, и вот ноги задрались над перекладиной, цепочка провисла. И Сэди с визгом прыгнула в воздух, в пустоту. Когда Чиж был маленький, он любил прыгать с качелей прямиком в мамины объятия. Сэди ведь ничем не заслужила такого, думал Чиж, это все ее родители виноваты, зачем они так с ней обошлись? Почему сразу не остановились, как можно быть такими безответственными? Сэди встрепенулась, выглянула из травы, куда она приземлилась. Она не ушиблась. Она смеялась.

Прыгай, Чиж, крикнула она, но прыгать он не стал, а дождался, пока остановятся качели, и чиркнул кроссовками по гравию, испачкав их серой пылью.

Сейчас он мысленно видит ее перед собой: Сэди в воздухе, с раскинутыми руками, взрезает небо. Когда она сбежала, никто не знал, куда она делась; одноклассники и даже учителя вели себя так, будто и вовсе не было никакой Сэди. Наверняка уже появились в Сети фотографии из общественного сада – ветви деревьев, словно чьи-то руки, держат крохотные фигурки, подставляют их свету. Тысячи маленьких Сэди на голубом фоне.

На следующее утро по дороге в школу он видит, что стало с деревьями: с них все сорвано, лишь темнеет грубая кора. Ни следа вчерашнего. Но если присмотреться, вдоль стволов – будто свежие раны: сломанные ветки там, где сдернули пряжу. Одинокая красная нитка втоптана в грязь. Надо разобраться, что здесь случилось; и когда он думает о Сэди, его вдруг осеняет, с чего начать.



После школы он должен идти сразу домой. Никуда не выходи, велит ему папа. И делай уроки. Но сегодня обычной дорогой он не идет. Он сворачивает на Бродвей и мимо школы старшей ступени, где ему предстоит учиться через несколько лет, направляется к большой публичной библиотеке, где ни разу еще не бывал.

«Библиотека» от греческого «библио» – «книга», «тэке» – «хранилище», «короб», рассказывал папа. А слово «короб» происходит от латинского «корбис» – «корзина», «плетеная посуда» из коры, лыка, бересты. В старину, кстати, писали на коре.

Вспоминается одна осенняя прогулка. Папа провел тогда рукой по стройному березовому стволу, и береста отслоилась, закурчавились хлопья, белые, как бумага.

Вот так и со словами, объяснял ему папа. Снимаем слой за слоем, раскрываем значение.

Давным-давно, в Музее естествознания: гигантский спил древесного ствола, диаметром больше папиного роста. На бежевой древесине карамельно-желтые кольца. Чиж с папой их сосчитали, от коры до сердцевины, потом в обратную сторону. Папа провел по древесине пальцем. Это дерево посадили, когда Джордж Вашингтон

был еще мальчишкой. Вот Гражданская война, вот Первая мировая, Вторая мировая. Вот год папиного рождения. А вот год, когда все рухнуло.

Видишь? – сказал папа. Там, внутри, вся история. Снимаешь слой за слоем, и они все объясняют.

Библиотека, она как замок, рассказывала ему Сэди. Она туда ходила каждый день, стараясь урвать пять минут по дороге из школы, спешит туда чуть ли не бегом, посидит сколько можно – и галопом домой. Сэди, не мешало бы тебе мыться почаще, ворчала приемная мать, когда Сэди влетала в дом взмыленная, помятая. Тебя же поймают, беспокоился Чиж, но Сэди хоть бы что. Родители каждый день читали ей перед сном, и если Чижу истории только растрavляли раны, то для Сэди они были как целительный бальзам. Настоящий замок, повторяла она с трепетом. Чиж в ответ всегда закатывал глаза, но теперь он понимает, что это недалеко от истины: библиотека – внушительное здание из песчаника, с арками и башней, а новое крыло стеклянное, сплошь из острых углов, и Чиж, поднимаясь по лестнице, чувствует, будто попал разом в прошлое и в будущее.

Не каждый день он видит вокруг столько книг, и в первую минуту голова кружится от такого изобилия. Полки, полки, полки. Столько, что впору заблудиться. Библиотекарша за стойкой – темноволосая, в розовом свитере – косится на Чижа поверх очков, как на чужака, и Чиж спешит юркнуть в проход, спрятаться от ее взгляда. Вблизи он замечает, что многих книг нет на местах, полки беззубо скалятся. И все-таки он чувствует, что здесь-то и таятся ответы – спрятаны между страниц книг, которые отсюда унесли. Его задача – найти их.

Сбоку к полкам прибиты таблички, список тем для каждого стеллажа – с запутанной нумерацией, в непостижимом порядке. В некоторых разделах по-прежнему изобилие: «Транспорт», «Рыбы, змеи, ящерицы», «Спорт». Другие полностью опустошены. Когда Чиж добирается до стеллажа номер 900, там почти ничего нет – пустые полки стоят, словно обглоданные скелеты, дробя на квадраты солнечный свет. Немногие уцелевшие книги как темные пятнышки. «Ось Китай – Корея и новая холодная война». «Внутренняя угроза». «Конец Америки: Китай на подъеме».

Блуждая по проходам, Чиж замечает кое-что еще: в библиотеке, можно сказать, ни души. Он здесь единственный посетитель. На

втором этаже – ряды свободных кабинок для чтения, длинные столы, где никто не сидит. И внизу та же картина – незанятые стулья да сиротливая табличка: *Передумали? Решили не брать книгу – положите на тележку*. Никакой тележки здесь больше нет, голый линолеум. Город-призрак, и он, Чиж, – живой в стране мертвецов. Он проводит пальцем вдоль пустой полки, оставив в пушистой пыли блестящую дорожку.

В подвальном этаже, в самом дальнем углу, он находит раздел «Поэзия», обводит взглядом полки в поисках буквы М. Кристофер Марло, Эндрю Марвелл. Эдна Сент-Винсент Миллей. Неудивительно, что за Мюссе сразу следует буква Н, и все же грустно, что ее имени там нет.

Нет, не стоило сюда приходить. Здесь какая-то запретная зона, и зря он все это затеял. Острый металлический запах щекочет ноздри. Чиж пробирается поближе к стойке, где библиотекарьша с холодной деловитостью сортирует книги, доставая из ящика. Только бы не встретиться с ней взглядом. Если она обернется, надо удирать.

Чиж следит за ней, спрятавшись за стеллажом, ждет. Библиотекарша берет из синего пластмассового ящика очередную книгу, заглядывает в список, ставит галочку. Затем, неизвестно для чего, одним движением пролистывает книгу – страницы веером – и, захлопнув, кладет в стопку. Берет другую и точно так же пролистывает. И третью. Она что-то ищет, понимает Чиж, – и наконец, в одной из книг, находит. На этот раз она пробегает список дважды и откладывает ручку. Этой книги, как видно, в списке нет. Она не спеша листает книгу, страница за страницей, и вот у нее в руке какая-то бумажка.

Издали видно, что там что-то написано. Выглянув из-за стеллажа в надежде разобрать хоть слово, Чиж попадает на глаза библиотекарше.

Мгновенно свернув бумажку вдвое и спрятав, она спешит к Чижу.

Эй, ты что там делаешь? Я с тобой разговариваю. Я тебя вижу. Вылезай! А ну вылезай!

Она берет Чижа за локоть.

И давно ты здесь прячешься? Чем ты тут занят?

Вблизи она кажется и старше, и моложе, чем он ожидал. В длинных каштановых волосах стальной проволокой блестит седина.



Она, наверное, старше мамы, думает Чиж. Но есть в ней и что-то от юной девушки: в носу поблескивает серебряное колечко, лицо очень живое, и кого-то она ему напоминает. Спустя миг его осеняет: Сэди. Тот же озорной блеск в глазах.

Простите, говорит Чиж. Я просто... я ищу одну сказку. Вот и все.

Библиотекарша разглядывает его поверх очков.

Сказку? А что за сказка?

Чиж оглядывает лабиринт книжных стеллажей, библиотекарша сжимает его локоть, а в другой руке держит... что? Чиж заливается краской.

Не помню, как называется. Мне ее рассказывали очень давно, там был мальчик и много кошек.

Вот и все подробности?

Сейчас она его вышвырнет. Или позвонит в полицию, и его арестуют. Своим детским чутьем он понимает, что наказывают далеко не всегда за дело. Цепкие пальцы еще сильнее впиваются ему в локоть.

Она в задумчивости прикрывает глаза.

Мальчик и много кошек... откликается она эхом. Слегка ослабляет хватку, а потом и вовсе разжимает пальцы. Гм. Есть такая детская книжка, «Миллионы кошек». Про то, как старик со старушкой хотят завести самую красивую кошку на свете. И находят сотни кошек, тысячи кошек, миллионы кошек. Знакомо это тебе?

Чиж качает головой: ничего не вспоминается.

В той сказке есть мальчик, повторяет он. Мальчик и сундук.

Сундук? Библиотекарша закусывает губу. В глазах ее вспыхивает огонек, она вся напряглась, и представляешь ее кошкой на охоте – ушки на макушке, шерсть дыбом. В книге «Сэм, Бэнгз и лунный свет» есть мальчик, а сундука, насколько я помню, нет. У Беатрис Поттер кошек много, но нет никаких мальчиков. Это книжка-картинка или роман?

Не помню, признается Чиж. Про все эти книги он слышит впервые, и голова идет кругом – столько на свете сказок, о которых он знать не знает! Это все равно что услышать, что есть новые цвета, которых он в жизни не видел. Я ее на самом деле не читал, объясняет он. Это сказка, мне ее рассказывали однажды.

Гм.

Библиотекарша разворачивается с небывалой прытью – пойдём поищем – и спешит прочь, украдкой сунув в карман свернутую бумажку.

Шагает она так стремительно, что он едва не теряет ее из виду. Полка за полкой, мимо проносится целый мир в миниатюре: «Традиции и этикет», «Одежда и мода». Этот мир она знает вдоль и поперек и наверняка могла бы нарисовать по памяти, словно карту, по которой много раз путешествовала.

Вот мы и пришли, говорит она. Фольклор.

Барабани пальцами по книжным корешкам, она бегло читает названия, оценивая в уме каждую книгу.

Есть такая сказка, «Кошачья шкурка», – и, сняв с полки книгу, она протягивает ее Чижу. На обложке позолоченные буквы, тесный круг рыцарей и золотоволосых красавиц.

Есть в этой книжке еще одна сказка, «Дружба кошки и мышки». Чем кончается, сам догадайся. Только мальчика там нет. Есть, конечно, и «Кот в сапогах», но сын мельника вряд ли за мальчика сойдет, да и сундука там тоже нет, и кот всего один.

Не дожидаясь ответа Чижа, она продолжает: давай подумаем. Ханс Кристиан Андерсен? Нет, вряд ли. Есть легенда о том, как кошка баюкала в колыбельке младенца Иисуса, а колыбелька – это почти что сундук. Или, может быть, это миф? Богиня Фрейя ездила в колеснице, запряженной кошками, а еще есть Бастет, как же без нее, – но там ни сундуков, ни мальчиков. А у древних греков ничего не припомню про кошек.

Она потирает висок костяшкой узловатого пальца. О Чиже она, кажется, почти забыла и разговаривает сама с собой. Или с книгами, словно они живые существа и могут откликнуться. К немалому его облегчению, она как будто забыла и о том, что он подглядывал, и о таинственной бумажке.

Больше ничего не вспоминается? – спрашивает она.

Нет, отвечает Чиж, ничего.

Он вертит в руках сборник сказок. Сзади на обложке – убитый дракон на шесте, из пасти веревкой свешивается красный язык. В горле у Чижа встает жаркий комок, Чиж щурится, сглатывает, пытаясь прочистить горло.

Эту сказку мне мама рассказывала, давным-давно. Да ладно, обойдусь.

Он готов уйти.

Кажется, вспомнила одну старую детскую книжку, говорит библиотekarша. И добавляет, понизив голос: японскую сказку.

Она замирает, окидывает взглядом стеллаж, электронную справочную в конце ряда.

Но ее там нет.

И, щелкнув пальцами, она кивает Чижу, как будто он сам нашел ответ.

Пойдем со мной.

Чиж идет за ней следом между рядами к двери с табличкой «Посторонним вход воспрещен». Ключом на шнурке библиотekarша открывает дверь. Комната доверху забита книгами, на письменном столе громоздятся кипы бумаг. Картотечные шкафы, вентилятор. Пыль. Но они идут мимо стола к ржавой железной двери, зеленоватой, будто заплесневелой. Библиотekarша толкает дверь плечом и, подцепив ногой корзину для бумаг, подпирает ею дверь, чтоб не закрывалась. Бок у корзины продавлен – как видно, ее подставляют под дверь уже не первый год.

Библиотekarша кивком подзывает Чижа: давай еще кое-где поищем.

За дверью площадка, отгороженная подъемной железной решеткой. Должно быть, раньше тут разгружали грузовики с книгами из других библиотек. Теперь грузовику здесь не развернуться, площадка завалена ящиками и коробками – похоже, ею не пользуются уже несколько лет.

По межбиблиотечному абонементу стали заказывать меньше книг, поясняет библиотekarша. Ящик-другой в неделю, не больше – проще их подвезти к главному входу.

Помогая ей разгребать коробки, Чиж замечает под ними что-то еще – большой деревянный шкаф, больше, чем комод у него дома, с десятками выдвижных ящичков.

Он уже много лет стоит без дела, с тех пор как мы перешли на цифровой каталог, говорит библиотekarша, убирая последние коробки. Вынесли его, чтобы место освободить. А потом грянул Кризис. А бюджет нам как урезали, так до сих пор никак не восстановят.

Городской администрации этот шкаф не нужен, а нам не на что грузчиков нанять, чтоб вывезли.

Она гладит медные ярлычки на ящиках, выдвигает один.

Ну, давай посмотрим. Книга, которая мне вспомнилась, очень старая.

Чиж глядит и диву дается: ящик набит карточками, на каждой что-то аккуратно написано мелкими буквами. Библиотекарша проворно перебирает их, и Чиж едва успевает различать слова. «Кошки – литература». «Кошки – мифология». Каждая карточка, догадывается Чиж, – книга. Он даже не думал, что их так много.

Библиотекарша радостно ахает, будто разгадала загадку, ребус или нашла по карте, где спрятаны сокровища. И протягивает Чижу одну из карточек.

«Кошки – фольклор – Япония – сказки в обработке. Мальчик, который рисовал кошек».

Внутри у него что-то отзывается, словно камертон, – узнал! Из горла рвется глухой вскрик.

Та самая, говорит он. Кажется – кажется, она.

Библиотекарша смотрит на обратную сторону карточки.

Этого-то я и боялась, вздыхает она.

Ее у вас нет? – спрашивает Чиж, и она в ответ качает головой.

Изъята. Здесь написано, три года назад. Наверное, кто-то пожаловался. Дескать, подогревает проазиатские настроения или что-то в этом духе. Кое у кого из наших спонсоров есть... мнения. Насчет Китая и всего хоть смутно похожего. А нам без их щедрости никуда. А может, кто-то решил перестраховаться и заранее от нее избавился. Здесь, в государственных библиотеках, нельзя рисковать. Какому-нибудь озабоченному гражданину ничего не стоит заявить, что мы ведем себя непатриотично. Сочувствуем потенциальным врагам.

Она со вздохом возвращает карточку на место.

Я хотел найти еще одну книгу, начинает Чиж осторожно. «Пропавшие наши сердца».

Библиотекарша пронзает его острым взглядом. Смотрит на него долго-долго, испытующе.

Прости, отвечает она сухо. Этой книги у нас больше нет, точно нет. И, скорее всего, нет нигде.

Она с шумом задвигает длинный ящик.

А-а, отвечает Чиж. Он знал, что это почти невозможно, и все равно в нем тлела искорка надежды, а теперь и этот огонек гасят, и он тает в воздухе сизым облачком.

А что с ними сделали? – спрашивает, чуть подумав, Чиж. Со всеми этими книгами?

Встает перед глазами картинка из учебника истории: посреди городской площади жгут горы книг. Библиотекарша, будто прочитав его мысли, косится на него с усмешкой.

Да что ты, у нас книги не жгут. Мы... мы же в Америке! Так?

Она смотрит на Чижа, подняв бровь. Шутит она или говорит серьезно? Трудно сказать.

Книги у нас не жгут. Их у нас перерабатывают. Как цивилизованные люди, да? Измельчают, пускают на туалетную бумагу. Этими книгами кто-то давно уже подтерся.

А-а, вздыхает Чиж. Так вот где теперь мамины книги. Ее стихи перемололи в серую массу, спустили в канализацию вместе с нечистотами. Жгучие слезы застилают ему глаза.

Эй, окликает библиотекарша, что с тобой?

Чиж кивает, шмыгая носом: все в порядке.

Больше она его не расспрашивает, не выпытывает, почему он плачет, а молча протягивает ему бумажный платок.

Сранный ПАКТ, ворчит она под нос, и Чиж потрясен до глубины души: взрослые обычно при нем не ругаются.

Вот что, говорит она чуть погодя. Может быть, где-нибудь в другой библиотеке еще хранится та книга о кошках. В одной из больших библиотек – например, в университетской. Нам нельзя, а им можно, в исследовательских целях. Но даже если она там есть, надо будет на абонементе спросить. Принести документы, объяснить, для чего она тебе.

Чиж кивает.

Удачи, желает она. Надеюсь, ты ее найдешь. И вот что, Чиж, если нужна будет помощь, заходи, постараюсь тебе помочь.

Чиж так растроган, что сначала даже не удивляется, откуда она знает его имя.



Надо спросить у папы, когда он придет с работы, решает Чиж. Пусть поищет ту книгу в библиотеке. Наверняка в университетских фондах есть сборник японских сказок, а в нем – та самая сказка. Там до сих пор хранится много восточной литературы, тысячи книг; то и дело кто-то пишет петиции – мол, все их нужно изъять, не только китайские, японские, камбоджийские и прочие, но даже книги о странах Востока. В новостях Китай называют «серьезнейшей извечной угрозой», политики опасаются, что книги на восточных языках могут содержать антиамериканские призывы и даже зашифрованные послания; иногда родители жалуются, если их дети решают изучать китайский язык или историю Китая: «В университете им должны образование дать, а не мозги промывать!» Каждый раз эти новости попадают в университетскую газету, потом на телевидение; в конгрессе кто-то произносит гневную речь о том, что университеты – «рассадники вредной идеологии»; проректор отвечает публичным заявлением в защиту библиотечного фонда. Чиж все это видит в газетах, когда папа их листает. «Если мы чего-то боимся, тем более стоит это глубоко изучить».

Пусть папа просто проверит. Посмотрит, сохранилась ли книга, и если да, принесет Чижу. На денек. И не придется говорить ни о письме, ни о маме. Ему нужна только книга, только сказка про мальчика и кошек, – ну что тут плохого? Она ведь даже не китайская. Вот придет с работы папа, он и спросит.

Но папы все нет, и нет, и нет. Они живут без телефона: от городских номеров все давно отказались, в общежитиях кабели оборвали много лет назад – делать нечего, придется ждать. Вот на часах уже шесть, семь. На ужин они опоздали, в столовой уже достают отпаренные кастрюли, ссыпают в помойные ведра засохшие объедки, оттирают дочиста столики. Чиж смотрит из окна, как гаснут огни в столовой, один за другим, и страх запускает ему в сердце тонкие щупальца. Где папа? Вдруг что-то случилось? В девятом часу ему вдруг вспоминается сегодняшний поход в библиотеку, надпись

«Ничего не найдено» на мониторе школьного компьютера. Как миссис Поллард щелкала ручкой у него за спиной, как библиотекарьша спрятала в карман непонятную бумажку. И полицейский с дубинкой в общественном саду. И Сэди, и ее мама, которая задавала вопросы, вникала в тайны. Всегда кто-то за тобой следит, понимает Чиж, и если кто-то его видел, вдруг папу обвинили, вдруг папу...

Ближе к девяти он слышит, как внизу скрипит дверь, потом захлопывается – лифт уже три дня не работает, – и стучат по коридору шаги. Папа. Чижа так и тянет броситься ему навстречу, как раньше, когда он был совсем маленьким и едва мог обхватить руками папины колени и думал, что папа – самый высокий человек на свете. Но папа так устал, вымотался, взмок после подъема по лестнице, что Чиж не решается, будто тронь папу – и тот не удержится на ногах.

Ну и денек, вздыхает папа. Из ФБР к нам заявились, сразу после обеда.

Чижа бросает в жар, потом в холод.

Наводят справки об одной преподавательнице с юридического. Потребовали список всех книг, что она брала в библиотеке. А когда список принесли, им и сами книги понадобились, все до единой. Шесть с половиной часов искал. Четыреста двадцать две книги.

Чиж шумно втягивает воздух, только сейчас он понял, что все это время не дышал.

А зачем им книги? – спрашивает он осторожно.

Еще неделю назад он не задал бы этот вопрос; неделю назад это его не испугало бы, даже не удивило. Может быть, приходит ему в голову, может быть, удивляться тут и нечему.

Папа ставит на пол сумку, со звоном роняет ключи на столик у двери.

Она пишет книгу о поправке номер один и ПАКТе, в этом и дело, объясняет папа. Подозревают, что ее исследование финансируют китайцы, воду мутят.

Папа не спеша снимает галстук.

Это правда? – спрашивает Чиж.

Папа смотрит на него – никогда еще Чиж не видел его таким измученным. Впервые он замечает седину у папы в волосах, морщинки в уголках глаз, будто дорожки от слез.

Честно? – переспрашивает папа. Скорее всего, нет. Но подозрения у них имеются.

Посмотрев на часы, папа заглядывает в буфет – там шаром покати, только початая банка арахисовой пасты. Хлеба нет.

Сходим куда-нибудь поужинаем, предлагает папа.

Они сбегают вниз по лестнице и идут в пиццерию в нескольких кварталах от студгородка. Папа не любитель пиццы – мол, сплошной жир, нельзя есть столько сыра, – но время позднее, оба проголодались, а пиццерия открыта до девяти, и ближе ничего нет.

Парень за стойкой принимает у них заказ и ставит в микроволновку четыре куса пиццы, а Чиж с папой ждут, прислонившись к липкой стене. В животе у Чижа бурчит. В приоткрытую дверь веет ночной прохладой, на окне трепещут листки с объявлениями. «Найден кот». «Уроки игры на гитаре». «Сдается квартира». В углу, прямо под ярлычком санинспекции, висит табличка с американским флагом и девизом: *Боже, благослови всех преданных американцев!* Точно такая же красуется почти в каждой витрине, продается во всех городах, а деньги направляют на помощь народной дружине. На те немногие заведения, где ее нет, смотрят косо. «Разве вы не преданные американцы? Вам что, на табличку денег жалко? Не хотите поддержать народную дружину?» Тикает большая стальная микроволновка, пышет паром. За стойкой кассир, опершись локтем о кассовый аппарат, листает ленту в телефоне и ухмыляется.

Без восьми минут девять заходит старик. Азиат, в черных брюках и белой рубашке с воротником на пуговках, волосы с проседью, аккуратная стрижка. Китаец? Филиппинец? Чиж не умеет их различать. Старик кладет на прилавок свернутую пятидолларовую бумажку.

Кусочек пеперони, пожалуйста.

Кассир, даже не обернувшись, отвечает: у нас закрыто.

Закрыто? Что-то не похоже. Старик взглядом указывает на Чижа с папой – папа, шагнув в сторону, заслоняет собой Чижа. Они-то здесь, говорит старик.

У нас закрыто, повторяет кассир громче. И продолжает листать ленту – по экрану текут рекой сообщения, картинки. Папа легонько толкает Чижа в плечо, как на улице, если рядом полицейский или авария. Это значит: отвернись. Не смотри. Но на этот раз Чиж и не



думает отворачиваться. Любопытство тут ни при чем, это необходимость. Печальная необходимость знать, что за незримая опасность притаилась рядом.

Мне бы пиццы кусок, вот и все, говорит старик. Я с работы, голодный.

Он придвигает купюру поближе к кассиру. Руки у него в мозолях, пальцы скрюченные, старческие. Наверное, чей-нибудь дедушка, думает Чиж, а за этой мыслью следует другая: если бы у него был дедушка, он был бы похож на этого старика.

Кассир откладывает телефон.

Вы что, по-английски не понимаете? – говорит он ровным голосом, будто о погоде. На Массачусетс-авеню есть китайский ресторан. Хотите есть – идите туда, жареного риса возьмите или спринг-роллов, а у нас закрыто.

Он смотрит на старика ледяным взглядом, скрестив на груди руки по-учительски. И что же теперь делать?

Чиж будто прирос к месту. Ему остается только смотреть во все глаза – на старика, застывшего, стиснув зубы, в воинственной позе, на кассира в футболке с жирными пятнами, на его мясистые лапищи. На папу, который, прищурившись, разглядывает объявления на окне, точно сегодня обычный день и ничего не происходит. Хоть бы старик ответил колкостью, или съездил бы кассиру по ухмыляющейся роже, или, на худой конец, ушел, пока кассир не сказал – или не сделал – чего-нибудь похуже. Пока он не пустил в ход свои ручищи, которыми укрошает тесто, лепит из него что хочет. Время будто натянутая струна.

И старик молча забирает с прилавка деньги, прячет обратно в карман. Отвернувшись от кассира с его ухмылкой, смотрит на Чижа, долго и сурово, потом на папу. И что-то шепчет папе, а слов Чиж не понимает.

Слов этих Чиж не слышал никогда, даже язык ему не знаком, но по лицу папы видно, что он не просто узнал язык, а понял, понял, что сказал старик. Что-то подсказывает Чижу, что речь о нем, недаром старик так смотрел на него, потом на папу, пронизывая взглядом до самых костей. Но папа не отвечает, даже не шевелится, лишь поспешно отводит глаза. Старик выходит с гордо поднятой головой, и только его и видели.

Звякает таймер, и кассир открывает микроволновку. У Чижа перехватывает горло от дымного жара.

Что за люди! – говорит кассир. Нет, ну в самом деле!

Просунув в огненную пасть микроволновки длинную деревянную лопатку, он достает пиццу, кладет в коробку. И, прищурившись, смотрит на Чижа, потом на папу, будто где-то уже их видел. И сует им коробку с пиццей.

Всего доброго – и папа, взяв коробку, ведет Чижа к выходу.

Что он сказал? – спрашивает Чиж, когда они уже стоят на тротуаре. Тот старик. Что он сказал?

Пошли же, торопит папа. Идем, Ной. Скорей домой.

На переходе они пропускают патрульную машину с выключенными фарами. В общежитие они заходят ровно в девять, под бой часов с колокольни напротив.

И вот они уже в квартире, а папа все молчит. Оставив на кухонной стойке коробку с пиццей, снимает туфли, да так и стоит, глядя в одну точку.

Кантонский, произносит наконец папа. Он говорил по-кантонски.

Но ты его понял! – удивляется Чиж. Ты же не знаешь кантонского!

Даже не успев закончить фразу, Чиж уже сомневается в своих словах.

Нет, не знаю, огрызается папа. И ты не знаешь. Ной, слушай меня очень внимательно. Все, что связано с Китаем, Кореей, Японией и так далее, – от всего этого надо держаться подальше. Услышишь, что кто-то говорит о Востоке или на восточных языках, – сразу уходи, понял?

Он достает из коробки ломтик пиццы для Чижа, потом для себя и плюхается на стул, даже не взяв себе тарелку. Чиж вдруг понимает, что за этот час папа дважды поднялся по лестнице на десятый этаж.

Ешь, говорит папа ласково. А то остынет.

Теперь Чиж понял: не станет папа искать эту книгу, даже если попросить. Нужно самому придумать, как ее добыть.

Попасть в университетскую библиотеку непросто, да и всегда было непросто. Там хранятся старинные книги, очень ценные. Библия Гутенберга, первое фолио Шекспира – папа когда-то рассказывал, хоть Чиж лишь смутно представлял, что это значит. Множество уникальных старинных документов. И даже – папа зловеще пошевелил пальцами, –

даже анатомический атлас в переплете из человеческой кожи. Папа тогда только что перешел на новую работу – из преподавателя лингвистики в библиотекари, – а девятилетний Чиж, новоиспеченный циник, не слушал, решив, что папа набивает цену своей работе.

Зато Чиж знает, что для входа в библиотеку – эту мраморную громаду, пригвоздившую к земле угол университетского двора, точно гигантское пресс-папье, – нужна магнитная карта, а в хранилище с запутанным лабиринтом стеллажей пускают только сотрудников. Но когда Чиж был младше, по выходным папа брал его с собой в хранилище, где стояли тележки с книгами, ждавшими, когда их расставят по местам. Если хочешь, помогай, предлагал папа, и раз-другой Чиж помогал – толкал тележку узкими проходами в поисках нужного места, щелкал допотопным выключателем в коридоре, чтобы зажегся свет. Пока папа обводил взглядом полки и водворял на место книгу за книгой, Чиж трогал корешки со стертой позолотой, вдыхая особенный библиотечный дух – запах пыли, кожаной обивки и подтаявшего ванильного мороженого. Теплый запах, словно аромат чьей-то кожи.

Его и убаюкивала и будоражила сумрачная тишина, что окутывала библиотеку, точно ее накрыли шерстяным одеялом, а под ним лежит что-то большое, ждет своего часа. И не было конца-края стопкам, которые нужно разбирать, упорно восстанавливая порядок, и голова шла кругом от мысли, что за этой полкой – еще сотни полок, тысячи книг, миллионы слов. Бывало, поставит папа на место книгу, выравнивает корешки, а Чижа так и подмывает взять и смахнуть все книги с полки – пусть посыплются, словно костяшки домино, нарушив удушливую тишину. Это желание его страшило, и он под разными предлогами старался не ходить в хранилище – дескать, устал, лучше ему посидеть в служебной комнате или остаться дома, поиграть.

В библиотеке Чиж не был уже несколько лет; в прошлый раз он сюда приходил, когда ему было десять.

Вечером, пока папа чистит зубы, Чиж роется у него в портфеле. Привычка у папы – вторая натура, магнитная карточка у него всегда в одном и том же месте, в наружном кармане портфеля. Спрятав карту в задний карман брюк, Чиж застегивает на портфеле молнию. Утром папа никогда не проверяет, на месте ли карта – вот уже три года с утра она там же, куда он ее положил с вечера. Завтра, когда он придет на

работу, карты там не окажется, в виде исключения. Но охранник папу знает, запомнил за столько лет и пропустит, тоже в виде исключения. А вечером папа придет с работы, примется всюду искать карточку и найдет под столом, куда всегда ставит портфель. Должно быть, промахнулся мимо кармана, подумает он и успокоится.

Первая часть плана удастся на славу. После школы Чиж идет к университету, взбирается по крутой, словно горный склон, парадной лестнице библиотеки. В вестибюле он напускает на себя деловой, чуть недовольный вид, как у студентов, и проворно вставляет в сканер папину карточку. Вспыхивает на турникете зеленый огонек, и Чиж проходит, не задерживаясь, не оглядываясь, как будто торопится навстречу важным знаниям. Охранник даже головы не поднимает от монитора.

Еще вопрос: как пробраться в хранилище? Раньше, рассказывал папа, туда пускали всех подряд – заходи, броди где хочешь, смотри любые книги. Теперь посторонним туда вход запрещен. Нужно заполнить требование, объяснить, зачем тебе книга, предъявить документы. И если причина достаточно веская – скажем, исследование экономических предпосылок Кризиса или выработка новых стратегий для поиска внутренних врагов, – папа или другой библиотекарь принесет тебе книгу из хранилища. Папа не объясняет, почему так, но Чиж понимает: из-за ПАКТа. Из-за него многие книги теперь заклеили как опасные, и если такие держать, то вне досягаемости.

Чиж заходит в читальный зал, смотрит на дверь в хранилище напротив. Из-за угла выезжает скрипучая тележка, ее толкает знакомая библиотекарьша, Дебби. Когда-то, в те еще времена, когда он приходил сюда с папой, она угощала его ирисками в золотых обертках. Оказывается, она ничуть не изменилась – все то же длинное свободное платье, седые волосы взбиты немыслимым облаком, – и Чижа она наверняка узнает, хоть он и заметно подрос. Чиж тут же ныряет за одну из кабинок с компьютерами, и Дебби со своей скрипучей тележкой проплывает мимо, оставив за собой табачный шлейф.

Запах напоминает Чижу кое о чем. Дебби заядлая курильщица – стоит ей зайти в комнату для персонала, все принюхиваются, не пожар ли. Вообще-то курить в здании запрещено, полагается отойти на пятнадцать метров, но никто запрет не соблюдает. Дебби и другие

курильщики выскакивают на улицу с черного хода, подперев кирпичами обе двери, внутреннюю и наружную, и жмутся к стене, пока не погаснут сигареты, и точно так же украдкой возвращаются. Папа частенько жаловался на запах в коридоре, а заодно читал Чижу лекции о вреде табака. «Видишь, как люди катятся по наклонной? Стоит втянуться, и уже не отвыкнешь».

Как только Дебби с тележкой исчезает из виду, Чиж бежит по лестнице к черному ходу. Таблички на двери нет, но он уверен, что попал куда нужно. Прямо напротив – запасной выход с табличкой «НЕ ОТКРЫВАТЬ!». А главное, под дверью лежит искрошенный красный кирпич. Остается ждать и надеяться на удачу. Чиж прячется за углом – если кто-нибудь появится, он сделает вид, что идет в туалет или из туалета.

Проходит двадцать минут – никого; теперь понятно, почему именно это место облюбовали курильщики: наверху все шмыгают туда-сюда, а здесь, внизу, считай, ни души. И когда Чиж уже подумывает уйти, скрипит тяжелая дверь и стучит о каменный пол кирпич. Спустя секунду открывается вторая дверь, наружная, и в нее врывается уличный шум: свист ветра, птичий щебет, чей-то далекий смех.

Чиж заглядывает за угол. Наружная дверь подперта кирпичом: кто-то вышел покурить, и, как и надеялся Чиж, дверь хранилища тоже приоткрыта. Времени в обрез. Чиж бесшумно крадется по коридору, приоткрывает чуть шире внутреннюю дверь. Она тихонько скрипит, и Чиж смотрит через плечо, не заметил ли его курильщик. Нет, не заметил. Чиж, вдохнув поглубже, проскальзывает в хранилище.

Он не сразу понимает, где он. Все названия книг на полках на чужом языке, Чиж даже не знает, как они читаются: *Znievolony Umyst*<sup>[2]</sup>. *Pytania Zadawane Sobie*<sup>[3]</sup>. Юркнув в ближайший проход, Чиж спешит вверх, подальше от двери. Сейчас вернется курильщик, нельзя попадаться ему на глаза. Тишина в хранилище особенная – настороженная, тревожная, почти хищная, готовая заглотить любой твой шорох. Мимо спешит сотрудница с бумагами в руке и с книгой под мышкой, обводит взглядом полки. Дождавшись, когда она отвернется, Чиж идет дальше. Где-то здесь должна быть электронная справочная – да, вот она, в углу; Чиж подбегает, стучит по клавиатуре. «Мальчик, который рисовал кошек». Спустя время на экране

высвечивается номер. Записав его на бумажке, Чиж смотрит на схему возле монитора, водя по ней пальцем: уровень Д, нижний этаж. Минус четвертый, подземный. Юго-западный сектор.

Прежде чем уйти, Чиж, не удержавшись, набирает еще одно заглавие.

«Пропавшие наши сердца».

И снова приходится ждать, на сей раз дольше, и вместо номера вспыхивает сообщение: «ИЗЪЯТА». Чиж, вздохнув, очищает экран и с бумажкой в кулаке устремляется к лестнице.

Лестница ведет не в тот конец здания – не в юго-западный сектор, а в северо-восточный. Зато на уровне Д никого нет, и на том спасибо. Освещены только главные коридоры, да и то еле-еле, в поперечных проходах тьма крошечная. Только сейчас он понял, какая библиотека огромная – размером с целый городской квартал, с километрами полок. Приходят на ум давние папины слова: полки здесь – не просто полки, а несущие конструкции, на них держится здание. Проще всего, решает Чиж, идти краем, ведь если попытаться пересечь зал наискосок, недолго и заблудиться. Он осторожно пробирается вдоль стены в нужную сторону. Путь не такой прямой, как он надеялся. То и дело приходится огibtать баррикады из столов и стульев. Сверху, с уровня Г, доносятся шаги. Щелкает обогреватель, и сквозь решетку в полу врывается нагретый воздух, словно фонтан горячего источника.

Чиж проходит мимо полок, тычет пальцем в пустоту на месте изъятых книг. Здесь книги пострадали меньше, чем в публичной библиотеке, там на некоторых полках больше половины места пустует. Но и здесь почти на каждой полке не хватает одной или нескольких книг. Интересно, кто решил, какие книги хранить опасно, кто искал приговоренные книги и, словно палач, вез их на расправу? Неужели папа?

Возле нужной полки Чиж сбавляет шаг, пробегает взглядом номера на корешках аккуратно расставленных книг, от большего к меньшему. А, вот она! Тоненькая, желтая, даже на книгу не тянет – чуть потолще журнала. Чиж ее едва не проглядел.

Поддев книжку пальцем, Чиж достает ее с полки. «Мальчик, который рисовал кошек. Японская народная сказка». Книгу эту он видит впервые, но с одного взгляда на обложку понимает: та самая.

Японская сказка, но его мама-китаянка где-то ее услышала или прочла, запомнила и пересказала. На обложке нарисован акварелью мальчик-японец с кистью в руке, он выводит на стене огромную кошку. Пожалуй, он чем-то смахивает на Чиж: чернявый, вихрастый, с темными глазами и носом пуговкой. Мамина сказка, полузабытая, оживает в памяти – будто ее положили в мешок и спрятали подальше, а он достал и распаковал. Мальчик, один, бродит где-то далеко от родных мест. Зброшенный дом в темноте. Из-под кисти мальчика выходят кошки, одна за одной. Трясущимися руками Чиж с трудом открывает книгу; страницы под обложкой мягкие, как шелк. Да, та самая. Он почти у цели, разгадка проступает из мглы, обретаёт контуры, сейчас он прочтёт и вспомнит, вспомнит мамину сказку и чем она кончилась и все поймет.

Тут кто-то кладет руку ему на плечо; Чиж оборачивается – папа.  
Мне разрешили самому тебя забрать, вместо охраны.

Как же он не подумал. Конечно, в библиотеке есть камеры и от них не укрылось, что кто-то проник сюда с папиным пропуском вскоре после того, как папа – сама дисциплина – сообщил, что потерял карточку.

Папа, начинает Чиж, я просто хотел...

Папа молча отворачивается, прямой и сердитый, и Чиж следует за ним мимо стеллажей в служебную комнату с бесконечными рядами тележек, а там поджидают два охранника. Пока они не обернулись, Чиж успевает спрятать книгу под футболку и заткнуть за пояс джинсов.

Все хорошо, говорит папа, не дожидаясь вопросов охранников. Это мой сын, так я и знал. Я положил по ошибке карточку к нему в сумку, а он пришел отдать.

Чиж, не дыша, изучает линолеум под ногами. Папа даже не спросил, что он здесь делает, а папино объяснение звучит неубедительно. С чего бы ему искать отца в хранилище, разве можно в этом лабиринте найти человека? Охранники, кажется, почти готовы поверить. Один наклоняется ближе и, щурясь, вглядывается Чижу в лицо. Чиж пытается изобразить невинный вид, а руки сами собой сжимаются в кулаки, ногти впиваются в ладони.

Папа хохочет – громкий, натужный смешок отдается в комнате эхом и замирает. Хотел как лучше, да, Ной? Но вы не беспокойтесь, теперь он все понял.

Он хлопает Чижа по плечу, и охранники нехотя кивают.

В следующий раз, говорит один, подойди к стойке администратора, ладно, малыш? И папу вызовут.

У Чижа ноги подкашиваются от облегчения. Кивнув, он отвечает с запинкой: «Да, сэр». Судя по тому, как папа стиснул ему плечо, именно так он и должен ответить.

Дождавшись, когда уйдут охранники, Чиж достает из-под футболки книжку.

Папа, шепчет он, и голос дрожит. Папа, можно?..

Папа лишь мельком смотрит на книгу, даже на Чижа он почти не смотрит.

Положи на тележку, отвечает он тихо. И ее вернут на место. Пойдем.

Лишь однажды Чиж попал в беду. Обычно он следует папиному совету: не выделяйся. Не поднимай глаз. И если видишь, что где-то что-то неладно, разворачивайся и уходи, понял?

Сэди это выводило из себя. Сэди, едва почуяв неладное, брала след, словно гончая.

Чиж, говорила она, ну что ты трусишь?

В тот раз она не смогла пройти спокойно мимо плакатов, что висели и сейчас висят по всему городу – в витринах магазинов, на досках объявлений, даже на окнах домов, – всех призывают к патриотизму, напоминают, что за соседями нужен глаз да глаз, а обо всем подозрительном надо сообщать куда следует. Всё это работы известных художников, хоть сейчас на выставку. Красно-бело-синяя плотина на широкой желто-бурой реке, в плотине едва заметная трещинка: *Сегодня – трещина, завтра – пропасть*. Блондинка с телефоном возле уха выглядывает из-за занавески: *Предупрежден – вооружен*. Два дома, через белый дощатый забор из рук в руки передается взятка: *Смотри, чем занят сосед*. И внизу на каждом плакате надпись жирным шрифтом: ПАКТ.

В тот день Сэди буквально на минуту задержалась возле ряда плакатов на автобусной остановке, ковырнула один пальцем. Клей



посыпался белыми крошками, словно мел.

Тем же вечером в квартиру к ним явились двое полицейских.

Нам сообщили, начал один, что ваш сын сегодня в составе преступной группы портил плакаты на тему общественной безопасности.

А это Сэди, достав из кармана джинсов маркер, замалевала призывы к бдительности и единению.

Группа, повторил папа. Что еще за группа?

Конечно, продолжал полицейский, мы хотим разобраться в причинах. Что ему внушают дома, раз он позволяет себе столь непатриотичные и, прямо скажем, опасные поступки?

Это все твоя Сэди, да? – спросил папа, на этот раз у Чижа, и Чиж промолчал.

Мистер Гарднер, продолжал полицейский, мы изучили ваше личное дело, и, учитывая биографию вашей жены...

Папа не дал ему договорить.

Она нам теперь чужой человек, отрезал он. У нас с ней нет ничего общего. С тех пор как она ушла, нас больше ничто не связывает.

Папа все равно что ударил маму, прямо здесь, у Чижа на глазах.

И нам совершенно чужды ее радикальные взгляды, продолжал папа. Совершенно чужды.

Он глянул на Чижа, и Чиж вытянулся, будто кол проглотил, и кивнул.

Мы с Ноем понимаем, что ПАКТ защищает нашу страну, продолжал папа. Не верите – посмотрите. В последние два с половиной года я постоянно жертвую деньги группам безопасности и единения. А Ной – круглый отличник. Дурным влиянием у нас в семье и не пахнет.

Ну хорошо, допустим, ответил полицейский, но ваш сын и вправду испортил плакат в поддержку ПАКТа.

Он впился глазами в папу, будто ждал ответа. Чиж заметил, как папин взгляд метнулся к кухонному шкафчику, где у них хранится чековая книжка. Он знал, что в библиотеке платят мало; в конце каждого месяца папа просиживает по часу за столом, скрупулезно подсчитывая расходы. Наверняка он сейчас прикидывает, сколько нужно денег, чтобы откупиться, и им точно не хватит.

Это все та девчонка на него дурно влияет, сказал папа. Та, у которой родители лишены прав. Сэди Гринстайн. Тяжелый случай.

Чижа передернуло.

Ну как же, с ней мы уже знакомы, подтвердил полицейский.

Вот откуда все идет. Знаете ведь, как мальчишки в его годы себя ведут. Девчонки их могут подбить на любую пакость.

Папа тяжело опустил руку Чижу на плечо.

Постараюсь, чтобы такого больше не повторилось. Мы благонадежная семья.

Полицейский замялся, и папа почуял его нерешительность.

Мы очень благодарны вам и всем, кто нас бережет, сказал папа. Ведь если бы не вы, не знаю, что бы с нами было.

Ничего хорошего, кивнул полицейский, это уж как пить дать. Ну что ж, вот и разобрались. Недоразумение, только и всего. А ты, малыш, больше не хулигань, ладно?

После ухода полиции папа сжал виски, будто у него голова разболелась.

Ной, сказал он после долгого-долгого молчания. Чтоб это было в первый и последний раз.

Папа открыл рот, будто что-то хотел добавить, но тут же весь обмяк, словно палатка, у которой завалились колышки. Что именно в последний раз? – гадал Чиж. Портить плакаты? Разговаривать с полицией? Попадать в историю? Наконец папа открыл глаза.

Держись подальше от этой Сэди, сказал он, выходя из комнаты. Прошу тебя.

И на другой день Чиж не сел с Сэди за одну парту, не стал с ней обедать и неделю с ней не разговаривал, а потом она не пришла в школу, и никто не знал, куда она пропала.

Папа, не говоря ни слова, спускается по лестнице, выходит из библиотеки в университетский двор. Чиж молча плетется за ним следом домой, хоть сейчас разгар дня и у папы еще два с лишним часа рабочего времени. Даже глядя папе в спину, Чиж видит, что он не в духе. У папы такая походка, только когда он сердится – угловатая, механическая, точно он проржавел насквозь. Чиж тащится позади и все сильней отстает – сначала на несколько шагов, потом на полквартила. Чем дальше, тем больше. Если плестись еще медленнее,

может быть, они никогда не дойдут до дома, и не придется иметь дела с папой, и никогда не состоится у них тяжелый разговор.

На подходе к общественному саду папа впереди уже почти на целый квартал, и издали он кажется чужим человеком. Просто какой-то дядька с портфелем, в коричневом плаще, и не скажешь, что они родные люди. В библиотеке Чиж уловил в папином голосе, кроме гнева, кое-что другое, резкое, чему не может подобрать названия, – и вот наконец он понял, что это. Страх. Тот же неприкрытый безумный страх, как тогда, во время разговора с полицией из-за плакатов. Едкий, с привкусом металла, сжимающий, словно когтистая лапа.

Чиж снова устремляет взгляд на три раскидистых дерева – еще недавно они стояли красные, а теперь там, где сломаны ветки – будто шрамы. Такая рана, рассказывал ему папа, никогда до конца не заживет. Сверху нарастет кора, а под ней останется след, и если дерево спилить, то увидишь темную отметину поперек годовых колец.

Чиж в задумчивости налетает на прохожего. Грузного, сердитого, спешащего.

Эй, смотри, куда прешь, китаеза! – слышит Чиж, и чья-то ручища толкает его, валит на землю.

Все происходит так быстро, что Чиж сначала не понимает, в чем дело. Понимает лишь потом, лежа на сырой траве, задыхаясь, с заляпанными грязью локтями и коленками. Его обидчик удирает, прикрыв ладонью расквашенный нос. На тротуаре алеет большая капля, будто мазнули краской по бетону. А над Чижом склонился папа и смотрит на него, словно с большой высоты.

Ты цел? Чиж кивает, и папа протягивает ему руку со сбитыми костяшками. И Чиж неожиданно видит, какой папа большой, хоть это и не бросается в глаза: тихий, с застенчиво опущенными плечами, он кажется ниже ростом, но в студенческие годы он бегал кросс, он высокий, плечистый, выносливый – успеет добежать до сына, если тот в опасности. У него хватит сил врезать обидчику.

Пойдем домой, говорит папа и помогает Чижу подняться с земли.

До самого общежития они идут молча.

Папа... говорит Чиж в вестибюле.

Потом, коротко отвечает папа, направляясь к лестнице. Сначала поднимемся.

Они заходят в квартиру, папа хлопает дверью, щелкает задвижкой.

Надо быть осторожнее, говорит он, схватив Чижа за плечи, и Чиж вспыхивает: я ничего не сделал. Это он меня толкнул...

Но папа качает головой. Таких, как этот, очень много. Заглянут тебе в лицо – и от одного твоего вида взбесятся. Я не про него, я про этот фортель в библиотеке...

Папа умолкает.

Ты же обычно соблюдаешь правила, продолжает он после паузы.

Подумаешь, книжка.

Если ты попадешь в беду, Ной, виноват буду я. Понимаешь, что ты легко отделался?

Прости, шепчет Чиж, но папа, как видно, не слушает. Чиж готов был к скандалу, к отцовскому гневу, но папа не кричит, а зловеще шепчет, и от этого почему-то еще страшнее.

Меня могли уволить, продолжает папа. В библиотеку кого попало не пускают, сам понимаешь. Только ученых. Следят, кто туда приходит. У университета большая свобода благодаря репутации, но и мы тоже уязвимы. Если кто-то натворит бед и выяснится, что тут замешана книга, которую брали у нас...

Папа качает головой.

А если я вылечу с работы, нас и из квартиры выселят. Понимаешь, да?

Чиж об этом и не подумал; его обдает холодом.

Хуже того: если узнают, что книгу взял ты, и решат заняться нами... тобой...

Папа никогда его не бил, даже не шлепал, но сейчас он смотрит на Чижа так, что Чиж вздрагивает, ожидая удара. Но папа судорожно стискивает Чижа в объятиях – до того неистово, что Чиж не в силахдохнуть. Обнимает его крепко-крепко, а у самого руки дрожат.

Тут Чиж все понимает – перед ним будто дверь открылась. Вот почему папа всегда так осторожен, вот почему он заставляет Чижа ходить одной и той же дорогой, запрещает гулять одному. Вот почему он так быстро прибежал на помощь. Опасно не только изучать Китай или отправляться на поиски японских сказок. Опасно выглядеть как он, Чиж, и всегда было опасно. Опасно быть маминым сыном, сразу по нескольким причинам. Папа всегда об этом помнил, всегда готовился к чему-то подобному, всегда был настороже. Боялся, что однажды кто-

то, заглянув Чижу в лицо, увидит в нем врага. Признают в нем маминного сына, по крови и по духу, и заберут.

Чиж обхватывает папу руками, и папа обнимает его еще крепче.

Тот старик в пиццерии, спрашивает Чиж с расстановкой, что он сказал?

«Он один из нас», – отвечает папа глухо, зарывшись ему в макушку, и слова его отдаются эхом у Чижа в голове. И старик прав. То есть от такого и ты не застрахован, это и с тобой может случиться.

Папа чуть отстраняется, смотрит на Чижа с расстояния вытянутой руки.

Вот почему я тебе все время твержу, Ной: не высовывайся. Не привлекай внимания.

Хорошо, обещает Чиж.

Папа идет к раковине, подставляет разбитые пальцы под струю ледяной воды. И, чувствуя, что дверца между ними еще приоткрыта, Чиж пытается просочиться в щель.

Мама любила кошек? – спрашивает он.

Папа застывает на месте. Что? – переспрашивает он, будто Чиж заговорил на чужом языке, одном из немногих ему неизвестных.

Кошек, повторяет Чиж. Любила мама кошек?

Папа неторопливо закрывает кран. Почему ты об этом спрашиваешь?

Просто интересно, отвечает Чиж. Любила?

Папа окидывает быстрым взглядом комнату, как всегда, если речь заходит о маме. За окном тишина, лишь где-то вдалеке гудит сирена.

Кошек, повторяет папа, разглядывая изодранную, покрасневшую руку. Любила. Обожала.

Давно Чиж не видел у него такого пристального взгляда. Будто с глаз у него упала пелена и он разглядел в лице Чижа что-то необычное.

Мяо, произносит папа с расстановкой, – ее фамилия.

И выводит пальцем в пыли на книжной полке иероглиф: разделенный на четыре части квадрат – поле, а над ним – горизонтальная черта и две поперек.

Это означает «росток», иногда «посевы». Молодую, растущую жизнь. Но звучит как кошачье мяуканье, правда? Мяо.

И вот что еще, продолжает папа, и голос у него теплый, как всегда, когда он увлечен, когда рассказывает о том, что любит, – например, о словах. Давненько уже такого не бывало. И, продолжает папа, если слева поставить элемент «животное»...

Он добавляет еще несколько штрихов – вроде зверя на задних лапах:

貓

тогда получается иероглиф «кошка». Мяукающий зверь. Но можно и по-другому истолковать – зверь, который стережет посевы.

Папа в своей стихии, таким Чижа его не видел уже несколько лет. Он почти забыл об этой грани папиного характера. Забыл, что иногда у него так загораются глаза, так светлеет лицо.

Говорят, продолжает папа, раньше в Китае кошек не было. Точнее, домашних кошек. Только дикие. Изначально иероглиф «кошка» выглядел вот так:

𤝵

Это означает «дикое животное», вроде лисы. Потом персидские купцы научили китайцев приручать диких кошек, тогда добавили вот это...

Папа выводит еще один знак, из двух частей. Первый элемент – «женщина», а рядом, вплотную, символ руки.

奴

Это «раб», объясняет папа. Дикая кошка плюс раб – домашняя кошка. Понятно?

Вместе они смотрят на палочки и загогулины, нарисованные в пыли. Мяо. Мама. Зверь плюс росток – кошка. Каким зверем была бы мама? Ясное дело, кошкой. Женщина плюс рука – раб. Может быть, и маму тоже приручили, одомашнили?

Одним движением папа смахивает с полки пыль.

Ну так вот, продолжает он. Мы много о таком говорили с мамой. Давным-давно.

Он вытирает ладонь о брюки, оставив на штанине серый пыльный след.

Ей нравилась эта мысль, добавляет папа чуть погодя. О том, что от зверя ее отличают всего несколько штрихов.

А ты, оказывается, китайский знаешь, удивляется Чиж.

Не знаю, рассеянно отвечает папа. Свободно им не владею. Но по-кантонски немного понимаю. Я его учил, хоть и недолго. С мамой, давным-давно.

Уже собравшись уходить, он вдруг оборачивается.

Та книга.

И, выждав порядочно, спрашивает: ту сказку тебе мама рассказывала?

Чиж кивает.

Помню, говорит папа.

И когда он начинает, Чижу вспоминается сказка, от начала до конца; не слова из книги, не папины скупые фразы, а то, как рассказывала мама, – рисовала ему словами картину, расцвечивала. Теперь давно забытое снова вспыхивает перед ним.



*Давным-давно жил на свете мальчик, который любил рисовать кошек. Был он беден и с утра до ночи работал в поле с родителями и односельчанами – весной сажал рис, осенью убирал урожай. Но если выдавалась у него свободная минутка, он рисовал. А больше всего любил он рисовать кошек. Больших и маленьких, полосатых, пятнистых, черепаховых. С ушками на макушке, с черными пятнами на мордочке и лапах, с белыми звездочками на груди. Пушистых и гладкошерстных, в прыжке и в засаде, рисовал он и спящих кошек, и как они умываются. На плоских камнях у реки он рисовал их обугленной палочкой. Рисовал их на влажном песке у ближнего озера, где рыбаки закидывали сети. Погожими днями он рисовал их в пыли на*

тропинке, ведущей к дому, а после дождей – в грязи, где еще недавно блестели лужи.

Вся деревня над ним потешалась – мол, пустое это занятие. Что толку рисовать кошек? От этого ни еда на столе не появится, ни урожай в поле не вырастет. У первого богача в деревне стены в доме украшены свитками: горы в тумане и чудесные сады, диковинные пейзажи, которых никто в деревне отродясь не видал. А кошки – эка невидаль, вышел за порог – и вот они, на каждом шагу, повсюду. Где это видано, чтоб художник кошек рисовал? Какая от такого польза?

Родители мальчика, однако, не соглашались. Хоть они и были простые крестьяне – много работали в поле, а мальчик им помогал, – они гордились его талантом. После работы отец собирал бамбуковые палочки длиной с ладонь и резал из них ручки для кистей, а сами кисти мать делала из своих волос. Мальчик собирал камни – всех цветов, какие только мог найти, от ярко-красного до угольно-черного, – стирал в порошок и готовил краски. И каждый вечер рисовал он кошек – на кусочках коры, на клочках бумаги, на лоскутах ткани, – пока не настанет пора ложиться спать.

Однажды случился в деревне мор, умерли и родители мальчика. Никто из соседей взять его в дом не захотел, ведь о мальчике уже шла дурная слава: бездельник, мол, пустяками занимается. Да и нечем им было делиться. Многие и сами едва оправились от болезни, еды даже для своих не хватало, не то что для чужих. Собрали всей деревней по пригоршине риса, завязали в узелок и отдали мальчику. Удачи, пожелали ему. Пусть счастье тебе улыбнется. Поблагодарил их мальчик, закинул на плечо узелок, спрятал в карман кисти и пустился в путь.

Дело было зимой, в лютые морозы. Шел мальчик, шел темной дорогой, пока не добрал до деревушки, а там все двери заперты наглухо. Окна светятся, а на стук никто не откликается. Подул ледяной ветер, полетели в лицо снежные хлопья, будто призраки пытались глаза ему выцарапать. Из дома на краю деревни выглянула старушка. Прости, говорит, не могу тебя впустить, муж меня убьет. Мы чужих не пускаем, боимся. Вся деревня в страхе живет. В страхе? – переспросил мальчик. А чего боитесь? Но старушка только головой покачала.

В отчаянии оглядел мальчик безлюдную улицу. На самой окраине деревни увидел он домик, который поначалу не заметил. А вон тот



заброшенный дом? – спросил он. В нем, наверное, можно заночевать?

Схватила старушка мальчика за руки. Место это опасное, сказала она. Проклятое. Говорят, там поселилось чудовище. Если в этот дом кто зайдет ночью, то уж не возвратится.

Я не боюсь, отвечал мальчик, да и неизвестно еще, что хуже, чудовищу в лапы угодить или в сугробе замерзнуть.

Поклонилась ему старушка, дала факел, зажженный от своего очага. Возьми, сказала она. И остерегайся больших помещений, твое спасение в малом. Благословила она мальчика, смахнула слезу со щеки. Желаю тебе пережить эту ночь, сказала она. А если переживешь, то молю: не держи на нас зла.

И стал мальчик пробираться к заброшенному дому. Снег укутал и землю, и голые деревья, а у двери дома намело сугроб. Но дверь была не заперта, и вошел мальчик в дом. Затешил в очаге огонь, огляделся. Комната в доме была всего одна, да и та почти пустая, не считая сундука, похожего на тот, в котором мать хранила когда-то одеяла. Ни циновок, ни безделушек – белые стены да чисто выметенный земляной пол.

Что ж, подумал мальчик, даже если место это проклятое, здесь хотя бы тепло и сухо, и на том спасибо. Хотел он расстелить на полу одеяло и лечь спать, но тут оглядел белые стены – такие пустые. Словно люди без лиц. Достал он из кармана кисти и, недолго думая, нарисовал кошку. Маленькую, в серо-белую полоску. Не кошку даже, а котенка. Ну вот, подумал он, другое дело. И стал готовиться ко сну.

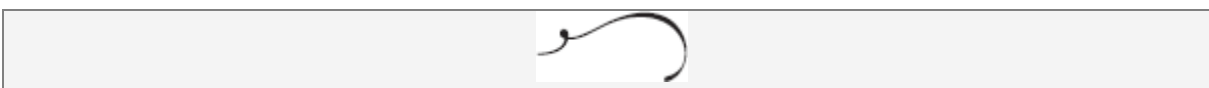
Да только кошке одиноко, а места на стене еще хоть отбавляй. И нарисовал он рядом другую кошку, побольше, полосатую, – она сидела и вылизывала лапку. И так он увлекся, что обо всем позабыл. Нарисовал толстого рыжего кота, спящего у огня, черную кошку в прыжке, и еще одну, белую с большими голубыми глазами, и трехцветную кошку на крыше. Все стены изрисовал он кошками, и лишь когда не осталось свободного места – а углы в очаге дотлевали, – лишь тогда отложил он кисти.

Притомился мальчик – всякий бы на его месте устал, сотворив из ничего сотню кошек. Развернул он свое одеяло, но даже рядом с кошками было ему одиноко. Одолела его тоска по родителям, и захотелось ему снова очутиться дома, в своей постели, и чтобы рядом спали отец и мать. Вспомнились ему мелочи, которых больше

*всего не хватало: как мама гладила его по голове, как напевал отец, когда работал в поле, – тихонько, будто пчела жужжит. И почувствовал он себя совсем маленьким, и тут пришли ему на ум старушкины слова: остерегайся больших помещений, твое спасение в малом. Открыл он сундук и постелил там свое одеяло. Получилось почти как дома. Залез он в сундук со всеми своими пожитками и захлопнул крышку.*

*Среди ночи разбудил его жуткий вой. Ужасные звуки, будто стонут и ломаются на ветру старые деревья, будто завывает сотня вьюг или разверзается земля. Даже ресницы у него дыбом встали. Заглянул он в крохотную щелку, но увидел лишь зловещий красный отсвет, словно комната залита кровью. Зажмурился он, затаил дыхание, укрылся с головой одеялом. Только бы его не нашли.*

*Много ли, мало ли прошло времени – все стихло, а он ждал и ждал, не решаясь вылезти. Час прошел, другой. Посмотрел мальчик в щелку и красного не увидел, лишь бледный луч солнца. Дрожащими руками открыл он крышку и выбрался из сундука. Со стен смотрели все те же кошки, которых он нарисовал, но мордочки у них были окрашены кровью. А на полу – всюду отпечатки кошачьих лап, отметины от когтей, следы схватки. На стенах – брызги крови. А в углу – огромный мохнатый мертвый зверь. Крыса величиной с быка.*



Так что все это значит? – гадают Чиж, лежа в постели. Уже далеко за полночь, на нижней койке похрапывает и ворочается папа. Город спит, лишь нет-нет да взвоет во тьме сирена. *Клянемся оберегать друг друга.*

Чиж пробирается на цыпочках в гостиную и, спрятавшись за шторой, смотрит в окно. И видит лишь темные громады зданий, далекие огни фонарей, черную ленту улицы. Здесь только что положили новый асфальт, поверх нарисованного алого сердца. Ну и для чего было так рисковать? – думает Чиж. Ведь через пару часов от сердца и следа не осталось.

Да только никуда оно на самом деле не исчезло. Глядя на черный асфальт, Чиж видит перед собой сердце, ярко-алое, грознее львиного рыка.

Разве не было им страшно?

Чиж воображает себя на месте того безымянного художника. Крадешься на цыпочках по улице, дышать под маской жарко, будто ты, как дракон, изрыгаешь пламя, глохнешь от ударов собственного сердца. Дрожащими руками прижимаешь к асфальту трафарет, пшикаешь из баллончика, выпустив красное облако. И убегаешь, едва дыша от страха и едких паров краски, и прячешься за углом. Руки заляпаны краской, точно кровью.

И тут его захлестывают воспоминания. Поток, словно выдернули затычку.

Когда он был маленький, они придумали с мамой одну игру. Еще до школы, когда мама составляла для него весь мир. Игру эту он любил больше всех и без конца упрашивал маму поиграть в нее. Была она секретной, знали о ней только он с мамой и затевали ее, когда папа был на работе.

Ты, мама, будь чудовищем. Я спрячусь, а ты будешь чудовищем.

Мама наклеивала на стены листы бумаги, и Чиж рисовал на них кошек – цветными мелками, наполовину высохшими фломастерами, огрызками карандашей. Кошки были совсем простенькие, кружочки с ушами, и все-таки кошки. По всей комнате. А когда рисовать ему надоедало, следовала вторая часть игры. В стенном шкафу была ниша – родители ее обнаружили, когда делали в доме ремонт. Совсем крошечная, ни то ни се – казалось бы, на что она годится? Но мама все-таки решила ее не заделывать, оставить для Чижа. Вышла отличная норка, как раз нужного размера; мама отгородила ее подъемной шторкой, положила туда подушку, одеяло и фонарик. Пещера дракона. Логово разбойника. А иногда – сундук, где прятался мальчик, который рисовал кошек.

Чиж залезал в нишу, задерживал шторку и громко зевал, потом ложился и начинал храпеть. Снаружи доносился леденящий душу рык, свирепое мяуканье. А Чиж за шторкой, укрывшись с головой одеялом, дрожал сладкой дрожью. Спустя минуты, дождавшись, когда все стихнет, он вылезал из своей теплой норки – сначала в чулан, потом в комнату, где на ковре лежала мама, скрестив на груди руки.

Неподвижно, как мертвая. А у всех нарисованных кошек мордочки были перепачканы красным.

Чиж подбегал к маме, бросался ей на грудь, а мама стискивала его в объятиях, теплых и сильных, и тормозила, и смеялась. И всякий раз – секунда ужаса, когда Чиж видел маму на полу, и жаркая волна облегчения, когда она оживала. Снова и снова играли они в эту игру, снова и снова радовала его мама. Так давно это было, что успело забыться. Детский сад, новые друзья, новые забавы заслонили память об игре. А потом, когда мама ушла, он припрятал эти воспоминания вместе со всеми прочими и оставил в доме, где они раньше жили все вместе. Может быть, там – он не смеет даже облечь свою надежду в слова, – может быть, там он ее найдет.

Вот в чем он не признавался никому, даже Сэди: за эти годы он был там не раз. Оттуда до его новой школы всего несколько кварталов, и пусть после уроков ему велено идти сразу домой, иногда он задерживается, совсем ненадолго, чтобы пройти мимо своего бывшего дома, взглянуть на него одним глазком. Если он отклоняется от маршрута, то только за этим. Дорожные работы (скажет он папе, если понадобится) главную дорогу перекрыли, пришлось идти в обход. Или так: полиция всех направляла вкруговую, не знаю почему. Папа с этим не поспорит, он же без конца напоминает Чижу: не нарывайся, встретишь полицейского – обходи стороной.

Но папа даже не спрашивает, он свято верит в его беспрекословное послушание, и в такие дни – стоя на тротуаре и глядя на покинутый дом с закрытыми глазами окон – Чиж внутренне возмущается из-за этой папиной уверенности, что сын хочет только того, что положено.

Прошло уже три года, а новых жильцов в доме нет. Папа его не продал – без маминой подписи нельзя, – и снимать дом тоже никто не хочет: как узнают, кто здесь жил, сразу отказываются. Каждый раз Чиж застает здесь все ту же картину: шторы на окнах задернуты, узкая задняя калитка заперта наглухо. Дворов на их улице нет, дома стоят возле самой дороги, будто расталкивая друг друга. Между домами и тротуаром тянется узкой лентой неухоженный газон, только он и меняется от раза к разу – трава сначала вырастает по колено, потом колосится, потом скрывается под снегом, который никогда не убирают.

Однажды весной Чиж пришел сюда, а газон весь в нарциссах; он и забыл, что мама их тут посадила, и их веселый канареечный цвет, мамин любимый, навевал такую грусть, что Чиж не приходил сюда целый месяц, а когда пришел, они уже завяли, стебли полегли, а листья засохли.

Знает он только одно: дом до сих пор пустует. Нет лучше места, чтобы спрятаться.

На другой день Чиж после школы идет не сразу домой, а берегом реки к старому дому. И с каждым шагом оживают воспоминания, сверкают драгоценными камешками, освещают дорогу, словно огоньки в лесу. Вот серо-бурый платан, толстый, как слоновья нога, – даже вдвоем с мамой у них не хватало рук его обнять. Вот кособокий белый дом, двухсотлетний, сплошь из острых углов и пристроек; Чиж его называл «шурум-бурум», а мама – «дом о тридцати семи фронтонах». Вот монастырь за высокой стеной из песчаника – как прежде, неприступный и безмятежный. Здесь живут монахи, рассказывала мама, а когда он спрашивал, кто такие монахи, отвечала: те, кто решил удалиться от мира. Все памятные места детства возвращаются, точно указывают путь. У корявого пня Чиж замирает со смутным чувством, будто чего-то не хватает, и лишь спустя миг вспоминает: старый клен спилили. Каждую осень он осыпал тротуар дождем огненных листьев – даже самым маленьким из них Чиж мог закрыть лицо. Мама сорвала однажды такой лист, проделала в нем дырки для глаз, и получилась маска для Чижа. Вторую она сделала себе, и бродили они по городу, точно парочка лесных духов. Ствол, должно быть, все эти годы гнил изнутри – превращался в труху, стал пористым, словно губка. Чиж стоит, сокрушенный горем, но тут замечает, что из пня пробиваются упрямые зеленые побеги.

На их бывшей улице все дома унылых расцветок: коричневые, грязно-желтые, блекло-серые, словно застиранное белье, как будто вылиняли за эти годы. Приземистые, чуть кривобокие, как старушки в потасканной одежде. За заборами мусорные баки, на тротуаре нет-нет да и попадется газета, зато район спокойный. А вот и он, их дом, такой же, как всегда. Пыльно-зеленый, словно изнанка листа, деревянные ступеньки крыльца отполированы временем. Дверь, когда-то ярко-вишневая, выцвела до кирпичного.

Раз папа дом не продавал, рассуждает Чиж, значит, он по-прежнему им принадлежит. То есть Чиж не взломщик. Строго говоря, все в рамках закона. И все равно, пробираясь сквозь густую траву к калитке, ведущей на задний двор, он то и дело тревожно озирается. Окна соседних домов злобно глядят ему вслед.

Когда мама ушла, соседи стали от них шарахаться, а раньше махали, здоровались, замечали, как Чиж подрос, заводили разговоры о погоде. А теперь поджатые губы, небрежные кивки. Как завидят Чижа с папой – сразу в дом, будто что-то забыли или не выключили газ. Однажды на Гарвардской площади Чиж с папой случайно встретили Сару, которая живет через два дома от них, – раньше она приносила им пышки с ревенем, одалживала у Маргарет садовые ножницы. На этот раз, как только Чиж с папой с ней поравнялись, она пересекла улицу чуть ли не бегом, словно спешила на автобус. В другой раз они ее встретили на своей бывшей улице – она заносила пустые ведра, когда отъехал мусоровоз, и, завидев Чижа с папой, отвернулась.

Ладно бы все соседи перестали их замечать – некоторые повадились их навещать: дескать, узнать, не нужно ли им чего. На минутку, спросить, как дела. Посмотреть, как вы тут управляетесь. С чем тут управляться? – думал Чиж, но в конце концов понял: с самими собой. В первые дни, когда он привыкал завтракать сухими хлопьями, потому что молоко вечно скисало, ему представлялось, что они с папой марионетки, а нити, за которые их дергают, ослабли. Раньше всем этим ведала мама, но мама ушла, и придется им учиться жить без нее; в первые недели это казалось почти невозможным.

Когда у них сработала сигнализация и приехали пожарные, папе пришлось объясняться: нет, все в порядке, просто блинчики пригорели. Да, конечно, плиту нельзя оставлять без присмотра, но сын позвал его в другую комнату, нет, Чиж в безопасности, все как надо. В другой раз Чиж на повороте упал с велосипеда, ободрал оба колена и побежал домой с плачем, а по ногам стекала кровь; он сидел на унитазе, закрытом крышкой, а папа протирал ему колени мокрым бумажным полотенцем – ничего страшного, Чиж, видишь? Подумаешь, ссадина, не так все плохо, как могло быть, – и тут явились полицейские. Вызвала их соседка: ребенок один, плачет. Велосипед брошен, переднее колесо крутится. «Просто забеспокоилась, что он

один, мама ведь у него ушла. Хотела убедиться, что он под присмотром».

Казалось, за ним все время следили – и когда он вышел без шапки и дрожал на автобусной остановке, и когда забыл дома завтрак, а учительница спросила, не морит ли его папа голодом. За ним всегда следили. Кто-то непременно норовил проверить, все ли в порядке...

Скорее всего, ничего страшного, но...

Так, на всякий случай...

Не сомневаюсь, все у вас хорошо, просто...

Примерно в это же время всюду запестрели плакаты – по всему району, по всему городу. По всей стране. «Сплоченные соседи – спокойный район». «Бдительность не повредит». Много позже Сэди на глазах у Чижа достанет из кармана джинсов маркер, перечеркнет несколько букв, и останется «Бдительность вредит». Соседка напротив, которая всегда их недолюбливала и вечно ворчала – дескать, и двор у них зарос, и дом не крашен, и машину они ставят слишком близко к ее машине, – теперь повадилась на них жаловаться по всякому поводу. Когда папа обжег руку о чугунок, с громким стуком уронил его на пол и ругнулся, через четверть часа прибыл полицейский. Поступила жалоба о домашнем насилии, сказал он. Есть ли у вас привычка ругаться при ребенке? Вспыльчивый ли у вас характер? А у Чижа он спросил, убедившись, что папа не слышит: ты когда-нибудь боялся отца? Поднимал ли отец на тебя руку? Не страшно ли тебе дома?

Раз в несколько дней им в почтовый ящик или на крыльцо подбрасывали какую-нибудь гадость: битое стекло, пакеты мусора, а однажды – дохлую крысу. Записки печатными буквами – папа их рвал в клочки, прежде чем Чиж успеет прочесть. Вскоре после того, как все это началось, понимает Чиж, папа сменил работу, перевел его в другую школу, и они перебрались в общежитие. Лишь сейчас Чиж задумывается, что могли подбрасывать папе на работе – под дверь кабинета, на парты в аудиториях. И что говорило – или замалчивало – папино начальство.

Хорошая новость, объявил папа: нам дают служебную квартиру в одном из общежитий.

На новой работе оплата была почасовая, на еду и одежду кое-как хватало, а снимать квартиру в Кембридже было им не по карману. Но

папа всеми правдами и неправдами выторговал им безопасное жилье — на самом верху высотки с внутренним двориком, магнитными ключами и лифтом. Убежище от любопытных глаз.

Чиж толкает калитку, и вдруг слышит шорох, мелькает что-то бурое с белым пятнышком: в высокой траве прятался кролик, а Чиж его спугнул. Кролик исчезает, юркнув в щель под забором, а Чиж пробирается по участку. Трава, три года не кошенная, выросла по пояс, тропинки почти не видно, то и дело какая-нибудь ветка, длинная и облезлая, цепляется за рукав, словно нищенка, просящая подаяния. Чижу приходит на ум сказка: замок, окруженный колючим шиповником, таким густым, что ничего за ним не видно, даже флага на башне. Ни один принц не мог сквозь него пробраться. Когда через сто лет явился тот самый принц, заросли расступились перед ним сами собой. Сказку эту Чиж любил и, когда мама рассказывала, верил каждому слову.

Чиж озирается, и воспоминания кружат рядом, словно стрекозы, готовые опуститься на плечи. Раньше здесь пестрели цветы: лаванда, жимолость, огромные лиловые гортензии, папины любимые. Белые розы величиной с кулак, в них забирались толстые золотистые пчелы. Ползучее растение с малиновыми цветами-звездочками. Росли у них и овощи — кабачки с пушистыми листьями, раскидистые кусты помидоров. Мамины зеленые резиновые сапоги вечно были облеплены грязью. У Чижа сапоги были оранжевые. Однажды его ужалила пчела, и мама поднесла к губам его руку и высосала жало.

Чиж пробирается дальше, раздвигая траву. Вот каркас из жердей и веревок, похожий на вигвам, — когда-то по веревкам вилась фасоль. Прохладный зеленый домик, где можно спрятаться. У папы в детстве был такой, и мама соорудила похожий для Чижа. Теперь фасоль уже не вьется, веревки посерели, одни провисают, другие размочалились. Возле ног Чижа — клубок сухих стеблей.

Где-то тут, в саду, должен быть ключ. Он точно здесь — то ли рядом с задней дверью, то ли под крыльцом. Камень, а под ним ключ.

Как-то раз они возились на грядке. Сколько ему было тогда — четыре? пять? Папа был на работе, мама в саду — полола, подстригала кусты, подвязывала к колышкам ветви, отяжелевшие от плодов. Чиж захлопнул заднюю дверь, а потом не смог открыть и разревелся. Не



попасть им больше домой никогда. Ничего, сказала мама, слушай сказку. Мама часто рассказывала сказки за работой, когда Чиж копался рядом в земле, собирал палочки или валялся в траве возле ее ног. *Жила-была ведьма, и был у нее заколдованный сад. Жил-был юноша, который понимал язык птиц и зверей. Давным-давно было на небе девять солнц, и жара стояла такая, что ничего на земле не росло.*

В тот раз она вытерла замурзанную щеку Чижа и начала: «Жил-был мальчик, и однажды нашел он золотой ключик». Наклонилась, заглянула под камень у крыльца. Фокус-покус! Вот он, ключ!

Мама всегда ему что-нибудь рассказывала. Открывала путь волшебству, создавала мир, полный чудес. После маминого ухода Чиж перестал верить в небылицы. Призрачные, лживые сны, которые тают с первыми лучами рассвета. Теперь ему приходит в голову, что все-таки в них может быть доля правды.

Ключ он находит, хоть и не сразу. Вдавленный в землю, тронутый ржавчиной. Но вот он, здесь, у него на ладони – тяжелый, увесистый, настоящий. Привычно входит в замок, привычно щелкает, и Чиж, повернув ручку, открывает дверь и переступает порог.

Запах в доме затхлый, нежилой. Воздух застоялся, не согрет людским теплом, но Чиж этого и ждал. Зато не ждал, что все окажется таким знакомым. Длинный узкий коридор между кухней и гостиной, где они с папой устраивали гонки заводных машинок, вделанный в стену кирпичный камин, крутая лестница, уходящая в темноту. Будто этот дом ему когда-то приснился и он знает здесь все, хоть и не смог бы нарисовать карту. Куда ни помотришь, всюду воспоминания. Он помнит исчезнувшую мебель, громоздкую, внушительную – мамино любимое кожаное кресло, стеклянный кофейный столик, где они когда-то вдвоем играли в «Страну конфет». Он помнит, какой был в доме свет на исходе дня, перед сном, – теплый, золотистый, точно весь дом залит медовым сиропом.

*Время в замке остановилось. В кухне дремала служанка с полуощипанной курицей на коленях. Повар храпел, занеся руку, чтобы дать затрепину поваренку.*

Ау! – зовет Чиж, но никто не откликается.

Теперь здесь пусто, лишь пыльные лучи пробиваются сквозь щелки в задернутых шторах. На дощатом полу четкий прямоугольник

– раньше тут лежал коврик. В камине белеет горка пепла, словно старые кости. Папа когда-то сложил сюда мамины книги и поджег с четырех сторон.

Нигде ее нет. И всюду она.

Взявшись за перила, Чиж взбирается по лестнице, оставляя на каждой ступеньке следы в пыли.

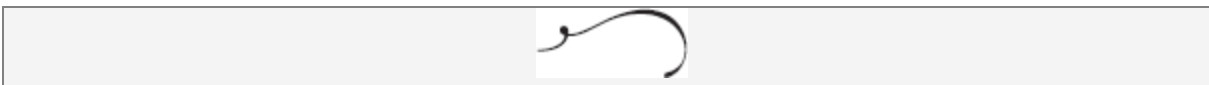
Наверху лестничную площадку освещают лишь тонкие лучи, что сочатся из-за плотных штор. Спальня родителей. Ванная; ванна с декоративными ножками вся в ржавых разводах. А в конце коридора – комната Чижа, с невиданной дверью о пяти углах, как раз под скошенный потолок. Чиж толкает ее – в комнате никого. В углу рама кровати без матраса – железный скелет. У стены напротив пустая книжная полка, комод с выдвинутыми ящиками. Чиж заглядывает в них по очереди – пусто. Одна оболочка осталась от его прежней жизни. Оживает давнее воспоминание, и Чиж проводит рукой вдоль дверного косяка, стирая с него пыль, – вот они, карандашные отметки, словно ступеньки лестницы, возле каждой – дата и две буквы. ЧГ. Чиж Гарднер. Его прежнее имя. Девяносто один сантиметр. Девяносто шесть с половиной. Метр шесть. Все вверх и вверх.

Дверь стенного шкафа открывается со скрипом. Пусто. На штанге сиротливо болтается проволочная вешалка. А вот и шторка, которая на самом деле дверца – потайная, бережно хранимая, даже друзьям он ее не показывал, берег для себя. И для мамы. Ничего здесь не изменилось, даже странно. Как будто этот уголок он сам придумал и оживил силой мысли.

Чиж осторожно отодвигает защелку, поднимает шторку, а за нею ниша, где с трудом поместился бы и пятилетний ребенок. Плюхнувшись на пол, Чиж просовывает туда голову и одно плечо, шарит вслепую вокруг. В его воспоминаниях это огромная пещера, а на деле всего лишь закуток, сейчас ему туда не протиснуться даже на четвереньках.

В нише он находит старый карманный фонарик, пробует включить, но батарейка, конечно, давно села. Потрепанная подушка. Что-то шуршит – целлофановая обертка от кекса, вся в пыли. И больше ничего. Как же это глупо – думать, что она сюда заходила.

Чиж, упершись руками, пытается выбраться и тут чувствует что-то под пальцами. В щель за шторкой вставлена открытка. Нет, даже не открытка, а клочок бумаги, пыльный, как и все кругом, – видно, долго здесь пролежал. На нем черной ручкой, печатными буквами написано одно-единственное слово – ГЕРЦОГИНЯ, а внизу адрес: Нью-Йорк, Парк-авеню, номер дома. Почерк мамин.



На другой день Чиж идет после школы в библиотеку, не в университетскую, а снова в публичную, и когда он уже у входа, ему вспоминаются слова библиотечарши: «Если нужна будет помощь, заходи». Неизвестно, сможет ли она и вправду помочь, но вот что он усвоил из сказок: если кто-то в пути предлагает помощь – указывает дорогу к сокровищам или предупреждает об опасности, – надо прислушаться.

Сегодня, к досаде Чижа, в библиотеке он не один. Здесь уже есть посетитель, чернокожий старик в отделе справочников, недалеко от стойки. Высокий, подтянутый, с серебряной бородой, седые волосы собраны в опрятный хвостик. Чиж, задержавшись в отделе кулинарных рецептов, смотрит исподтишка, как старик машинально открывает и закрывает книги и ставит на место, явно не интересуясь их содержанием. Чиж решает дождаться, когда тот уйдет, и переговорить с библиотечаршей с глазу на глаз.

Но прошло уже десять минут, а старик все еще здесь, листает. Что ж он так долго? Бывает, люди заходят сюда с улицы просто погреться. На дворе октябрь, с каждым днем холодает, и хоть Кризис уже десять лет как миновал, все равно вокруг много бездомных – ошиваются на углах, дремлют, сгорбившись, на скамейках в парке, прячутся от полиции и дружинников. Но этот старик на бездомного не похож. На нем темные джинсы, светло-коричневая куртка строгого покроя, лаковые кожаные туфли; держится он непринужденно, ему, в отличие от Чижа, здесь хорошо, хоть и непонятно, что он тут делает. Есть, однако, в его облике и некоторая напряженность, словно он собирается с духом перед трудным решением.

Тут старик достает из кармана куртки бумажку и незаметно прячет между страницами руководства по ремонту стиральных машин. Закладка. И все-таки что-то здесь не так: старик воровато оглядывается через плечо, чуть сдвигает соседние книги, чтобы скрыть, что одной не хватает. Чиж вспоминает, как в прошлый раз библиотекарша, разбирая за столом книги, нашла закладку. Старик, встрепенувшись, будто решился на что-то, сует книгу под мышку и направляется к стойке.

Простите, обращается он к библиотекарше. Вот, книгу нашел. Не уверен, но, кажется, ее забыли поставить на место.

Теперь Чиж может разглядеть его как следует. Темно-карие, почти черные глаза, белоснежный ворот рубашки, ухоженная борода.

Библиотекарша поднимает взгляд, в голосе прорывается сдерживаемая радость: спасибо, проверю.

Старик кладет книгу на стойку. Может быть, вы не знаете, говорит он, но, по-моему, кто-то ее ищет.

Он отодвигает книгу чуть дальше, однако руку с обложки не убирает, как будто не спешит с ней расстаться.

Кто-то ищет, волнуется, места себе не находит, продолжает он – голос низкий, с хрипотцой, точно он сдерживает слезы.

Я непременно с этим разберусь, отвечает библиотекарша.

Чиж выглядывает из-за полки с кулинарными рецептами – похоже, он не все расслышал. Что-то здесь явно не так. Никто не станет плакать из-за того, что книгу забыли поставить на место.

Никому не скажу, добавляет библиотекарша. Говорит она почти шепотом, и Чиж напрягает слух, чтобы разобрать. Спасибо. Спасибо, что сообщили.

Улыбнувшись старику, она касается обложки – не тянет книгу к себе, а ждет, когда старик будет готов отдать, и наконец он убирает руку.

Никогда бы себе не простил, если бы не сказал, произносит старик вполголоса. Мы с братом выросли в приемной семье, давно это было. Якобы отец с матерью не могли нас содержать. Я почти вырос, когда родителям удалось нас вернуть домой.

И он уходит.

Достав закладку, библиотекарша замечает Чижа и тут же захлопывает книгу. Закладку она прячет в карман свитера, и на этот

раз Чиж успевает мельком увидеть, что там написано: несколько слов, похоже на адрес или имя. Тут она узнает Чижа, и радость на ее лице сменяется тревогой.

Ну, здравствуй. Вернулся. Что-нибудь еще понадобилось?

Вы обещали мне помочь, отвечает Чиж. В прошлый раз. Вы говорили, нужна будет помощь – приходи.

Библиотекарша не отвечает ни да ни нет. Всматривается в Чижа, не выпуская книгу из рук.

Попробую, отвечает она. Что тебе нужно?

Чиж нерешительно мнетяся.

Мне нужно попасть в Нью-Йорк, отвечает он. В Нью-Йорк, повидать кое-кого.

Библиотекарша смеется. Это не по моей части, отвечает она. Я имела в виду новые книги. Или информацию.

Это и есть поиск информации, упорствует Чиж. Мне там нужно переговорить кое с кем.

Всю ночь он об этом думал. Неспроста мама ему оставила адрес, точно неспроста. Никто, кроме нее, не знает про нишу в стене, больше некому оставлять там послание. Письмо, сказка, записка – не многовато ли совпадений? Чиж верит в это упрямо, как в пророчество, как верят одни только дети. Эта самая Герцогиня, кто бы она ни была, обязательно что-нибудь ему расскажет о маме, а значит, надо до нее добраться и услышать.

Библиотекарша потирает висок. Прости, отвечает она, тут я тебе не помощница.

Ну пожалуйста, умоляет Чиж. Это очень важно. Честное слово.

Но библиотекарша только головой качает.

Я не турагент. И на месте турагента не стала бы помогать ребенку убежать из дома.

Я не убегаю, возражает Чиж, но его уже не слушают.

Прости, повторяет она и вот-вот отвернется, и Чиж решает рискнуть.

Я знаю, чем вы занимаетесь, говорит он, пусть на самом деле представляет лишь смутно, знает только, что это самоуправство, позор, а может быть, даже преступление, а значит, в руках у него оружие вроде лома: хочешь – открывай им двери, а если надо, можно и замахнуться.

Она молча застывает вполоборота к нему, вся ее поза дышит напряженным вниманием, и Чиж решает продолжать.

Я видел того человека, говорит он, глядя ей в затылок. А еще видел, что вы в тот раз делали. Видел записку в книге.

И, вдохнув поглубже, как перед прыжком в воду, он выпаливает: я видел, что вы положили в карман.

Подействовало! Библиотекарша оборачивается, и хоть лицо у нее невозмутимое, в голосе звучат новые, напряженные нотки.

Пойдем ко мне в кабинет. И, стиснув ему локоть, точно клещами, она ведет его мимо стеллажей в комнату для персонала. А там, едва переступив порог, хватает Чижа за плечи, сверкая глазами.

Значит, ты за мной шпионил. В тот раз. Так я и знала, что у тебя какая-нибудь пакость на уме. Не говори никому – ни одной живой душе, – что ты здесь видел. Понял?

Чиж рвется на волю, да где там! Мне просто нужна ваша помощь, просит он.

Чтоб ни одна живая душа не узнала, повторяет она. Могут пострадать люди – серьезно пострадать, – если кто-нибудь узнает.

Например, тот человек? – уточняет Чиж. Всего лишь догадка, но она попадает в цель. Выпустив его, библиотекарша прислоняется к стене, прижимая к груди книгу.

Он пытается помочь, объясняет она. И даже попытка – это очень большой риск. Большинство людей и пробовать не стали бы, закрыли бы на это глаза, раз речь не об их детях.

Она опять смотрит на Чижа.

Сколько тебе лет? Двенадцать? Тринадцать? Взрослый уже, все понимаешь, да? Речь о жизнях людей. Детей.

Я ничего плохого не замышляю, уверяет ее Чиж. Язык его не слушается, еле ворочается, словно выброшенная на берег рыба. Простите меня, ну пожалуйста, пожалуйста! Вы же другим помогаете, ну чем я хуже?

Он достает из кармана джинсов замусоленную бумажку с адресом.

Я просто ищу маму, говорит Чиж, и тут его осеняет: чем еще ее убедить, как не этим? Ведь она знает его имя, наверняка от мамы, от кого же еще? Все сходится, будто сложилась мозаика. Рисунок на асфальте, транспарант в Бруклине, легкокрылые листовки,

разбросанные по кварталам. Мамины стихи, похищенные дети, пропавшие наши сердца. Теперь все видно – так становится видна на солнце паутинка, униженная каплями росы. Они заодно.

Моя мама – одна из вожаков, заявляет он гордо. Впервые он смеет заговорить о ней открыто – и чувствует облегчение, будто много лет ползал на четвереньках, а теперь выпрямился во весь рост.

Библиотекарша смотрит на него насмешливо, словно приготовилась слушать бородатый анекдот.

Твоя мама, повторяет она.

Чиж решается. Маргарет, говорит он, и на звуке М голос чуть прерывается – трещинка толщиной с волосок. Маргарет Мяо.

Впервые за долгое время он произносит вслух ее имя. Может быть, впервые за всю жизнь. Звучит оно как заклинание. Он ждет – чего? Землетрясения. Удара молнии. Раскатов грома. Но видит лишь полуулыбку библиотекарши. Он думал, что мамино имя, словно пароль, откроет ему путь через потайной ход в сияющие чертоги – а вместо этого впилился носом в стену.

Да знаю я, кто твоя мама, неожиданно говорит библиотекарша.

И наклоняется к Чижу совсем близко, так близко, что Чиж чувствует ее дыхание с кислинкой от утреннего кофе и никнет под ее взглядом.

Видишь ли, я тебя не сразу узнала, продолжает она. Я ведь тебя помню совсем крохой, мама тебя в слинге приносила. А потом ты спросил про ее книгу, и я поняла, кого ты мне напоминаешь, почему лицо твое мне кажется знакомым. Ты же вылитая она, теперь-то я вижу.

В голове у Чижа столько вопросов, но они перемешались, спутались в клубок. Он силится представить маму здесь, среди этих полок, и себя, крохотного, у нее на руках.

Она сюда приходила? – переспрашивает он. Неужели мама стояла когда-то на этом самом месте, трогала эти книги?

Каждый день. Книги здесь брала, в те еще времена, когда писала стихи. До того, как стала «голосом революции».

У нее вырывается горький смешок. Закрыв глаза, она произносит нараспев:

*Все пропавшие наши сердца  
В новом краю взойдут.*

Чиж впитывает эти строки, словно пористый камень влагу. Книга, стихотворение, строчка в нем.

Целиком я его ни разу не слышал, признается он.

Библиотекарша вновь прислоняется к стене, руки уперты в бока. Все эти плакаты и транспаранты с ее строчкой, все эти нашумевшие снимки. Удачный рекламный ход.

Она фыркает.

И продолжает: по-моему, проще быть храброй на словах, чем на деле.

Так вот чем вы занимаетесь, говорит Чиж, находите детей и возвращаете домой.

Библиотекарша вздыхает.

Если бы все было так просто. Эту тему обходят стороной из страха. Большинство людей даже не смеют сказать вслух, что детей у них отобрали. Им внушают, что если они будут молчать, то детей им могут вернуть. Но...

Она умолкает, потирает переносицу. Мы стараемся их переубедить, продолжает она. Мы ведем список: имя, возраст, приметы. И если слышим о ребенке, которого забрали из семьи, то пытаемся сопоставить. С переменным успехом.

Рука ее невольно тянется к карману, где шуршит записка.

Дело опасное, сам посуди, и многие просто не хотят в это ввязываться. Но мы ищем надежных людей в разных местах.

Как тот человек, говорит Чиж, и библиотекарша кивает.

Зачастую никому не известно, куда попадают дети. Как правило, тех, кто помладше, отдают в приемные семьи, а там иногда им меняют имена. Самые маленькие даже не помнят, как зовут родителей. И отправить их стараются подальше от дома. Не случайно.

Чиж думает о Сэди: она в Кембридже, а родители ее в Балтиморе, за сотни миль. Преодолеть такой путь в одиночку для ребенка почти непосильная задача.

А что дальше? – спрашивает Чиж.



Пока ничего, отвечает библиотекарьша, и Чиж почти физически ощущает горечь ее слов. Пока что вернуть их домой не в наших силах – по крайней мере, пока действует ПАКТ. Но кое-кого из детей удалось разыскать, и, думаю, для родителей это облегчение – услышать, что дети их живы-здоровы, узнать, где они. А мы просто стараемся следить, кто пропал, кто нашелся. Все, что можем, делаем.

Мы?

Нас немного, отвечает библиотекарьша осторожно. В разных уголках страны. Мы обмениваемся записками. Она улыбается уголком рта. Это ведь тоже часть нашей работы, информация. Мы ее собираем, храним, помогаем людям искать то, что нужно.

Все это время на языке у Чижа вертится вопрос.

Но почему? – спрашивает он. Это ведь опасно. Вас же тоже накажут, если узнают?

Библиотекарьша сжимает губы.

Конечно, могут и наказать. И меня, и всех, кто разыскивает детей. И того человека, и всех других, кто передает сведения. Ясное дело, опасно. Но...

Она умолкает, потирает виски.

Мой прадед учился в Карлайлской школе<sup>[4]</sup>, говорит она коротко, будто это все объясняет. И хмыкает, увидев непонимающее лицо Чижа: не слышал о такой? Да где тебе знать, вам же в школе об этом не говорят. Мол, непатриотично это, рассказывать об ужасах, что творились в твоей стране. О лагере Манзанар<sup>[5]</sup>, о том, что происходит на границе. Вас, наверное, учат, что почти все плантаторы хорошо обращались с рабами, а Колумб ОТКРЫЛ Америку, так? Потому что рассказывать правду значило бы проповедовать антиамериканские взгляды, а это никуда не годится.

Для Чижа здесь много непонятного, зато он сознает одно, да так отчетливо, что голова идет кругом: он понимает, как многого он не знает.

Простите, мямлит он.

Библиотекарьша вздыхает: откуда тебе знать, раз никто вас не учит, а книг не осталось?

Меж ними пролегает молчание.

Я не хотел вам навредить, говорит наконец Чиж. Честное слово. Я просто... просто ищу маму.

Библиотекарша смягчается.

Маму твою я знала не очень хорошо, отвечает она. Да и давно было дело. Но я ее помню. Человек она обаятельный и поэт хороший.

Но плохая мать, думает Чиж.

И, только услышав ответ, он понимает, что произнес это вслух.

Нельзя так говорить, возражает библиотекарша. Тем более о своей маме.

И вновь она касается его плеча, на этот раз ласково, и слегка пожимает.

Бывают, конечно, и плохие матери, продолжает она. Только не всегда мы знаем, что их заставляет поступать так или иначе. Почти все мы стараемся как можем.

Тон ее настораживает Чижа. Голос у нее напряженный, звенит натянутой струной и вот-вот сорвется.

У вас дети есть? – спрашивает Чиж.

Двое, отвечает она с запинкой. Было двое.

Было. Фраза разорвана пополам: до и после.

Что с ними случилось? – спрашивает Чиж.

Дочка у меня заболела, отвечает она. В Кризис. На больницу денег у нас не нашлось, мало кто мог себе это позволить. А потом, под самый конец Кризиса, у сына кончился инсулин.

Она смотрит не на Чижа, а мимо него, на стену.

Где бы твоя мама ни была, что бы ни делала, не сомневаюсь, она бы обрадовалась, если б узнала, что ты жив-здоров и вырос такой большой. Что ты здесь.

Она щурит глаза. Возвращается к действительности, к нему.

Но вот что, Чиж, продолжает она, если хочешь попасть в Нью-Йорк, ищи дорогу сам. Я передаю информацию, а не людей.

Чиж кивает.

И я тебя не отпущу, пока не дашь слово никому не говорить. Прошу тебя, Чиж, ты как никто другой должен понимать. Сделай вид, что ничего – совсем ничего – об этом не знаешь, ведь на кону жизни людей.

Да чтобы я... Чиж проглатывает конец фразы. Да я бы ни за что! И, как бы в доказательство своей искренности, добавляет: мою лучшую подругу Сэди тоже забрали из семьи.

Долгое потрясенное молчание.

Ты знал Сэди? – спрашивает библиотекарьша.

Тут Чижа осеняет: ну конечно! Она ведь каждый день после школы забегала в библиотеку, хоть на минутку.

Мы с ней разговаривали, продолжает библиотекарьша. Если ребенок вот так приходит один, его трудно не заметить.

В душе у Чижа пробуждается надежда, захлестывает горячей волной.

Так вот куда она делась? – восклицает Чиж. Вы ее отправили домой? К маме с папой?

Но библиотекарьша качает головой: мне не удалось узнать, где ее родители. Никто не смог ничего выяснить, известно только, что по прежнему адресу они больше не живут. А потом и Сэди взяла да пропала.

Она молча смотрит на Чижа, и взгляд ее лучится теплом, добротой. И как же это хорошо, невероятно хорошо, говорить о Сэди с человеком, который был с ней знаком, делиться воспоминаниями.

Вот что, говорит библиотекарьша, в Нью-Йорк я отправить тебя не могу. И не знаю, кто бы мог. Но кое-что могу сделать.

Она ведет его обратно в хранилище и протягивает толстую красно-коричневую папку. А там бледно-голубые столбцы расписаний, целые страницы.

Здесь расписания и маршруты поездов, объясняет она. А вот в этой папке – автобусные. На вокзале можно пойти в кассу, но есть еще и билетные автоматы, на случай, если тебе не нужны лишние расспросы.

Спасибо, только и может сказать Чиж.

Она улыбается: говорю же, это моя работа. Информация. Я передаю знания, помогаю людям искать то, что нужно.

Она протягивает Чижу раскрытую папку.

А как этими знаниями распорядиться, добавляет она, каждый решает сам.



В понедельник утром Чиж выходит из комнаты, а папа уже ждет с портфелем в руке. Учебники Чиж спрятал под одеяло, вместо них в школьном рюкзаке у него сменная одежда, зубная щетка и все его сбережения. Вся мелочь, что он подбирал на тротуарах, все обеденные деньги, сэкономленные в дни, когда он не ходил в буфет, а сидел в школьном дворе и думал. Если верить расписаниям в библиотеке, как раз должно хватить на билет до Манхэттена. Нужный автобус отходит в десять, времени хоть отбавляй.

Лифт наконец починили, но вниз он едет медленно, со скрипом, весь ходуном так и ходит. В зеркальных стенах тянется вдаль бесконечный коридор с отражениями Чижа и папы.

Чиж ждет, когда лифт минует шестой этаж.

И объявляет: я забыл обед.

Ной, сколько раз тебе повторять!

Лифт, скрипнув, останавливается, за дверями – вестибюль общежития. В окна бьет солнечный свет, такой яркий, что Чиж чувствует себя букашкой, распластанной на стекле под микроскопом. Папа, конечно, по лицу поймет, что он соврал. Но папа лишь со вздохом смотрит на часы: в девять у нас совещание, некогда тебя дожидаться. Возвращайся наверх, возьми обед – и бегом в школу. Не задерживайся, понял?

Чиж, кивнув, снова вызывает лифт, а папа разворачивается к выходу. Но когда Чиж видит его спину – такую родную, в стареньком коричневом пальто, – у него перехватывает горло.

Папа, окликает Чиж; папа оборачивается и чуть слышно ахает, когда Чиж бросается к нему на шею.

Что это на тебя нашло? – удивляется он. Я думал, ты уже большой.

Но это он не всерьез – он крепко обнимает Чижа, а Чиж зарывается лицом в папино шерстяное пальто, пропыленное, уютное. Его вдруг тянет рассказать папе все, позвать его: поехали со мной, вместе ее найдем. Но папа его ни за что бы не отпустил и уж тем более не поехал бы с ним. Если уж ехать, то придется одному.

Пока, папа, говорит Чиж, и папа, махнув ему на прощанье, уходит.

Вернувшись на последний этаж, Чиж вбегает в квартиру, подлетает к окну. Юркнув за занавеску, смотрит вниз, на небольшой травянистый дворик. Вот он, папа, – темное пятнышко, уже у ворот.

Он столько раз смотрел, как папа пересекает двор – в метель, когда в школе занятия отменяли, а библиотека работала. Стоял у окна и ждал, когда внизу покажется папа, пройдет тропинкой через двор и исчезнет из виду. Зимой папины следы на снегу казались ему чудом. Ну и пусть вблизи это просто ямки с неровными краями, но отсюда, из окна десятого этажа, они кажутся изящными, опрятными. Прекрасными, устремленными к цели. словно тонкая строчка на белоснежном покрывале; камушки вдоль дороги к дому, указатели пути. Все-таки утешение знать, что можно спуститься во двор, пройти по папиным следам и найти его, где бы он ни был.

Чиж смотрит на сиротливую фигуру в коричневом пальто: вот папа укутался поплотнее, защищаясь от студеного осеннего ветра, и вышел из ворот. Снег еще не выпал, следов не остается, и спустя миг папа исчезает из виду, и ничто не напоминает о том, что он здесь проходил. Чижу невыносимо грустно при мысли, что можно пройти бесследно, исчезнуть, ничего после себя не оставив. И никто о тебе не вспомнит. Броситься бы вниз по лестнице, повторить папин невидимый путь, след в след. Чиж прижимает пальцы к холодному стеклу, как будто если надавить посильнее, то оно отодвинется и очутишься в воздухе, над двором.

Когда мама с ним прощалась, он даже головы не поднял.

Чижик, сказала она, мне нужно идти.

Так? Или она сказала: мне пора? Он уже забыл. Он занят был игрой, что-то строил из «лего». Уже и не помнит, что строил.

Чиж, снова окликнула мама. И встала у него за спиной, а Чиж ошетинился от злости. Дело у него не ладилось – постройка без конца кренилась и падала, рушилась на кирпичики. Он взял две детали и прижал друг к другу покрепче, с такой силой, что на кончиках пальцев отпечатались два ряда кругляшков.

Чижик, сказала мама. Я... я ухожу.

Она ждала его, ждала, что он подбежит и поцелует ее, как обычно, а он приладил еще кирпичик, и опять все с грохотом полетело на пол, а он про себя винил маму – зачем оторвала его от дела?

Сейчас, сказал он. Сгреб обломки, собрал все снова, а когда наконец оглянулся, ее уже не было.

Скоро девять, время уходить. Когда папа вернется к ужину, то застанет квартиру пустой, а Чиж будет уже в Нью-Йорке. Все выходные он думал, как объяснить папе, куда он собрался. О маме упоминать опасно, поэтому записку он пишет краткую, туманную: *Папа, вернись через несколько дней. Не волнуйся.* Рядом на столе он оставляет письмо с кошками, вложенное в конверт. Записку из ниши он рвет пополам, адрес прячет в карман, а нижнюю половину, где написано «Нью-Йорк», кладет подле письма и записки. Напоследок бросает на стол коробок спичек. Он надеется, что папа все поймет – куда он отправился и зачем, а главное, что теперь делать.

За всю жизнь он ни разу не покидал Кембриджа; ночь напролет перебирал он в уме опасности, что поджидают его в пути. Вдруг он сядет не в тот поезд, свернет не на ту улицу, прыгнет не в тот автобус и очутится неизвестно где? Или в кассе спросят: где твои родители? Или задержат его полицейские, затолкают на заднее сиденье патрульной машины и повезут домой, к папе, – или, хуже того, куда-нибудь еще. И всюду будут чужие люди, целая толпа, и все на него будут смотреть. Оценивать, определять, кто он – хищник или жертва.

Однако ничего такого не происходит. Надвинув пониже бейсболку, нацепив темные очки, Чиж едет на метро до автовокзала. Полицейские на платформе обсуждают футбол, до Чижа им и дела нет. Вместо кассы он идет к билетному автомату: положил деньги, получил билет, и никаких вопросов. На платформе по сторонам никто не смотрит, все глядят под ноги, отводят глаза, и Чиж думает: может быть, они тоже прячутся? Как будто все сговорились, молча условились друг друга не замечать, не лезть в чужие дела. Ни один из страхов не сбывается, и Чижа переполняет непоколебимая, глупая уверенность. Как будто сама вселенная дает знак, что он на верном пути, что все он делает правильно. Когда подходит нужный автобус, Чиж занимает место у окна, подальше от водителя. Свершилось! Он на пути к цели.

Когда мама ушла, в первые месяцы он старался не спать по ночам – думал, что если не засыпать как можно дольше, то она вернется. Он верил, неизвестно почему, что мама приходит по ночам, а под утро исчезает. И всякий раз засыпал, пропускал ее приход. Может быть, она его испытывает – вправду ли он так сильно по ней скучает? Продержится ли он без сна? Он представлял, как мама каждую ночь

склоняется над его постелью и качает головой: опять спит! Опять провалил испытание!

Тогда ему казалось, что так и надо, и кажется до сих пор. Во всех маминых сказках героя ждали испытания: *спустись в колодец и достань огниво. Ложись под водопад, и пусть он раздробит тебя на мелкие кусочки.* Он верил, что если не уснет, то увидит маму. Ну и пусть испытание такое загадочное, тесты в школе не менее загадочны: обведите в кружок существительные, а глаголы подчеркните; сложите два случайных числа и получите третье. Логика испытаний всегда непостижима, на то они и испытания, другими они и быть не могут. *Выбери до рассвета из золы зернышки чечевицы и гороха. Добудь со дна морского жемчужину, что сияет в темноте.*

Чтобы не уснуть, Чиж щипал себя за руку, до синяков. Каждую ночь зажимал между пальцами складку кожи, покуда в глазах не зарябит от боли. Утром мамы все не было, а на руке у Чижа темнел лиловый полумесяц, и папа спрашивал: тебя в школе обижают? Его на самом деле обижали, но по-другому. Нет, все хорошо, папа, заверял Чиж, и весь день у него слипались глаза, а ночью он опять боролся со сном и все равно засыпал. Тогда-то он и перестал верить в сказки.

И вот, спустя столько времени, он едет ее разыскивать. Как герой в тех старых маминых сказках. Он найдет дорогу туда, где его терпеливо ждет мама, и как только она его увидит, все чары, что удерживали ее вдали от дома, рассеются. В сказках это случается в один миг, словно на кнопку нажали: и тут она его узнала – и сразу же стала прежней. Точно так же и с мамой будет, непременно. Увидит его и никуда уже не денется, и станут они все втроем жить-поживать, добра наживать.

Автобус, набирая скорость, несется по автостраде, ровно гудит мотор. Чем дальше от города, тем легче дышится Чижу. Он засыпает, а просыпается оттого, что автобус, переезжая на соседнюю полосу, чуть заваливается влево, и Чиж тычется лбом в стекло. На обочине – синий внедорожник, позади него патрульная машина с мигающими фарами, из нее выходит полицейский в темно-синей форме. От полицейских держись подальше, звучит в голове папин голос, и Чиж надвигает бейсболку пониже, на самые глаза. Удивительное дело, ему ни капельки не страшно. Все, что за окном, кажется далеким-далеким – оно где-то там, за стеклом, и сердце бьется медленно и мерно, в

едином ритме с шуршанием колес. Мимо проносятся деревья и заросшие поля, сливаясь в мутную полосу.

Из автобуса Чиж выходит в китайском квартале, под мелким дождиком. Здесь совсем другой мир, никогда он не бывал в столь шумном и людном месте. Несмотря на толкотню и галдеж, Чижу почему-то здесь уютно, и спустя время он понимает почему: оказывается, все здесь похоже на маму и на него чуть-чуть. Раз в кои-то веки никто на него не таращится. Будь здесь папа, из толпы выделялся бы он, а не Чиж, – при этой мысли Чижа разбирает смех. Впервые в жизни он стал неприметным, и это придает ему силы.

Перед отъездом он изучал карту, которую молча протянула ему библиотекарша. Сетка координат (стал бы объяснять папа, спокойно и терпеливо), сосчитай, сколько клеточек. Чиж считает: от Бауэри на Третью авеню; семьдесят восемь кварталов на север, потом два на запад. Чуть больше пяти миль, почти все время прямо.

Он начинает путь.

И с первых шагов многое замечает.

Видно, что на всех вывесках в китайском квартале что-то замазано, заклеено лентой, а некоторые таблички и вовсе сняты, остались лишь дырки от гвоздей да очертания под серебристым скотчем. На табличках с названиями улиц тоже что-то закрашено, под опрятными белыми буквами – Малбери-стрит, Канал-стрит – жирные черные мазки, словно тени в полдень или темные круги под глазами. На одной из табличек краска облупилась, и под ней проступили знаки – теперь Чиж все понял. Он вспомнил, как папа выводил похожие знаки пальцем в пыли: все вывески были когда-то на двух языках. Чуть ли не везде кто-то пытался вымарать китайский.

Замечает он и кое-что другое.

Оказывается, все прохожие говорят здесь по-английски или молча переглядываются. Только если кто-то заходит в магазин, бывает, изнутри доносится другой язык – кантонский, наверное. Папа бы угадал, какой это язык; может быть, даже понял, о чем говорят. Все здесь напряженные, напуганные, дико озираются, смотрят через плечо. Готовы броситься бежать. Чиж замечает, сколько здесь американских флагов – чуть ли не в каждой витрине, на лацкане почти у каждого встречного. Во всех магазинах те же плакаты, что и дома: «Боже, храни



всех преданных американцев». Здесь не встретишь заведений без этого лозунга. Попадаются и другие таблички – яркие, красно-бело-синие: «Владельцы – американцы», «На 100 % американский». Лишь когда Чиж покидает китайский квартал и вокруг уже не желтые лица, а белые и черные, флаги попадают все реже – как видно, у людей здесь больше уверенности, что в их патриотизме не усомнятся.

Чиж идет дальше.

На пути попадают витрины, забранные железными решетками, с надписями: «Новые и б/у», «Покупаем, продаем», «Аренда». Бетонные тротуары, бетонные бордюры. Непонятные имена: «Макс Сунь. Столы, стулья». На тротуаре валяются сломанные поддоны, словно чьи-то кости, побеленные пустынным солнцем. Ни деревца, ни травинки, одни фонарные столбы, серые, как тротуары и асфальт, как копоть на стенах домов. Все здесь в сером камуфляже. Прохожие тащат тяжелые пакеты, катят тележки с покупками, прячут глаза. Никто нигде не задерживается. Кое-где зебры на переходах нарисованы от руки – криво, неумело, а где-то переходов и вовсе нет. Больше десяти лет прошло после Кризиса, но далеко не всё успели восстановить.

От квартала к кварталу картина понемногу меняется. Сквозь щели в асфальте пробивается чахлая трава. Сколько он уже идет – час? Он потерял счет времени. Хватились ли его в школе, связались ли с папой? Дальше, дальше, дальше. Дождик стихает. Супермаркеты с огромными яркими рекламными щитами: пицца, кружевная листовая капуста, ломтики манго – посмотришь, и слюнки текут. В животе урчит от голода, но Чиж не останавливается, все деньги он и так истратил. Магазины с горами фруктов и ведрами свежих роз, в витринах потягиваются и зевают ленивые кошки; мужские парикмахерские, где из приоткрытых дверей льется басистый смех вперемешку с ароматом лосьона. На окнах все те же плакаты: «Американец – и этим горжусь», «Будьте бдительны». Здесь уже попадают деревья – худосочные, лишь чуть выше человеческого роста, но все же деревья. Где-то в церкви звонит колокол. Который час – три, четыре? Улица полнится звуками, и не различишь, где колокольный звон, где эхо. Чиж должен сейчас возвращаться из школы, а он здесь, и с каждым кварталом все отчаянней колотится сердце. Почти у цели.

Чиж ускоряет шаг, и город вокруг тоже меняется быстрее, словно прокручиваешь видео вперед, в будущее, – или назад, в прошлое. Все здесь как раньше, в золотые докризисные годы, о которых Чиж знает лишь понаслышке. Такси теперь попадают чаще, и они красивее, новее. Чистенькие, будто прямоком из автомойки. Даже фонарные столбы выше, стройнее, точно им есть куда тянуться. Чиж проходит мимо зданий с лепниной над каждым окном – кто-то не поленился украсить, выложить на красном фоне бежевый узор. Магазины с большими витринами, и никто не боится, что их разобьют. Рестораны с летними верандами. Люди выгуливают маленьких собачек; вокруг деревьев – аккуратные чугунные заборчики не выше колена, для красоты, а не для защиты.

Когда туман рассеивается, Чиж различает над головой островки зелени: сады на крышах, вечнозеленые деревца в горшках указывают в небо. Заведения больше не пытаются спрятаться. «Да, у нас открыто!» Вычурные, заковыристые, причудливые названия – все стремятся выделиться, привлечь внимание, засесть в памяти: «Наглый кальмар», «Оазис звука», «Куролество». Вот смеялся бы папа! В каждом окне – знакомая звездно-полосатая табличка. Реклама с намеком на роскошь, а не на дешевизну. Улица за улицей, словно ступеньки, ведущие вверх: Пятидесятая, Пятьдесят пятая, Пятьдесят шестая. Прохожие в костюмах, в галстуках. В кожаных туфлях с кисточками, на тонкой подошве, не предназначенных для бега. Когда-то и папа в таких ходил. Банки, не счесть банков – три, четыре, пять в ряд, иногда два отделения одного и того же банка через дорогу. Неужели можно быть настолько богатым, чтоб всю улицу занять?

Универмаг длиной с целый квартал, темный гранит отполирован до зеркального блеска. Весь его облик будто бы говорит: у нас даже камни сияют, как звезды. В витринах манекены без лиц, в цветастых шелковых шарфах. В окнах высотных домов отражаются кусочки неба, и каждое окно точно самоцвет в каменной оправе. Может быть, в одном из этих домов живет мама, смотрит на него сверху, ждет. Скоро он все узнает. У обочины стоят грузовики-рефрижераторы, набитые продуктами, выдыхают морозные облачка. Тут и там кофейни, так и манят зайти. Реклама клиник, где выпрямляют и отбеливают зубы; в дверях гостиниц замерли посыльные в костюмах и шляпах. Здесь сумка не груз, а аксессуар. Химчистка за химчисткой: квартал шелков,

тонких, не для ручной стирки. Возле каждой двери несут вахту дюжие дружинники.

Семьдесят пятая улица. Семьдесят шестая. Старинные здания, и отпечаток времени им к лицу – не старит, а облагораживает. Иноземные слова здесь гордо выставлены напоказ: салюмерия, винерия, макаронс. Безопасная, притягательная чужестранность. Вывески «гурмэ», «люкс», «винтаж». Улица широкая, обсаженная деревьями – не верится, что это та же улочка, по которой он начинал свой путь, с замазанными вывесками и испуганными прохожими; должно быть, он перенесся в другой мир. Радостно думать, что мама здесь, среди такой красоты. Мимо пробегают, отдуваясь, блондинки в спортивных костюмах, останавливаются на переходах, ждут зеленого света, и хвостики у них на затылке подрагивают. Няни катают в дорогих колясках нарядных малышей. Магазины, где продают только рамки для фотографий, рестораны, где в меню одни салаты, витрины с розовыми рубашками, на которых вышиты крохотные улыбающиеся киты. Здания такой высоты, что не разглядишь, где они кончаются, даже если задрать голову так, что вот-вот опрокинешься на спину. Тут может случиться все что угодно, тут можно ждать любых чудес. Он будто в сказке или в волшебной стране.

Я в нужном месте, думает Чиж. Она здесь.

Чиж воодушевлен всем, что видит вокруг, его пьянит дух волшебства, вот он и не удивляется, заметив совсем рядом, через дорогу, маму, – в этой сказочной стране так и должно быть. Мама ведет на поводке коричневую собачку. Сердце у Чижа подпрыгивает, рассыпаясь искрами, он готов закричать от радости.

Тут мама смотрит на собачку, уткнувшую нос в подстриженную клумбу, – и оказывается, никакая это не мама. Незнакомка. И вовсе на маму она не похожа, сходство лишь самое поверхностное – китаянка с черными волосами, кое-как собранными в узел. Теперь Чижу лучше видно ее лицо – ничего общего с мамой. Мама никогда бы не завела такую собачонку – янтарный комочек пуха, плюшевую игрушку с черными глазами-пуговками и бархатным курносым носом. Конечно, это не она, одергивает себя Чиж, откуда ей тут взяться? И все же что-то в ее повадках – быстрый взгляд, живость движений – напоминает маму.

Заметив пристальный взгляд Чижа, стоящего через дорогу, незнакомка улыбается. Может быть, и он ей кого-то напоминает, может быть, она тоже его спутала с кем-то другим, близким и любимым, и любовь эта льется теперь на него, как щедрый дар. И вот она смотрит на него, улыбается и, наверное, с теплотой думает о нем, о мальчике, напомнившем ей близкого, и не замечает опасности – ее застает врасплох удар кулаком в лицо.

Длится это секунды, но кажется вечностью. Высокий белый человек, будто из ниоткуда. Женщина падает мешком. Чиж каменеет, крик застревает в горле. Преступник нависает над ней; тошнотворные глухие удары, как по мясной туше: бум! бум! бум! – в живот, в грудь и под конец, когда она, свернувшись криветкой, закрывает лицо, пытаюсь хоть как-то защититься, по спине. Крики ее пронзают воздух, точно осколки стекла. Преступник действует молча – можно подумать, он занят делом, скучным, но необходимым.

На помощь никто не торопится. Мимо проходит пожилая пара и круто разворачивается, словно вспомнив о срочном деле. Спешит прочь прохожий, глядя в телефон; мчатся мимо машины, и хоть бы одна остановилась. Все же видят, удивляется Чиж, – как можно такое не заметить? Крохотная собачка все лает и лает. Из соседнего подъезда выглядывает консьерж, и Чиж чуть не плачет от облегчения. Помогите ей, безмолвно молит он. Помогите! Пожалуйста! Консьерж захлопывает дверь. Чиж смутно различает его за толстым стеклом – размытый, зловещий, он смотрит, как женщина, лежа щекой на асфальте, вздрагивает при каждом ударе, – смотрит, как смотрел бы телевизор. Ждет, когда все закончится и можно будет открыть дверь.

Женщина уже затихла, и нападавший глядит на нее сверху – брезгливо? С чувством выполненного долга? Не поймешь. Собачка заходится в лае от бессильной ярости, сучит лапками по тротуару. Преступник обрушивает на нее свой башмак, давит, как таракана или бумажный стаканчик.

Чиж кричит; нападавший, обернувшись, ловит его взгляд, и Чиж пускается бегом.

Со всех ног, не разбирая дороги. Не смея оглянуться. Школьный рюкзак колотит по спине, мокрая от пота рубашка сначала обжигает, потом холодит. Убили? – гадает про себя Чиж. А собачку? И что теперь? Чиж затылком чувствует взгляд преступника, и его едва не

выворачивает наизнанку. Нырнув в проулок, он прячется за мусорный бак и переводит дух; горло саднит.

Он совсем забыл: в стране чудес тоже есть зло. Чудовища и проклятия, скрытые опасности. Демоны, драконы, крысы величиной с быка. Существа, способные убить тебя взглядом. Чиж вспоминает, как его толкнули в общественном саду, как сильные папины руки подняли его с земли. Но папа далеко, в библиотеке, куда не проникает ни звука из внешнего мира. Он знать не знает, где Чиж, и Чижу от этого одиноко как никогда в жизни.

Чиж сидит за баком долго-долго, пытаясь отдышаться, унять дрожь, но руки все дрожат и дрожат. Справившись наконец с собой, он встает и на ватных ногах выходит из-за угла. Оказалось, он сбился с курса, отбежал на несколько кварталов назад. Вернувшись на Парк-авеню, он шагает торопливо, с опаской, обшаривая взглядом улицы. Теперь он чувствует себя уязвимым, видит, что на него обращают внимание. Никогда он не признавал этого отчетливей. Сюда он шел будто в шапке-невидимке, но чары рассеялись – или он сам их выдумал. Он на виду и чувствует, до чего он мал, как легко его растерзать.

Ближе к вечеру он находит наконец нужный дом – внушительное кирпичное здание с огромной зеленой дверью и цветами на окнах. Дом не многоквартирный, а частный – не ожидал он здесь, в Нью-Йорке, встретить такой. Дворец Герцогини. Чиж смотрит на него с опаской, не решаясь перейти улицу. Не угадаешь, что встретится тебе в сказочном замке: сокровища, колдунья, людоед, готовый тебя проглотить. Но сюда его послала мама, сама написала адрес. Значит, надо доверять, надо сделать прыжок в неизвестность.

Чиж взбирается по мраморным ступеням, трижды стучит медным молоточком в зеленую дверь.

Проходит вечность, а на самом деле минута-другая, и дверь открывает пожилой белый дворецкий. Крепко сбитый, в форме – темно-синей, с блестящими медными пуговицами, как у капитана корабля. Он смотрит на Чижа сурово, и Чиж, помявшись, произносит: мне нужно повидать Герцогиню... И, словно по волшебству, капитан, кивнув, пропускает его.

Вестибюль с солнечно-желтыми стенами, пылающий камин, хоть на дворе всего лишь октябрь. Пол выложен бежевой плиткой с янтарными ромбами. Посреди вестибюля низкий столик на гнутых ножках, с мраморной столешницей, предназначенный для одной лишь вазы с цветами, — никогда в жизни Чиж не видал такой огромной. Всюду лампы, каждая в золотом ореоле.

Мне нужно повидать Герцогиню, повторяет Чиж, пытаюсь не выдать робость, и капитан, прищурившись, смотрит на него сверху вниз.

Пойду доложу. Как вас представить?

И оттого что он голоден, устал и хочет пить, оттого что он прошагал несколько миль на пустой желудок, оттого что голова легкая-легкая, вот-вот сорвется с плеч и взмоет ввысь, как воздушный шарик, и все будто понарошку, и этот дом, и город, и Герцогиня, с которой он пришел повидаться, — оттого Чиж и отвечает, как положено в сказке: Чиж Гарднер. Сын Маргарет.

Будьте любезны, подождите здесь.

Чиж топчется возле одного из стульев у камина — обитый песочным бархатом, он смахивает на трон. Чиж проводит пальцами вдоль бороздок на подлокотниках, и всплывают в памяти слова, которым учил его папа: инкрустация, алебастр, филигрань. Он откашливается. На каминной полке небольшие золотые часы с женской фигуркой, застывшей в поклоне. Почти пять. Скоро придет папа и не застанет его дома.

А вот и капитан. Прошу вас, следуйте за мной.

И он устремляется в арку, а оттуда — дальше по коридору, и Чиж идет следом, опасливо, заглядывая во все углы, не притаились ли там чудовища. Но кругом только роскошь, как во дворце. Шелковая ширма с вышитыми кипарисами, журавлями и пагодой вдалеке. Диван, обитый желтым шелком, с подушками, похожими на конфеты; просторная овальная столовая с паркетом, от одного взгляда на который кружится голова. Все здесь словно тронута позолотой: ручки урн и ваз на каминных полках, витые шнуры портьер, столы и стулья на львиных ножках. И вот они у подножия широкой винтовой лестницы, застеленной пушистым бежевым ковром, уходящей вверх и вверх. Чиж отродясь не видал такой лестницы. На цепи, обвитой бархатом, висит изящная люстра. Чиж считает: первый этаж, второй,

третий, четвертый, а наверху, высоко-высоко, – круглое слуховое окно, хрустальный кусочек неба.

Прошу сюда, направляет капитан. И тут Чиж видит: прямо возле лестницы – маленький лифт, обшитый деревом, с паркетным полом. Надо же, частный дом с лифтом! – изумляется он про себя. По знаку капитана Чиж заходит в кабину, похожую на отполированную ореховую скорлупу.

Она вас ждет наверху, говорит капитан. И закрывает медную решетку, и Чиж оказывается в кабине, как в клетке.

Лифт, вздрогнув, устремляется вверх, а у Чижа голова идет кругом от мыслей. Дребезжат медные прутья решетки, будто кто-то ломится в лифт или пытается выбраться. Неизвестно, чего ожидать. Какая она, Герцогиня, добрая или бессердечная? Чиж вспоминает жестоких королей из сказок – зло под маской обаяния. Доверься, говорит он себе, в сказках нужно доверять тем, кто повстречается на пути. Здесь даже лифт и тот украшен, как во дворце. Этюды в тонких золотых рамках – старинные здания, крылатые девы. Маленький белый телефон. На стене напротив решетки кривое зеркало, и в нем его искаженное лицо – не поймешь, то ли великан на него смотрит, то ли карлик.

Наконец лифт останавливается. Гостиная величиной с квартиру, где живут Чиж с папой. Еще один столик, еще одна ваза с цветами. В полированной столешнице его размытое отражение. Под ногами шитый золотом ковер. Сразу видно, жилище аристократов.

И вот открываются стеклянные двери в другом конце комнаты и всплывает она, Герцогиня. Совсем молодая, он даже не ожидал. Высокая статная блондинка с короткой стрижкой, в жемчугах. Вместо вечернего платья – синий брючный костюм свободного кроя, но, так или иначе, ясно, что перед ним влиятельная особа. С минуту Чиж, онемев от изумления, смотрит на нее снизу вверх. Женщина не спешит нарушить молчание, лишь глядит на него чуть вопросительно.

Вы и есть Герцогиня? – спрашивает наконец Чиж, но ответ уже знает.

А ты кто такой? – говорит она. И приподнимает бровь. Видно, не доверяет ему.

Чиж, отвечает он дрожащим голосом. Сын Маргарет.

На секунду он пугается – вдруг она спросит: а кто это? Но нет, она спрашивает, довольно холодно: зачем пожаловал?

Мама, отвечает Чиж – ответ очевиден до нелепости. Я ищу маму.

С чего ты решил, что она здесь? – спрашивает Герцогиня, слегка повысив тон, будто от любопытства.

Потому что... начинает Чиж и осекается. Нащупывает внутри себя верные слова. Потому что хочу знать, отчего она меня бросила. Потому что она мне нужна. Потому что хочу тоже быть ей нужным.

Она мне письмо прислала, объясняет Чиж.

Герцогиня поджимает губы – не поймешь, смущена она, довольна или раздосадована. Сейчас она словно учительница – взвешивает в уме его ответ, решает, похвалы он заслуживает или наказания.

Ясно. Значит, мама... вызвала тебя сюда?

Чиж колеблется. Может, соврать? Вдруг она его испытывает? Внезапно ему становится трудно дышать.

Я не совсем понял, признается он. Но адрес она мне оставила. Давно уже. Я думал... думал, вдруг вы знаете, где она.

Из кармана он выуживает листок с адресом – точнее, то, что от него осталось. Замусоленный, синяя краска с джинсов полиняла на краешки. Но вот он, тот самый адрес, где они сейчас находятся, написан маминой рукой.

Ясно, повторяет Герцогиня. И ты сюда добирался один? А отец твой где?

Откуда ей известно про папу? Чиж вздрагивает при этой мысли.

Папа не знает, что я здесь, отвечает Чиж, и едва слова срываются с губ, как он сознает с новой силой, насколько страшна эта правда. Папа не знает, где он, папа ему не поможет, не спасет.

Герцогиня наклоняется к нему близко-близко, впивается взглядом, острым, словно игла. Вблизи он видит, что у нее ни одного седого волоса, первые морщинки едва наметились. Она, наверное, мамина ровесница.

Так кто-нибудь знает, что ты здесь? – спрашивает она требовательно. В голосе звенят грозные, стальные нотки.

В горле у Чижа застревает ком. Никто, отвечает он. Я ему не сказал и никому не говорил, приехал один.

«Мне можно доверять», вот что он хочет сказать. От ужаса его бросает в жар: проделать такой путь лишь ради того, чтобы тебя



вышвырнули? Или эта строгая Герцогиня решит его заточить в своем золотом чертоге на веки вечные?

Интересно, отвечает Герцогиня. И отворачивается, а Чижу кажется, будто погасили яркий светильник. Жди здесь, говорит она и, ни слова не прибавив, исчезает, оставив Чижа одного.

Чиж кружит по комнате, не в силах усидеть на месте. Сквозь бледно-золотой тюль на окнах просвечивают огни машин внизу. В углу стоит рояль. На журнальном столике фотография в серебряной рамке: мужчина и девушка – Герцогиня, совсем юная, почти девочка, с длинными волосами, а мужчина намного старше, в отцы ей годится. Старый Герцог, решает Чиж, хоть человек на фото одет не погерцогски, в рубашку поло и штаны защитного цвета, и стоят они на палубе яхты, а за спиной у них голубое небо встречается с морем, еще голубее. Лицо у мужчины суровое, почти гневное. Интересно, где сейчас старый Герцог? И откуда Герцогиня знает маму? И чем занималась мама все эти годы, вдали от него? Узнает ли его при встрече? Скучает ли она, вспоминает ли о нем хоть изредка? Жалеет ли о том, что сделала?

Уже темнеет, небо за окном серо-стальное. Как ни странно, голод куда-то отступил. Чиж представляет, как папа возвращается домой, в тесную квартирку в блочном здании, а там пусто и темно. Ищет его, зовет. Ничего, папа, думает Чиж, скоро вернусь. Он чувствует странный прилив сил, словно электрический ток струится по жилам. Он почти у цели. Он так долго ждал.

Из глубины дома доносится бой часов – звучный, бархатистый. Пять. И, точно по сигналу, возвращается Герцогиня.

Если ты и вправду тот, за кого себя выдаешь, начинает она, докажи. Какого цвета твой велосипед?

Что?

Так и знай, добавляет она, если ты не тот, за кого себя выдаешь, – позвоню в полицию и глазом не моргну.

Я... Чиж озадаченно молчит. Папа запретил ему ездить на велосипеде с тех пор, как он упал и соседка вызвала полицию.

Нет у меня велосипеда, со вздохом признается Чиж. Лицо Герцогини по-прежнему спокойно, холодно, непроницаемо.

С каким молоком ты ешь хлопья на завтрак?

И снова Чиж теряется, молчит. Он в нерешительности, но единственный выход – сказать правду, как бы странно она ни звучала.

Я их ем сухими.

И опять Герцогиня молчит. За каким столиком ты обедаешь в школьном буфете? – спрашивает она, и Чиж видит себя будто с высоты, одинокой фигуркой на крыльце, с коричневым бумажным пакетом в руках.

Я не обедаю в школьном буфете, отвечает Чиж. Я обедаю на улице, один.

Герцогиня молчит, но улыбается, и это знак: испытание он выдержал.

Значит, хочешь повидать маму, говорит она.

Это не вопрос.

Ну хорошо, пойдем со мной.

В коридоре она касается кнопки на стене, и стена раздвигается. Волшебство? Нет, хитро замаскированный лифт. Тот же самый, что вез его наверх. Герцогиня жмет на кнопку с буквой П, «Подвал», и та вспыхивает алым. Когда двери открываются снова, они в полутемной пещере – подземный гараж, а в нем поджидает блестящий черный седан с включенным мотором. Подле машины стоит навытяжку усач в костюме. Лакей, думает Чиж, забираясь на заднее сиденье.

И они трогаются.

Выскользнув по наклонному выезду из гаража, машина вливается в поток – плавно, непринужденно, величаво. Чиж, сидя в салоне, ничего не слышит. Ни разноголосицы толпы, что ползет вдоль улицы гигантской змеей, то густея, то редая в ритме светофоров. Ни рычания машин, что окружают их волчьей стаей со всех сторон. Ни гудков, этих воплей бессильной ярости, которые должны бы оглушать, резать слух. Звуков просто-напросто нет, и мир проносится за тонированными стеклами кадрами немого кино, все краски приглушены. Они будто не едут, а плывут по воздуху.

Пристегнись, пожалуйста, говорит с соседнего кресла Герцогиня. Еще не хватало, проделав такой путь, разбиться в лепешку.

Чиж открывает рот, но Герцогиня взглядом заставляет его молчать.

Я здесь не затем, чтобы на вопросы отвечать. Это не мое дело, а твоей мамы.

И в молчании они мчатся вдоль изгибов реки, ныряют в длинный туннель и выезжают навстречу сумеркам и бледной луне. Время движется рывками, вместе с потоком машин – то Чиж начинает дремать, а когда просыпается, они все там же; то он не успевает и глазом моргнуть, а они перенеслись на огромное расстояние, в совершенно новое место, и вот опять пробка, и они ползут, и наконец – он не знает, сколько прошло времени, но уже совсем стемнело, улицы с рядами особняков тихие и почти пустые, – наконец автомобиль останавливается у обочины.

Слушай внимательно, говорит Герцогиня с нажимом, как будто обращается к нему в последний раз и настоящее испытание только предстоит. Делай все как я скажу, велит она. Иначе за последствия не ручаюсь.

Чиж, ошалелый, сам не свой от предвкушения и усталости, ничего странного в этом не видит. На самом деле он ждал чего-то подобного: в сказках всегда нужно следовать непостижимым правилам. *Золотой меч не бери, а бери старый, ржавый. Даже если будешь умирать от жажды, вина не пей. Пусть тебя щиплют и бьют, пусть хоть голову рубят, а ты молчи.* Когда машина уносится прочь и Чиж остается на тротуаре один, он делает все в точности как велела Герцогиня. Проходит два квартала вдоль соседней улицы, еще три квартала вперед, переходит через дорогу, и вот он на том самом месте, о котором говорила Герцогиня, перед ним большой темно-коричневый особняк с красной дверью и затемненными окнами. *На вид он заброшенный, но не верь глазам.* Как велено, Чиж проходит мимо широкого парадного крыльца и сворачивает за угол дома. *Заходи в калитку, но смотри на глаза никому не попадайся.* Пока он нащупывает задвижку, мимо проносятся две машины; калитка занозистая, царапает ему пальцы, и вот она, задвижка, – гладкая, увесистая, холодит руку. Чиж оглядывается на освещенные окна соседних домов и, убедившись, что никто за ним не следит, отодвигает задвижку, и калитка распаивается.

*Сзади дверь. Подходи к ней тихо, без единого звука.* Чиж осторожными шагами пробирается сквозь дебри сорняков. Когда-то здесь был палисадник, однако он давно в запустении, тут и там молодые деревца, задиристые и нахальные, хлещут Чижа ветками по лицу. Но при лунном свете поблескивает садовая дорожка, посыпанная

гравием, указывает путь, и Чиж продвигается по ней к темной громаде дома. *Введи код: восемь-девять-шесть-ноль-четыре – и дверь откроется.* Чиж пробирается ощупью вдоль стены, будто гладит спящего дракона в поисках уязвимого места; кирпич, кирпич, еще кирпич, и вот она, дверь с кнопками. Ничего не видно, но Чиж, сосчитав кнопки, вводит код. Слабый писк. Чиж поворачивает дверную ручку.

Узкий коридор ведет в непроглядный мрак. *Закрой за собой дверь, и останешься в полной темноте. Если оставишь дверь открытой, не сможешь увидеть маму.*

Чиж плавно закрывает дверь, и внешний мир сужается до клинышка, потом до тонкого волоса, а затем и вовсе исчезает. Щелкает засов, запечатав Чижа во тьму.

И тут слышны быстрые шаги, все ближе и ближе. Вспыхивает фонарик, все кругом заливая золотым светом.

Мама, ошеломленная. Протягивает руки. Заключает его в объятия. Родное тепло, родной запах. Ее лицо, изумленное, потрясенное, счастливое.

Чиж, восклицает она. Ох, Чиж! Нашел-таки меня!

## II



И вот он здесь, Чиж. Ее Чиж.

Выше ростом, чем она ожидала, худее. Лицо почти утратило детскую округлость. Худое, холодноватое лицо, недоверчивое; сурово сжатые губы, твердый подбородок – интересно, в кого бы? Не в Итана и уж точно не в нее.

Чиж, ахает она, как ты вырос!

Еще бы, отвечает он с неожиданным холодком. Сколько зим, сколько лет.

Он мнетя у двери, прячет глаза – сразу видно, не доверяет ей. Пока, думает она, – пока не доверяет. Она выключает фонарик.

Нельзя привлекать внимание, поясняет она.

И знает, о чем он сейчас думает: «Куда я попал?»

Коридор узкий, за спиной слышно, как Чиж, держась за стены, пробирается вглубь незнакомой квартиры. Вот он споткнулся, замер. Подошвы кроссовок шаркают по полу.

Сюда. Подожди. Осторожно, пол неровный. Смотри не споткнись.

Говорит она скороговоркой, вздох, необычно много, но поделаться ничего не может.

Я так и знала, что ты сообразишь, тараторит она, пробираясь с ним по темному коридору. Знала, что у тебя хватит ума.

Откуда? – спрашивает он.

На пороге гостиной она останавливается, ждет его, и рука его мимолетом касается ее талии, будто в поисках опоры, чего-то знакомого. Хочется взять его за руку, прижать к щеке его ладонь, но еще не время.

Мне сказали, отвечает она.

После темного коридора трудно привыкнуть к свету в гостиной. Чиж заслоняется ладонью, точно очутился под слепящим солнцем. Вот он разглядывает комнату, вбирает ее в себя по частям. Облезлые обои как шелушащаяся кожа. Продавленный линялый диван у стены,

складной карточный столик с горой инструментов. Сверху на них устоялась, словно чей-то глаз, голая лампочка. Видно, как взгляд Чижа скользит от забитых фанерой окон к дождевым разводам на потолке, к ней самой – лохматой, в драной футболке и потертых джинсах, притаившейся впотьмах, словно отшельница. Не здесь он ожидал ее увидеть. И представлял ее совсем другой.

Ты, наверное, устал, говорит она. Комната для тебя уже готова.

Она ведет его вверх по лестнице, оранжево-красная ковровая дорожка приглушает звук их шагов. Тут и там на обоях темнеют квадраты – здесь когда-то висели картины.

Чей это дом?

Теперь ничей. Осторожно, не упади, здесь перила сломаны.

На верхней площадке она открывает дверь. Просторная комната, явно бывшая детская: когда она щелкает выключателем, вспыхивает лампа со стеклянным абажуром-клоуном. В углу стоит кровать, незастеленная, с опущенным бортиком. Комнату она чисто вымела, но все равно здесь неуютно. Часть штукатурки обвалилась с потолка, обнажив тонкие планки, точно обглоданные кости. Окна затянуты черным.

Мусорные мешки, объясняет она. Чтобы света не было видно. Нужна осторожность – соседи думают, что дом заброшен.

Опустив на пол школьный рюкзак, Чиж поправляет пленку, натянутую на оконную раму. Сколько раз она сама так делала, заслышав с улицы шум автомобиля.

Я здесь для тебя все устроила, говорит она. На случай, если доберешься. Она разглаживает спальник, что разложен на диване у окна, взбивает декоративную подушку в изголовье. Прости, что кровати настоящей нет. Всяко лучше, чем на полу.

Чиж, дернув плечом, становится к ней вполоборота. Сквозь пленку на окнах с улицы просачивается далекий гул сирены, нарастает и вновь стихает. Будь все иначе, думает она, живи она все эти годы с ним, возможно, ей был бы понятней этот язык. Язык тех, чье детство на излете, – все ухватки и намеки, небрежность и недомолвки. Может быть, она бы научилась все это понимать. А Итан понимает?

Есть хочешь? – спрашивает она, и Чиж в ответ качает головой, хоть на самом деле наверняка голодный. Тогда просто отдохни,

говорит она. А поболтать еще успеем.

Помолчав, она добавляет: Чиж, как же я рада, что ты здесь!

Когда он был маленький, то всякий раз заливался слезами, если кто-то плакал рядом. От некоторых песен его будто жгло огнем, и стоило пошевелить хоть пальцем, он еще сильнее мучился. Как жаль прощаться с дорогой из желтого кирпича! Как грустно в клубе одиноких сердец! Как тоскливо быть англичанином в Нью-Йорке! Музыка, нота за нотой, будто сдирала с него кожу, и обнаженные мышцы пульсировали, горели. Не надо, мама, рыдал он, выключи, и Маргарет в ужасе неслась к стереосистеме, нажимала на «паузу» и крепко обнимала Чижа.

Ее всегда поражало, каким он был жадным до впечатлений, как он всему удивлялся. Он рос тихим, наблюдательным ребенком, все впитывал в себя – добро и зло, радость и боль. Набухшие розовые бутоны вишни. Мертвого воробья на тротуаре, крохотного, скукоженного. Яркие краски воздушных шаров, рвущихся в бездонную небесную синь. До чего зыбкой была граница между ним и миром, все пропускала, словно сито. У Маргарет душа за него болела – как ему жить в этом беспощадном мире, если он человек без кожи, обнаженное маленькое сердечко, и любая мелочь может его ранить?

Мальчик с нею рядом выглядит как Чиж, говорит как Чиж, его лицо она узнала бы из тысячи. Но сейчас между ними встала преграда, мутная, словно слюдяная плита, и мешает его разглядеть, расслышать. Он будто держит ее на расстоянии вытянутой руки, а ближе не подпускает. Что-то в нем надломилось. Ах, Чиж, думает она.

Чиж выглядывает в коридор. Полумрак, лишь слабый отсвет-полумесец на стене от лампы внизу. Чиж крадется на цыпочках мимо ряда темных комнат. Заглядывает в ванную: унитаз и раковина грязные, в зеленых разводах, под ванной пышным ковром разросся мох. Только одна из комнат выглядит жилой. В углу незастеленный матрас, рядом на полу настольная лампа без абажура. Мамина комната. Воздух пропитан резким запахом пота. Мама, которая сажала цветы на солнышке, а вечерами нашептывала ему сказки, стала вдруг незнакомкой, отшельницей из тени. Был бы здесь папа, он все бы объяснил. Помог бы разобраться, решить, что делать.

На лестничной площадке свет, проникающий снизу, кажется грязноватым, будто линялым, и всю дорогу до своей одинокой комнаты Чиж пробирается почти на ощупь.

Когда Чиж просыпается, Маргарет сидит на полу возле его постели на потертом ковре, поджав под себя ноги, и смотрит на него ласково. Кажется, она долго-долго им любовалась и терпеливо ждала, когда он проснется. И так оно и есть.

Сколько времени? – спрашивает он хрипло. Сквозь затемненные окна не видно, день сейчас или ночь.

Первый час ночи, отвечает она.

Она ставит перед ним кружку растворимого кофе. Чиж его не любит, аж скривился – никудышная она мать, кофе ребенку принесла, надо было что-нибудь другое, только ничего другого в доме нет. Она забыла, как надо, все забыла. Зато от кружки веет теплом и уютом – как раз этого ему не хватало в холодной комнате, и Чиж с трудом приподнимается, отпивает глоток. Пьет свой кофе и Маргарет. Горький, зато успокаивает, как мощное лекарство.

Газ отключен, объясняет она. Так что в доме нет ни отопления, ни настоящей кухни, только электроплитка. Зато воду и электричество пока не отключили, а это главное.

Что это за дом? – спрашивает Чиж, но она молчит. Придется сперва ему объяснить многое другое. С самого начала, напоминает она себе. Для того она его и вызвала сюда.

Чиж, говорит она, хочу кое-что тебе показать.

Она ведет его еще дальше вверх, на третий этаж, где нет ни одной жилой комнаты. Сквозь дверные проемы голые дощатые полы кажутся омутами, всё чернее и чернее. Маргарет заходила туда всего однажды, в день приезда. Всюду лежала сугробами пыль. Ветхая мебель, без ручек, без ножек, – казалось, тронешь, и развалится; старый проигрыватель, на нем пластинка, такая исцарапанная, что и не заведешь. Всюду проникала природа – просачивалась во все щели, понемногу захватывая дом. В разбитое окно ванной протянулся длинный побег плюща, словно чья-то рука, искавшая дверную защелку; в спальне, возле трещины в стене, из пропитанного влагой ковра вырос целый лес грибов.



И вот, стоя на верхней площадке, Маргарет нащупывает в тени шнур, и в потолке открывается люк, а оттуда свешивается лестница. Маргарет так и тянет взять Чиж за руку, повести, но она сдерживает порыв. Зная, что сдерживается и Чиж.

Сюда, командует она и взбирается вверх по лестнице в густой сизый мрак. Не дожидаясь Чижа.

Слышно, как сзади Чиж неуверенно ступает на нижнюю перекладину. Маргарет заставляет себя карабкаться вверх, все дальше и дальше от него. И верить, что он не отстанет. На самом верху она останавливается и впервые смотрит на него. Глаза у нее приучены к темноте, а у него – нет, и он больше прислушивается, чем приглядывается, нащупывает перекладины, похожие на шпалы. Лестница холодная, пыльная, сквозь щели в крыше проникают лунные лучи, и Чиж на ходу уклоняется от полосок света. Наконец он дополз до Маргарет, и она подставляет ему плечо.

Вот мы и пришли, говорит она, скрипнув задвижкой. Осторожно.

Они ступают на плоскую крышу, в почти чернильную тьму. Зябко, ветер вспарывает мрак, словно нож, но у Маргарет сердце тает. Какая же здесь красота!

Внизу небрежно брошенной скатертью раскинулся город. Даже в этот безмолвный час вдоль улиц выются огненными лентами потоки машин; вдалеке, словно стальные деревья, высятся небоскребы, тянутся к луне. Чуть поблескивают темные окна, отражая осколки лунного света. Крыша пуста – есть только город, и небо, и они. Ограждения нет, острый край крыши обрывается в пустоту, а внизу земля. Услышав, как Чиж ахает от изумления, Маргарет на миг видит сына прежним – чутким, любознательным, с горящими глазами, в восторге от буйства жизни вокруг.

Я не... начинает он и умолкает. Делает шаг вперед по плоской крыше, еще шаг – осторожно, словно ступает по горной тропе. Не знал, что город такой большой, говорит он. И протягивает руку, будто хочет потрогать пальцем далекий небоскреб.

Еще бы, вторит Маргарет. Я на крышу выхожу только ночью, чтобы никто не увидел. Просто удивительно, продолжает она, глядя на горизонт. До того, как я сюда попала, не представляла, что город такой огромный. А когда я здесь очутилась, совсем молодой, то всюду, где только можно, ходила пешком. Старалась увидеть как можно больше.

Чиж чуть заметно поворачивается к ней ухом – похоже, ей удалось его увлечь. Маргарет делает вид, что не заметила.

Конечно, добавляет она, мне и по работе пришлось помотаться по городу. И я здесь неплохо все изучила.

Она умолкает, выжидает. Рассказывал ли ему Итан, знает ли он хоть что-нибудь? Но тут Чиж отзывается – видно, заглотил наживку:

Что за работа? – спрашивает он, не оборачиваясь, как будто ему все равно.

Курьер. Развозила письма и тому подобное. Давно, еще в Кризис. На велосипеде, уточняет она запоздало.

Чиж молчит, но преграды между ними сейчас нет. Маргарет никогда ему не рассказывала о своей нью-йоркской жизни, о том, что было до него, – сначала ждала, когда он подрастет, а потом ушла. Для него ее прежняя жизнь – чистый лист. Она смотрит, как Чиж свыкается с новым образом мамы – колесящей по городу, развозящей почту.

Что ты развозила? – спрашивает он.

В основном посылки, иногда документы на подпись. В те времена многие фирмы закрылись, грузовиков не хватало. И бензин вздорожал, а мы, велокурьеры, и брали дешевле, и доставляли быстрее.

Маргарет следит за его лицом. Иногда продукты, продолжает она. И лекарства – тем, кто болен и не может выйти из дома. Лекарства мы забирали в аптеке и оставляли на крыльце.

Мы? – переспрашивает Чиж.

Нас было много, все крутились как могли.

Она раздумывает, делиться ли подробностями. Нет, лучше подождать.

Так ты познакомилась с папой?

Маргарет качает головой: он был из другого мира, студент. Мы и встретились-то по чистой случайности.

Она выжидает.

Как он там? – спрашивает она, не зная, как спросить о том, что ее волнует на самом деле: каким он стал, изменился ли за годы разлуки, после всего, что случилось. Наверное, волнуется за Чижа, места себе не находит, думает она с болью. Жаль, нельзя ему позвонить, сказать, что Чиж жив-здоров. Но это опасно; пока что ничего не изменилось. Еще рано. Надо, чтобы он ей доверял – как доверяла она ему все эти годы, поручив ему ребенка.

Чиж дергает плечом – неопределенно, но даже это движение выдает внутренний раздрай.

Все у него в порядке, отвечает он. Я так думаю.

Маргарет ждет, затаив дыхание, но Чиж ни слова больше не добавляет. Все это время он внимательно смотрит на город внизу, шумный, суматошный. Одна рука у него зависла, точно он опирается на воздух или хочет ухватиться за край неба. Маргарет ждет, отпустив беседу на волю, – пусть все идет своим чередом.

Почему ты уехала? – спрашивает он наконец.

Отчего-то проще задавать такие вопросы здесь, наверху, где все, кроме них двоих, кажется маленьким и далеким.

Маргарет, как перед прыжком в воду, раскидывает руки, поднимает лицо, прикрывает глаза. Лунные блики играют в ее волосах, серебрят их, точно иней. В этот миг она словно фигура на носу корабля, что несется на всех парусах в незнакомые воды. Опустив руки, она вновь поворачивается к сыну.

Сейчас расскажу, отвечает она. Все тебе расскажу. Если ты обещаешь слушать внимательно.



Рассказ она начинает за работой, склонившись над раскладным столом, заваленным проводами. Маргарет не спеша берет провод и нарезает на кусочки в палец длиной, а концы зачищает надфилем, поднимая облачка серебристой пыли. Чиж ждет, застыв на краешке ковра. Смотрит. А по ту сторону затемненных окон рассвет понемногу добавляет красок в тусклый мир.

Начну с того, говорит она, как я сюда попала.

Чаяния родителей, что привели их на другой континент, отразились и в имени дочери: Маргарет. Премьер-министр, принцесса, святая. Имя с древней историей, как выносливое дерево с цепкими корнями; по-французски *la marguerite* – ромашка, по-латыни *margarita* – жемчужина. Отец и мать ее, ревностные католики родом из Цюлуна<sup>[6]</sup>, учились у священников и монахинь, с детства причащались, исповедовались, ходили каждый день к мессе. Святая Маргарита, победительница драконов, нередко изображалась в драконьей пасти.

Вот о чем узнала она много позже: за два месяца до ее рождения к ним в почтовый ящик подбросили бомбу. Силой взрыва сорвало с петель алюминиевую дверцу и покорежило, словно из ящика рвался на волю крохотный злобный бесенок. Новый почтовый ящик, новый дом, отец – новоиспеченный инженер на заводе в одном из городков Среднего Запада. Взрывная сила минимальна, сказали в полиции. Чья-то глупая шутка. Потом отец Маргарет, потный, с прилипшими ко лбу волосами, выкапывал из земли столб, на котором висел почтовый ящик, а мать смотрела с порога, положив руку на живот, где наливалась Маргарет. Их новые соседи тоже молча глядели из окон и дружно попрятались, когда столб подался и покореженный ящик с лязгом рухнул на землю.

До ПАКТа оставался еще не один десяток лет, но уже тогда ее родители чувствовали, как соседи следят за каждым их движением. И решили: лучше не выделяться. И когда родилась Маргарет, ее одевали

в розовые вельветовые комбинезончики и туфли с ремешками, вплетали ей в косички розовые ленты. Когда она подросла, ей стали покупать одежду с безголового манекена в универмаге – что на манекене, то и на ней. Украдкой приглядывались к соседским детям и покупали дочери то же, что и у них: Барби, кукольный домик, тряпичную куклу Сюзанну Мэриголд. Розовый велосипед с длинной белой бахромой на ручках руля, игрушечную духовку, где загоралась лампочка и пеклись шоколадные кексы. Камуфляжные штаны из каталога. Отцовская любимая поговорка: «Птица, что выглядывает из листвы, – легкая добыча». Мамина: «Торчащий гвоздь забивают». Маргарет не помнит, чтобы родители при ней говорили по-кантонски. Лишь спустя годы она поняла, чего была лишена.

По пятницам они всегда заказывали пиццу, резались в настольные игры; на воскресных службах в церкви их черные головы выделялись среди моря русых. Отец пристрастился смотреть футбол, пить пиво с соседями. Мать купила набор противней и научилась печь запеканки. Маргарет росла начитанной, любила стихи. Вслед за родителями она старалась не выделяться, во всем держалась золотой середины. Выделяться – значит привлекать хищников; куда безопаснее слиться с пейзажем. Училась она средне, оправдывала ожидания, но редко их превосходила, не доставляла хлопот, но и не служила примером. Окончив школу, поступила в университет в Нью-Йорке – «в городе», говорила мать, как будто других городов на свете нет. Ее влекла призрачная надежда: вдруг в городе каждый волен жить по-своему? Вдруг город, словно наждак, сотрет с нее эмаль и обнажит расплавленное, клокочущее нутро?

В первые дни она одевалась как эталонная нью-йоркская девушка: черные джинсы, туфли на высоком каблуке, шелковая блузка. Шик, утонченность. Тайна. А потом, на третий день после приезда, когда она выходила из вагона метро, навстречу ей проплыло бородатое существо в изумрудном вечернем платье и, подобрав юбку, скользнуло на место, где только что сидела она. Никто даже головы не повернул, а существо, достав из складок платья номер «Нью-Йоркера», углубилось в чтение; закрылись двери, и поезд умчался. Скоро ей предстояло увидеть еще и не такое. Велосипедиста, едущего сквозь пробку, гудя во все горло, словно сирена: «Ду-ба-ду-ба-ду!» Престарелую даму с тростью,

ковыляющую по Бродвею и горланящую в такт шагам: «Наш Бог – всемогущий Бог!» Совокупляющуюся парочку на открытой веранде – женщина обвивала ногами талию мужчины, узкий проулок, точно рупор, направлял вопли на прилегающую улицу. И ни один прохожий не остановился, не ухмыльнулся, не оглянулся, все спешили мимо, занятые только собой, своими делами. Начался дождь, потоки воды заливали город, и Маргарет забежала в книжный магазин, растрепанная, мокрая как мышь, и никто даже бровью не повел. Здесь тебя не замечают, поняла она. А значит, можно делать что угодно, быть кем угодно. В общественном туалете она сняла мокрые носки, поставила под сушилку для рук, и никто даже слова не сказал. Когда носки высохли и Маргарет их надела, от кончиков пальцев заструилось тепло. Никогда в жизни она не чувствовала такой свободы.

Она отрезала волосы, выкрасила прядки в малиновый цвет. Пробовала на прочность границы – проверяла, когда на нее начнут оборачиваться. Постепенно сменила весь гардероб: каблуки стали выше, юбки – короче, джинсы – дыра на дыре. Сделала пирсинг. Никто ни разу не обернулся. То ли дело дома – там не просто оборачиваются, а глазуют. Там хочешь не хочешь, а веши себя примерно, не привлекай внимания, как птичка, притаившаяся в листве, как гвоздь, сидящий по шляпку в мягкой, уютной древесине. Надо быть незаметной, иначе не выжить.

Уже тогда все потихоньку начинало рушиться. Сокращался рабочий день, снижались зарплаты, цены ползли вверх. Но не везде: люди по-прежнему покупали одежду, ходили в рестораны. По ночам целые кварталы гудели, сверкали огнями, люди собирались вместе лишь затем, чтобы порадоваться жизни, молодости и темноте. Еще можно было веселиться, предаваться безделью. Еще можно было сидеть на крыльце или на скамейке в парке, улыбаясь в ответ на улыбки прохожих.

Маргарет окунулась в городскую жизнь, словно в океан. Устроилась официанткой. Прогуливала лекции и бродила по городу – жадно впитывала его в себя, исследовала самые потаенные уголки. Завела друзей. В китайском квартале тогда еще можно было услышать кантонскую речь, и Маргарет стала покупать китайские газеты и, вооружившись словарем, ночами корпела над иероглифами, учила их

написание, чтение, как изучают тело любимого человека. Тогда она впервые осознала, что прежняя жизнь ей сделалась мала, как детское пальтишко. Она научилась пить и флиртовать. Научилась наслаждаться и дарить наслаждение. В то время она уже писала стихи – царапала строчки на обрывках бумаги, на продуктовых чеках, на обертках от мятной жвачки, – каждое слово как алмазная крошка, острое, колкое. Казалось, это пишет кто-то другой – она и не подозревала, что в ней скрывается второе «я». Надвигался Кризис, он был уже на пороге, но по-прежнему выходили журналы, оставалось время для стихов и было кому их читать, а редакторам нравился ее напряженный ритм, ее строки – необузданные, пружинистые. Образы, что впивались в самое сердце и не отпускали. Гонораров ей никогда не платили, ну и не беда. По вечерам они с друзьями скидывались на вино и пили из пластиковых стаканчиков у кого-нибудь в общежитии, сидя кружком, с перепачканными красным губами.

В те дни город был как в лихорадке – все словно чувствовали, что близится гроза и в воздухе искрит. В глазах родителей это было безумием, а ей казалось, что ничего нет правильней и логичней: если мир объят пожаром, чем не повод и самому ярче гореть? Ночные посиделки плавно переходили в утренние, денег ей зачастую хватало только на кофе в первой встречной забегаловке. Домой она возвращалась пешком, чтобы сэкономить на такси, и рассвет на ее глазах золотил город. Она ходила на вечеринки, танцевала, целовалась с незнакомцами из чистого любопытства. Зачастую это заканчивалось в постели – в ее, в его, в чьей-то еще. Красивые мужчины, красивые женщины. В те дни они были повсюду, ослепительные, как сверхновые звезды.

От того времени в памяти у нее осталась картинка: ночной клуб, темнота, густой жаркий воздух. Толкотня, лоснящиеся от пота тела. Пульсирующий свет выхватывает из мрака то чей-то глаз, то губы, то руку, то грудь. Чувство, что растворяешься в толпе – в потной бесформенной массе, где каждый движется сам по себе, но в едином со всеми ритме. Над головами яркие огни; под утро все разбегутся, а они так и будут мерцать. Пол под ногами танцующих липкий от пролитого вина. Комендантский час тогда еще не ввели.

Все началось незаметно, как почти всегда и бывает. Она училась тогда на третьем курсе. Начали закрываться магазины, окна заделывали изнутри монтажной пеной. Сначала лишь кое-где, словно кариес, и вдруг оказалось, что опустели целые кварталы, по всей стране. Аренда вздорожала, покупатели перевелись. На улицах прибавилось попрошайек, бречащих мелочью в бумажных стаканчиках из помойки, с картонными табличками: «СЕМЬЯ ИЗ 5 ЧЕЛОВЕК. ПОТЕРЯЛ РАБОТУ. ПОМОГИТЕ ЧЕМ СМОЖЕТЕ». Цены росли, а люди нищали. В магазинах одежды устраивали акции – минус десять процентов, двадцать, сорок пять, – и все равно свитера так и висели на вешалках, и хоть бы кто примерил. Всем стало вдруг не на что и некогда. Каждый десятый, по статистике, остался безработным. Потом – каждый пятый. Люди лишались машин, затем жилья и, наконец, терпения.

Ресторан, где работала Маргарет, закрылся: заведение с полувековой историей осталось без посетителей, а те немногие, что заходили, заказывали только кофе и торчали за самыми дальними столиками, пока тот не остынет. Хозяин плакал, когда заколачивал дверь, – он здесь играл за стойкой еще ребенком. Маргарет принялась обходить рестораны в поисках работы, но ей смеялись в лицо или только головой качали. В одном управляющий сказал ей ласково: ступай домой. Прежде чем станет лучше, сказал он, сначала должно стать хуже. Если вообще станет лучше. Дочь его, ровесница Маргарет, тоже недавно лишилась работы.

Экономисты так и не сумели договориться по вопросу, что вызвало Кризис. Одни ссылались на неблагоприятную фазу цикла – дескать, у всего есть циклы, как у эпидемий или нашествий саранчи. Другие во всем винили биржевых спекулянтов, инфляцию, неуверенность людей в завтрашнем дне – но у всего этого тоже есть причины, не до конца понятные. Со временем принялись ворошить прошлое, выискивая, на кого бы возложить вину, и спустя годы сошлись на Китае, извечной «желтой угрозе». За каждым проявлением Кризиса видели его происки. Но в одном все с самого начала были единодушны: такого тяжелого кризиса не знали с восьмидесятых – нет, со времен Великой депрессии, – а потом стало и вовсе не до сравнений.



Верхушка спряталась за запертыми дверями, затаилась, пережидая тяжелые времена. Когда стали закрываться магазины, заказывали товары издалека, по заоблачным ценам. Люди среднего достатка затянули пояса, стали охотиться за скидками, все, что можно, сокращать, сжимать, урезать – больше никаких поездок, никаких развлечений, чем дальше, тем меньше. Те, кто жил от зарплаты до зарплаты, покатались по наклонной, считая потери: сначала лишались работы, потом жилья, потом достоинства. По всей стране людям нечем было платить за квартиры, что ни день, кого-то выселяли. Появились фотографии: мебель, бесцеремонно выброшенная на тротуар; целые семьи жмутся друг к другу на диванах, стоящих возле домов, а прохожие смотрят, как хозяева меняют замки. Тут и там выгоняли на улицу должников, пустели целые районы.

«Коррективы» – так вначале называли это в новостях, как будто времена всеобщего достатка, когда люди не голодали и имели крышу над головой, были ошибкой, а теперь восстанавливалась справедливость. В Хьюстоне очереди за бесплатной едой растягивались на целые кварталы, в Сакраменто нужно было отстоять час за банкой фасоли и парой пачек крекеров. В Бостоне люди ночевали в церквях, а с утра на улицах появлялись новые бездомные.

Вскоре начались уличные выступления. Забастовки. Шествия, мирные и с насилием. Разбитые витрины, мародерство, поджоги: гнев и отчаяние выплескивались наружу. Полиция, вооруженная до зубов. По всей стране повторялось одно и то же, отличаясь лишь по накалу. Маргарет смотрела, как мало-помалу пустеет Нью-Йорк. Те, у кого где-то еще был дом или родня, уезжали – выкручивались, скидывались на дорогу. Те, кому бежать было некуда, тоже пропадали, но по-своему – прятались, отсиживались или погибали. Под крышами покинутых домов запели птицы. «Экономический кризис», объясняли в газетах, а позже, когда затронуло не только экономику, когда люди начали терять самоуважение, смысл жизни, желание вставать по утрам, упорство, веру в другую жизнь и память о ней, надежду на лучшее, – в ход пошли другие фразы. «Наш затяжной общенациональный кризис», повторялось в заголовках, а вскоре даже слова стали экономить: Кризис, и все. Единственная доступная роскошь – заглавная К.

В университете занятия стали переносить, потом отменять. Общежитие затихало на глазах – родители забирали детей домой. От

родителей Маргарет поступали невеселые вести: неоплачиваемый отпуск на заводе, пустые полки в магазинах. У меня все хорошо, уверяла Маргарет, я остаюсь, все в порядке, за меня не волнуйтесь. Осторожней там. Я вас люблю. А положив трубку, прочесывала коридоры общежития, ища, чем бы разжиться из мусорных пакетов. Одежда, обувь – даже если велика, все равно сгодится. Одеяла, книги, ополовиненные пачки печенья. Почти все комнаты были заперты, доски объявлений вытерты дочиста, лишь на одной нацарапано черным: «ВСТРЕТИМСЯ ПО ТУ СТОРОНУ». Маргарет провела пальцем по буквам: несмываемый маркер.

Спустя три недели в коридоре общежития ей впервые встретилась живая душа – Доми. Они вместе ходили на курс «Марксизм и литература двадцатого века» – в те еще времена, когда были занятия. Изысканная, многоопытная Доми, с подведенными глазами – стрелки будто рвутся в небо. Доми, от слова «доминировать», сказала она как-то, выгнув бровь. Сейчас, без подводки, глаза у нее стали огромными, совсем детскими – взгляд кролика, а не ястреба.

Здесь еще кто-то есть – значит, не я одна такая чокнутая! – говорит Доми. Идем. Пора.

У Доми был бывший, а у него девушка, а у той сестра с трехкомнатной квартирой в районе Дамбо. Теперь они жили там шестером: сестра со своим приятелем в одной комнате, бывший с девушкой – в другой, а в гостиной – Доми на диване и Маргарет в спальнике на полу. Гостиная была такая маленькая, что когда они протягивали в темноте руки, их пальцы сплетались.

Все это Маргарет рассказывает Чижу в темном особняке, разматывая катушку с проводом, снимая красную изоляцию, под которой блестит медь. Движения ее быстры и отточенны, смотреть на нее все равно что наблюдать за работой часовщика. Чиж сидит напротив нее, обхватив колени, замороженный ее рассказом, ее руками. За окнами, затянутыми черной пленкой, в разгаре утро, Кризис давно позади, город ожил, а в комнате, где светит тусклая лампа, – островок тишины. Они сидят вдвоем в замкнутом мире, прислушиваются.

У сестры с квартирой – одной из немногих счастливиц – до сих пор была работа. Работала она в мэрии – отвечала на звонки, выясняла,

что нужно людям. А нужны им были жилье, продукты, лекарства, а заодно утешение и поддержка. Чем она могла им помочь? – добрым словом, обещанием передать их просьбы по нужному адресу. Дать другие номера, куда можно обратиться. В окна мэрии, бывало, летели кирпичи, а то и пули. Столы вскоре пришлось сдвинуть подальше от окон. Друг ее работал охранником в опустевшем небоскребе в центре Манхэттена, когда-то там бурлила жизнь и было целых три группы лифтов: одна для нижней половины, другая для верхней плюс скоростной лифт на последний этаж. Теперь всех сотрудников отправили по домам – кого в бессрочный отпуск, кого и вовсе уволили, и он обходил коридоры – восемьдесят этажей брошенных комнат. Там были компьютеры, удобные кресла, кожаные диванчики табачного цвета. Тем, кто сидел на них когда-то, доступ в здание был закрыт, а те, кто всем этим владел, отсиживались в своих домах на Лонг-Айленде, в Коннектикуте, в Ки-Уэсте – переживали Кризис. Однажды, когда все остались совсем без денег, а есть хотелось, он пробрался наверх, стащил ноутбук, продал и приволок домой девять пакетов, набитых всякой снедью, таких тяжелых, что на ладонях у него остались отметины. Продуктов им хватило на две недели.

Бывший парень Доми и его девушка хватались за любые подработки: заколачивали окна разорившихся фирм, грузили в машины вещи тех, кто бежал из города. Он был коренастый крепыш, бритый наголо, она – рыжеватая, шустрая, оба легкие на подъем. В Куинсе закрылся склад – то-то они порадовались: целый месяц грузили на теплоход ящики и получали деньги, пока корабль не уплыл то ли на Тайвань, то ли в Корею, они не знали куда, – а склад стоял пустой и гулкий, и длинные солнечные лучи испарывали пыльный воздух. Когда никакой работы не подворачивалось, они прочесывали улицы, искали, что бы сдать на переработку. Наведывались в богатые кварталы, где в мусоре попадают сокровища, а хозяева смотрели на них сверху сквозь двойные стекла, как на ворон, клюющих дохлятину. Однажды в Парк-Слоупе у них на глазах из дома вынесли на носилках человека под белой простыней. Особняк его остался на время без присмотра. Когда стемнело, они вернулись, залезли в дом. Мебель и одежду к тому времени уже растащили, зато они выдрали из стен несколько метров медных труб и проводов, а девушка нашла серебряные часы – изящные, исправные, с гравировкой «А. от К.» – и

нацепила, прежде чем умчаться в темноту. Совесть никого из них не мучила – во всяком случае, тогда. Что лучше – оставить вещи валяться без дела или превратить их в тепло, в еду, в веселую пьяную ночь в ожидании то ли конца Кризиса, то ли конца света? Выбор был очевиден.

Ну а Доми и Маргарет стали курьерами. Разъезжали по обезлюдевшему, окутанному зловещей тишиной Манхэттену. Курьерская доставка была дешевле почты, для которой наступили скверные времена – финансирование урезали, персонал сокращали, цены на бензин взлетели, грузы воровали прямо с машин, – а велокурьер за три доллара доставит посылку через час. Первой приступила к работе Маргарет: однажды утром она увидела у крыльца велосипед без замка, вечером он по-прежнему был на месте, и Маргарет присвоила его без зазрения совести. Курьеры колесили по городу, встречаясь на маршрутах, и вскоре Маргарет уже всех знала в лицо и по именам. Через пару недель, когда подвернулся второй велосипед, к ним присоединилась и Доми.

С наступлением темноты во многих районах становилось опасно. В парках кучковались безработные, пропивая последние гроши, и к вечеру их тянуло на подвиги. Женщины на собственном горьком опыте учились их избегать. Маргарет с детства научилась оглядываться через плечо, по мимолетным жестам распознавать угрозу, отбиваться, если нельзя спастись бегством. Доми, выросшая в Уэстпорте с отцом – летний домик, уроки верховой езды, бассейн, – ни к чему подобному не была готова. Иногда она вскрикивала во сне, отмахивалась, словно кто-то ей метил в глаза. Маргарет забиралась к ней под одеяло, обнимала ее покрепче, гладила по голове, и Доми затихала, успокаивалась. По утрам в тех немногих магазинах, что упрямо цеплялись за жизнь, зачастую бывали выбиты окна, полки опустошены, редела сигнализация, но на помощь никто не спешил. Многие безвылазно засели дома, и вскоре Маргарет уже всю бегала с поручениями, передавала записки – за пять долларов, потом за десять, но с тех, кто нуждался, брала всего доллар. Приносила лекарства из аптек, продукты. Тампоны, батарейки, свечи, алкоголь. Все, что помогало продержаться день. Бумажные деньги, которыми с ней расплачивались, она сворачивала и прятала в лифчик; под утро,

вернувшись в квартиру, пересчитывала и расправляла бумажки, влажные и размякшие от пота. В ту пору ей стало совсем не до стихов.

Со временем ко всему привыкаешь: ко всем нововведениям местных властей, стремящихся хоть как-то поддерживать порядок, – когда выходить на улицу, когда сидеть дома, какими группами можно собираться – маленькими, еще меньше. Если город или штат накроет эпидемия, то некому работать и оплачивать больничные, не хватает врачей, лекарств, только и остается, что взять парацетамол в ближайшей аптеке или что-нибудь покрепче в соседнем винном магазине. Всюду очереди, все в дефиците, кроме злобы, страха, горя. У подножия мостов и виадуков вырастают, словно гроздь поганок, палаточные лагеря. Везде одно и то же, если верить новостям. И уже привыкаешь к очередям, к попрошайкам на тротуарах с рукописными картонными табличками «ПОМОГИТЕ ЧЕМ СМОЖЕТЕ». Учишься следить за ними краем глаза, не встречаясь взглядом, обходить их на пушечный выстрел. Еще издали улавливаешь крики, звон стекла; не успеешь понять, в чем дело, а ноги уже сами несут тебя на другую улицу, прочь от опасности. Привыкаешь сооружать бутерброды с тем, что под рукой, – с кетчупом, с майонезом, с солью, с чем угодно, лишь бы не есть сухой хлеб; привыкаешь заваривать кофейную гущу по второму, по третьему разу, и так неделями, или вместо кофе хлебать кипяток, лишь бы согреться. Привыкаешь не разговаривать с людьми на улицах, пробираться мимо, сделав вид, что спешишь куда-то, привыкаешь к плачу сирен. Через какое-то время уже не задумываешься, куда они мчатся, кому на помощь. Знаешь, что где-то там, в замках, забаррикадировались богачи, в тепле и сытости, почти в довольстве, но скоро перестаешь о них думать. И вообще перестаешь думать о других. В конце концов и к этому привыкаешь, а заодно и к тому, что люди пропадают – уезжают домой или в другие края, в поисках лучшей доли, или просто исчезают.

К чему привыкнуть невозможно – Маргарет так никогда и не привыкла, – так это к тишине. На Таймс-сквер светофоры работали исправно, но непонятно для кого, машин ведь почти не осталось. Над опустевшим портом с криками носились чайки. Разговоры с родителями были кратки, несколько минут, не больше; связь прерывалась, время стоило дорого, по-настоящему хотелось узнать только одно: что все живы-здоровы. Бывало, проезжая на велосипеде

через Центральный парк, Маргарет не встречала по пути ни одной души – ни на тропинках, ни на озере, – ни следа человека, не считая палаток, белевших на Овечьем лугу и мигом исчезающих, стоило прокатиться слуху о полицейской облаве. В этой тишине слишком много времени оставалось на раздумья – сколько ни налегай на педали, мысли все лезут и лезут в голову.

В медовом свете лампы видно, как дрожат ее руки.

Кризис. Кризис. Чиж был с детства о нем наслышан: нельзя забывать уроки Кризиса, твердили со всех сторон; нельзя допустить повторения. Но невозможно описать, что творилось на душе у людей.

Что ни день выселения, каждый день и каждую ночь беспорядки, люди молили хоть о какой-нибудь помощи. Полиция пускала в ход резиновые пули и слезоточивый газ, автомобили въезжали в гущу демонстрантов. По ночам были сирены, носились по городу полицейские машины. По всей стране запылали пожары – сегодня в Канзас-Сити, завтра в Милуоки и Новом Орлеане, – безумные сигнальные костры обездоленных и отчаявшихся. В Чикаго по Мичиган-авеню возле магазинов разъезжали танки, охраняя драгоценный товар. Виноватых еще не назначили – пока, – и ярость, паника, страх изливались на все подряд, обжигали, не давали дышать. Страх и злоба были повсюду – на безмолвных темных улицах после комендантского часа, в серых тенях зданий, в эхе твоих собственных шагов по пустым тротуарам. В ярких вспышках огней полицейских машин, мчавшихся мимо – куда угодно, только не тебе на помощь.

Как об этом рассказать тому, кто ничего подобного не видел? Как объяснить, что такое страх, тому, кому нечего было бояться?

Представь, хочет сказать Чижу Маргарет. Представь, как все, что ты считаешь незыблемым, превращается в дым. Представь, что все правила отменяются.

Есть хочется, робко говорит Чиж, и Маргарет, вздрогнув, приходит в себя, смотрит на часы. Уже перевалило за полдень, а он еще не завтракал. Маргарет мысленно клянет себя: она совсем отвыкла о ком-то заботиться.

Отложив в сторону бокорезы, она вытирает руки о джинсы.

Сейчас, сейчас, приговаривает она, роясь в пластиковом пакете рядом с диваном. И наконец достает один-единственный злаковый

батончик.

За работой я обо всем забываю, говорит она почти виновато. Забываю, что еду надо держать поблизости. Вот, угощайся.

Чиж, развернув батончик, замирает. Наконец все становится на свои места: заострившиеся мамины черты, темные круги под глазами. Она полностью поглощена своим делом. Почти не ест, а может быть, даже почти не спит. День и ночь работает – или как это назвать?

Ешь, говорит мама ласково. Съешь хоть что-нибудь. Вечером еще принесу.

Из-под стола она достает другой пакет, в нем крышечки от двухлитровых пластиковых бутылок. Красные, белые, оранжевые, ядовито-зеленые – липкие, до сих пор чуть пахнувшие колой, кофе, едкой шипучкой. Бросив горсть крышечек на стол, она берет одну, разглядывает. Раскладывает их по парам. Неделью за неделей собирала она эти цветные кругляши – на тротуарах, в черных глотках мусорных баков.

Но что ты с ними делаешь? – спрашивает Чиж с набитым ртом. На что они тебе?

Маргарет, взяв одну крышечку, сдвигает в сторону остальные, берет из кучки деталей транзистор – яркий, в красную и желтую полоску, словно леденец. Подносит к одной из тонких проволочных ножек паяльник, и в воздухе разливается острый, терпкий запах канифоли.

Давай лучше я тебе расскажу, говорит она, как я с папой познакомилась.

В ту пору она как с цепи сорвалась.

Третий год Кризиса. «Срать на все» – таков был ее тогдашний девиз. Люди появлялись и исчезали, зачастую без предупреждения, неизвестно куда и почему: то ли по плану, то ли по стечению обстоятельств, то ли хуже. Случалось, когда Маргарет доставляла заказы, ей плевали в лицо – мол, это все китайцы виноваты, это они высосали из Америки все соки; она стала повязывать бандану на самые глаза. Да насрать, на все насрать, соглашались они с Доми, и для них это значило: не привязывайся ни к чему, ни к кому, главное – выжить. Эти слова они говорили друг другу почти ласково, вместо приветствия или поцелуя на ночь. Срать на все, бормотала Доми,

засыпая с ней рядом в гостиной, а Маргарет, завернувшись в спальник на полу, сжимала ей руку и шептала в ответ: на все, — а на их коже после тяжелого дня высыхал мелкими кристалликами пот.

А потом появился Итан. День рождения Доми — даже тогда его праздновали, назло, вопреки всему. Целое море выпивки, квартира битком, ну и плевать на запрет собраний; воздух тяжелый и жаркий, точно кто-то дышит тебе в лицо. Доми уже напилась и не заметила его, зато Маргарет заметила, и меж лопаток у нее пробежал холодок. Знакомый чьих-то знакомых, совсем здесь не к месту, в угольно-сером костюме. В костюме! Почему-то так и подмывало шагнуть к нему и взлохматить волосы. В шуме, гаме и духоте Маргарет, ускользнув от Доми, подошла и поймала его за галстук.

Они устроились на пожарной лестнице, на узенькой площадке шириной не больше карниза, где едва хватало места двоим; они были друг к другу так близко, что запросто могли бы поцеловаться. Возле их ног стоял разбитый цветочный горшок с горой окурков. Итан, представился новый знакомый. Окончил Колумбийский университет незадолго до Кризиса, перед тем как жизнь замерла. Всю ночь за спиной у них мельтешили — входили в комнату и выходили, смеялись, пили, забывались на время. Ни Маргарет, ни Итан ничего не замечали. Ночной воздух сгустился вокруг, окутал их, словно одеялом. Они все говорили и говорили — сначала глядя в темноту, потом щурясь от персиковых лучей рассвета, пробивавшихся между зданий. Вечеринка тем временем потухла, как засыпанный землей костер. На ковре и на диване дремали гости, жались друг к другу по-щенячьи. Доми улизнула в постель, не одна.

Мне пора, сказал Итан, и Маргарет отдала ему пиджак, которым он укрыл ее от ночной прохлады. Впервые за все время они коснулись друг друга. Хотелось его поцеловать. Нет, укусить, сильно, до крови.

Рада была познакомиться, сказала она и ушла в дом.

На следующий вечер, после комендантского часа, она перешла через мост и направилась в сторону от центра, прячась в тени всякий раз, когда приближались редкие машины. Велосипед она оставила дома: на улице даже пристегнутый велосипед к утру исчезнет, а Итан сказал, что живет на четвертом этаже. Изредка навстречу попадались прохожие и, переглянувшись с ней, спешили дальше по своим



загадочным делам. Сто двадцать кварталов – и вот он, дом Итана, где недреманным оком сияет его окно. Маргарет поднялась по пожарной лестнице, сунула руку в приоткрытую форточку, и он, услышав шорох, встрепенулся, отложил книгу. Открыл пошире окно и впустил ее в дом.

Утром на его плече алел след от ее укуса.

Доми все это было не по душе.

Тебя не узнать, говорила она, на уме у тебя только он. Слово «он» она цедила сквозь зубы, будто сплевывала.

Твой чудо-парень, говорила она. С чудо-хатой. Куда нам до него!

На самом-то деле у Итана была квартира-студия на четвертом этаже – всего одна большая комната, матрас, на котором и сидели, и спали, в углу кухонька да древняя ванна на львиных лапах, – но там было тепло и уютно. Семья у Итана не была ни богатой, ни знаменитой – отец инженер, мать медсестра в доме престарелых, – зато связи у них имелись: квартиру Итан снимал у школьного друга матери, с большой скидкой, ему было где переждать Кризис. Если на то пошло, Доми тоже могла бы жить в своей квартире, причем куда просторней, пожелай она только: фирма ее отца выпускала микросхемы для половины компьютеров и мобильных в стране, у отца было две яхты, небольшой личный самолет, дома в Лондоне, в Лос-Анджелесе и на юге Франции. Еще один дом был на Парк-авеню, где и выросла Доми, однажды она показала его Маргарет, и обе плюнули на тротуар и сбежали, пока за ними не погнался отцовский шофер. Мать ее умерла, когда Доми было одиннадцать, а отец спустя месяц женился на гувернантке-датчанке, и Доми поклялась, как только вырастет и уедет из дома, с отцом больше не разговаривать – и не разговаривала. В колледже она рвала его щеки и отправляла ему по почте обрывки.

Так вот ты как, кипятилась Доми, решила отсидеться у своего богатенького парня, пока мы тут побираемся?

Руки у Маргарет были обветренные, в цыпках; неделю назад на нее напали, схватили за воротник куртки, но ей удалось вырваться. Воротник она пришила шерстяной ниткой – красной, другой не было, – и шов алел под горлом, как свежая рана.

Да насрать мне на вас обоих, сказала Доми, но Маргарет не ответила. Она уже шагнула за порог.

Он свободно владел шестью языками, мог объясниться еще на нескольких. Неплохо для белого парня из Эванстона, шутил он. Родители его, заядлые путешественники, каждый год проводили отпуск в новой стране, и к десяти годам Итан успел побывать на четырех континентах. Он, как и Маргарет, был единственным ребенком, и это, среди прочего, их сблизило – то, что оба последние веточки рода, и им предстоит соединиться, чтобы стать крепче, породить что-то новое.

А кантонский ты знаешь? – спросила Маргарет, и Итан покачал головой.

Только классический китайский, да и то плохо.

И добавил: давай учить вместе. Ты и я.

Он занимался этимологией: изучал происхождение слов. В детстве играл в слова, разгадывал с отцом кроссворды, а мама готовила его к конкурсным диктантам. На день рождения и на Рождество он каждый раз просил в подарок книги. В Кризис, когда начали закрываться библиотеки и книжные магазины, ему нечего стало читать, кроме словарей, стоявших рядом на подоконнике. В то первое утро Маргарет, встав с постели, подошла к ним полюбоваться. Толстые желтые двуязычные словари: французский, немецкий, испанский, арабский; некоторые языки и вовсе ей не знакомые. Мертвые языки: латынь, санскрит. Английский толковый словарь толщиной с телефонный справочник, с тонкими, как в Библии, страницами. Маргарет не спеша провела пальцами вдоль корешков и повернулась к Итану – оба были еще не одеты, с позолоченной утренним солнцем кожей – в изумлении, как будто вдруг признала в нем родную душу.

Для Итана каждое слово таило секреты, заключало в себе историю, все прежние свои обличья. Он находил между словами таинственные связи, изучал их родословную, отыскивал слова, общие по происхождению, подчас самые неожиданные. Для него слова были подтверждением того, что, несмотря на хаос вокруг, в мире есть логика и порядок, есть система, которая поддается расшифровке. Маргарет нравилась в нем эта непоколебимая убежденность, что мир можно познать, что, исследуя его частности, получаешь представление о целом. Для Маргарет волшебство заключалось не в истории слов, а

в том, на что они способны: одним беглым росчерком обозначить явление или чувство, выразить невыразимое, воплотить на миг образ, который тут же растворится в воздухе. И это, в свой черед, восхищало Итана в Маргарет – ее жадное любопытство ко всему на свете, то, что мир для нее всегда был и будет до конца не разгаданным, полным тайн и чудес, так что порой остается лишь хлопать глазами от удивления.

Сидя взаперти, они читали – взяв с подоконника какой-нибудь словарь, ложились с ним на матрас, один пристраивал голову другому на колени. Зачитывали вслух целые словарные статьи, исследовали значения, и оба вели раскопки: она, как кладоискатель, охотилась за словами, точно за драгоценными камнями, выкладывала из них мозаику, а он, словно археолог, докапывался до глубинной сути, искал следы попыток людей объяснить мир и объясниться друг с другом. Слово «аттестовать» восходит к латинскому *attestor*, «свидетельствовать», а оно, в свою очередь, к слову «три» – третья сторона, свидетель. Слово «автор» родственно латинскому *augeo*, «содействую росту», – тот, кто возвращает идеи, собирает урожай стихов, рассказов, книг. Слово «поэт», если проследить его родословную с самого начала, произошло от греческого слова со значением «складывать в кучи» – древнейшая, самая простая форма творчества.

Маргарет, узнав об этом, смеялась. Вот чем я занимаюсь, сказала она, – складываю слова в кучи.

*Krei*, прочла она вслух. «Разделяю, сужу». Как сито, сказал Итан, – чтобы отделять хорошее от дурного. Отсюда *krisis* – «исход», перелом к лучшему или к худшему.

Маргарет провела пальцем по его груди снизу вверх, коснулась нежной ямки между ключиц.

То есть, сказала она, время определяться, кто мы.

С улицы доносились вой сирен и крики, иногда пальба – или салют? Беспорядки охватили страну, как степной пожар, все кругом будто иссохло и готово было вспыхнуть. В Атланте безработные демонстранты подожгли мэрию, пришлось вызвать нацгвардию. Всюду взрывались бомбы – в административных зданиях, в метро, на газонах перед губернаторскими особняками. Экстренные собрания, голосования, марши, митинги – и никаких перемен к лучшему. Когда же это кончится? – вопрошали люди в тех немногих местах, где еще

могли встречаться: в продуктовых магазинах меж полупустых полок; на лестницах многоквартирных домов; во дворах, сгребая сухие листья – поддерживая хоть какое-то подобие порядка, чистоты, нормальной жизни во времена, когда не осталось ни намека на нормальную жизнь. Когда же это кончится? – слышалось со всех сторон, но конца не было видно.

А в квартире Маргарет и Итан пили чай с печеньем из кухонного шкафчика. После душа она надела старую рубашку Итана, а свое платье выстирала в ванне и повесила сушиться на штангу. Они закрыли окна, потом задернули шторы. Варили суп. Любили друг друга.

Он ласкал ее, будто слизывал с пальцев масло. После любви, когда она лежала с ним рядом, прижавшись ухом к его спине, ей было спокойно как никогда. Приятно, когда можно наконец вытянуться, если неделями спишь, сжавшись в комок. Однажды утром она просто-напросто взяла и осталась.

Перед уходом она отправила Доми письмо – жалкая попытка проститься после их недавней, самой бурной ссоры, когда Доми сбросила пиджак, что отдала ей Маргарет, – мол, забирай, лучше буду ходить голой! – и вышла, хлопнув дверью. Маргарет исписала вдоль и поперек целый лист, а после не могла вспомнить, что написала, а о чем умолчала, чтобы избежать гнева Доми, уберечь ее от боли. Так или иначе, Доми ни разу не позвонила, не зашла, и в конце концов Маргарет перестала ждать.

В тиши квартиры Итана к ней стали возвращаться стихи – робко, несмело, как выходят из нор звери после грозы.

Она писала о затишье в городе, о том, как изменился его ритм без людей. О любви, о радости и об уюте. Об утреннем аромате его кожи, о тепле их постели. О том, как обрести покой среди хаоса, которому не видно конца, о тихом уголке, куда не долетает шум Кризиса. Печататься было негде: продолжали выходить только крупнейшие газеты, да и то с государственной поддержкой; всем было не до поэзии, не до слов, но она писала на клочках бумаги, на широких полях словарей Итана – позже из этих строк вырастет ее первый сборник.

Потихоньку, незаметно для всех история Кризиса стала обретать форму. Скоро она выкристаллизуется, словно осадок в растворе.

Мы знаем, кто все это подстроил, стали говорить люди. Спросите себя: кто окажется на подъеме, когда у нас спад? Все решительно указывали на Восток. Посмотрите, как растет в Китае ВВП, повышается уровень жизни. У них даже крестьяне на своих рисовых полях со смартфонами ходят, распинался один депутат в палате представителей. А у нас в Соединенных Штатах американцы справляют нужду в ведро, потому что воду им отключают за неуплату. Я вас спрашиваю: почему не наоборот? Я вас спрашиваю!

Кризис – это всё козни Китая, доказывали некоторые, это всё их фокусы с пошлинами и курсами валют. Может быть, им даже помогают разваливать нас изнутри. Они хотят нас уничтожить. Задумали прибрать к рукам нашу страну.

На тех, у кого не наши лица, не наши имена, стали смотреть косо.

Вот в чем вопрос, повторяли все: что нам теперь делать?

Позвонила мать в истерике, Маргарет еле разбирала слова: отца толкнули с лестницы в парке. Он шел им навстречу, тот человек, – они спускались, а он поднимался; они в его сторону даже не взглянули, а он развернулся и толкнул отца в спину, обеими руками, прямо меж лопаток. Отец в свои шестьдесят четыре сильно сдал – похудел, усох, страдал артритом – и покатился, даже не пытаясь удержаться, просто рухнул вниз, словно кукла; край нижней ступеньки раскроил ему череп над самым ухом; все произошло так внезапно, что ни он, ни она даже крикнуть не успели. Когда мать Маргарет пришла в себя и оглянулась, обидчика уже и след простыл. Отец умер, не приходя в сознание, через два часа после ее звонка. Наутро у матери на кухне опустевшего дома – слишком просторного для нее одной – отказало сердце, об этом Маргарет, которой все не удавалось достать билет на самолет, узнала от полицейского, позвонившего ей как ближайшей родственнице.

Все приметы были тогда уже налицо, хоть она их не видела: отца не просто толкнули – люди молча смотрели, как падает старик, и расступались перед его обидчиком – от неожиданности, от страха или с одобрением, в котором стыдились признаться даже сами себе. Все приметы были налицо: мимо прошли трое – женщина средних лет,

парень лет двадцати, молодая мать с коляской, – и лишь четвертый вызвал «скорую», увидев, как старушка, склонившись над безвольным телом мужа, не кричит, а шепчет ему что-то на языке, на котором они за много лет не сказали ни слова даже между собой, – в отчаянной надежде, что слова эти таятся в самой глубине его души и он услышит.

Я не поняла, что он так сильно пострадал, сказала потом своему мужу свидетельница, когда в новостях сообщили о «несчастном случае». Думала, поскользнулся, упал – всякое бывает, не хотела вмешиваться.

Услышал то ли китайский, то ли другой незнакомый язык – оправдывался другой свидетель, молодой парень, – просто понял, что не английский, а знаете ведь, что сейчас про Китай говорят, вот и решил не встречать.

Молодая женщина с коляской не сказала ничего. Она даже новости не смотрела: у малыша резался зубик, и ни он, ни она не спали всю ночь.

Единичный инцидент, будет сказано в полицейском отчете спустя несколько недель. Личность нападавшего установить невозможно, как и мотив.

Были случаи и в других городах, самые разнообразные: пинок или толчок на улице, плевков в лицо. Сначала изредка, потом повсеместно, а потом даже в новостях сообщать о них перестали, потому что ни для кого это была уже не новость.

Если хочешь, мы полетим домой, предложил Итан. Авиабилеты стоили дорого, достать их было тяжело, но у них были сбережения. Мы полетим домой и обо всем позаботимся.

Маргарет не знала, как ему объяснить, что дома никаких дел не осталось, что там больше не дом. И сосредоточилась не на слове «дом», а на слове «мы».

Хочу уехать из Нью-Йорка, сказала она Итану. Прошу тебя, давай уедем. Все равно куда.

Казалось бы, с чего вдруг? Родители ее никогда не бывали в Нью-Йорке, из дома она уехала несколько лет назад, так откуда у нее потребность бежать? Но если разобраться, ее жажда строить новую жизнь была вполне понятна. Осиротев, начать все заново, в других краях, где можно спрятаться от мира с его острыми углами. Затаиться,

словно птица в листве. Не высовываться. Итан написал по электронной почте отцу, и тот задействовал весь круг своих знакомых: соседей, коллег, бывших товарищей по студенческому общежитию, их друзей – всех, чье расположение он снискал за свою шумную, пеструю жизнь. У знакомых тоже есть знакомые, на связях держится мир, и в то время ни Маргарет, ни Итан ничуть не удивились, просто были благодарны, когда выяснилось, что у Итана есть крестный, а у него брат, который играет в гольф с деканом Гарварда, и тот сказал, что в университете открылась или вот-вот откроется вакансия. Несколько звонков, посланное наудачу резюме – и вот уже Итана взяли стажером на кафедру лингвистики.

Все устроилось за две недели. Прощаться им было не с кем, к тому времени связь со всеми здешними знакомыми была потеряна. Вещей они взяли мало, потому что брать было почти нечего: чемодан с одеждой да стопку словарей. На новом месте им придется начинать с нуля.

Чиж не в силах этого вообразить. Маргарет все понимает по его лицу, озадаченному, будто он силится примерить на себя чужие чувства, увидеть то, чего никогда не видел. Отец ей когда-то рассказывал притчу о том, как четверо слепых описывали слона, пощупав каждый какую-то его часть, и говорили, что слон похож на стену, на змею, на опахало, на копье. Рассказ-предостережение: не стоит обольщаться, что мы кому-то можем передать свой опыт. Она так и сыплет подробностями, колкими, словно песчинки, но для него это по-прежнему кошмар, что случился не с ним. Пока на себе не испытает – не поймет, а она все бы отдала, лишь бы ему не пришлось этого испытать.

Но чем же все кончилось? – спрашивает Чиж, и Маргарет спохватывается: ах да, столько еще надо рассказать!

В новую жизнь она нырнула, как под пуховое одеяло. В кембриджском домике, купленном на все их сбережения, – в Кризис только одно хорошо, мрачно шутил Итан, столько домов продается задешево – Маргарет выкрасила стены в теплый золотисто-оранжевый: пусть их жизнь будет такой же яркой. Они вставили новые окна, отшлифовали полы, развели огород: кабачки, помидоры, ярко-зеленый

салат. За высоким забором, обрамлявшим их дворик размером с почтовую марку, легко было представить весь мир таким же. Ничего не стоило забыть, что в стране до сих пор бушует Кризис, а им деньги, удача и связи помогли оставить его за порогом, как оставляют за порогом метель, зайдя в дом, где тепло и сухо.

Для всех остальных конец Кризиса ознаменовали нечеткие кадры с камеры видеонаблюдения: зернистая серая фигура в капюшоне притаилась за углом столичного офисного здания. Все происходит молниеносно: из дверей появляется человек в черном костюме, человек в капюшоне вскидывает пистолет. Вспышка. Человек в костюме падает. И, перед тем как пропасть с экрана, человек в капюшоне смотрит в камеру, будто до той минуты ее не замечал, и лицо его, скрытое за темными очками, попадает в кадр.

Человек в костюме – объясняли в новостях, раз за разом повторяя ролик, – сенатор от штата Техас, один из ярых сторонников идеи «китайского Кризиса». Он горячо призывал к санкциям, объявлял китайскую промышленность скрытой угрозой, обличал «предателей» – этим и был знаменит. После покушения армия его сторонников стала расти: хоть лицо человека в капюшоне было размытым и опознать его не представлялось возможным, все-таки видно было, что он азиат, а учитывая обстоятельства, заключили эксперты, «вероятно, китаец». Посыпались звонки в полицию – доносы на соседей, на коллег, на официанта из ближайшего кафе. В соцсетях рядом со стоп-кадром из видео выкладывали фотографии – из интернет-архивов, с сайтов знакомств, из резюме и отпускных альбомов, их спешили разместить те, кто думал, что сам раскрыл дело. Всего у сыщиков-любителей под подозрение попали тридцать четыре разных человека от девятнадцати до пятидесяти шести лет, друг на друга совершенно не похожих, а поскольку виновного так и не нашли, на каждого азиата стали смотреть с опаской – вдруг он преступник или сочувствующий? Сенатор, лежа на больничной койке с перевязанным плечом, гнул свою линию: «Вот видите? Они на все способны, даже на хладнокровное убийство. И кто теперь следующий?» Ему вторили передовицы: «Не просто покушение на одного человека, сенатора, а открытое выступление против правительства, против основ нашей жизни».

Кое-кто становился на сторону нападавшего: «Вы на сенатора посмотрите, ненавистью так и пышет, насилию нет оправдания, но



того человека отчасти можно понять». Китайские общины Америки сразу же открестились от неизвестного стрелка – назвали его террористом-одиночкой, маргиналом, отклонением от нормы. Нельзя судить обо всех нас по нему одному, заявляли они публично. Но поздно, подозрения разрастались, словно чернильные пятна на влажной ткани, просачивались наружу, пачкали всех. Отныне этой грязью станут объясняться косые взгляды на всякого, кто может сойти за китайца, отказы в обслуживании, оскорбления, плевки в лицо, а позже – пинки и бейсбольные биты.

Эти события ускорили принятие ПАКТа. Все устали от Кризиса, он тянулся без малого три года, за такое время кого угодно можно успеть запугать. Большинству людей ПАКТ казался разумной, даже необходимой мерой: патриотизм, всеобщая бдительность – отчего бы не поддержать? Маргарет смотрела на видео, как его подписывал президент, а вокруг его стола толпились законодатели. За правым президентским плечом хмуро кивал раненый сенатор с рукой на перевязи.

ПАКТ защитит нас от нависшей угрозы – от тех, кто подтачивает наше государство изнутри, говорил президент. А истинным американским патриотам, в том числе азиатского происхождения, закон этот ничем не грозит.

Помолчав, он поставил внизу страницы подпись с длинным росчерком. Защелкали вспышки. Он передал ручку раненому сенатору, и тот осторожно взял ее здоровой рукой.

ПАКТ: Поддержка Американской Культуры и Традиций. Торжественная клятва искоренить весь антиамериканский элемент, подрывающий государство. «Вложения в Америку»: проекты по выпуску флагов, значков и плакатов с призывами к бдительности; финансовая поддержка народных дружин – пусть подавляют уличные протесты, охраняют фирмы и магазины. Поддержка новых инициатив по наблюдению за Китаем – и новых групп по выявлению тех, чья преданность под вопросом. Награды гражданам за бдительность, за сведения о возможных зачинщиках беспорядков. И наконец, самое главное: профилактика распространения антиамериканских взглядов путем изъятия детей из антиамериканской среды. Определение «антиамериканской среды» постоянно расширялось: проявление симпатий к Китаю; недостаток антикитайских настроений; любые

сомнения в чем-либо американском; любые связи с Китаем – даже в прошлых поколениях. Отрицание китайской угрозы; сомнения в справедливости применения ПАКТа и, наконец, в самом ПАКТе.

Сразу же после принятия ПАКТа жизнь стала налаживаться, сначала незаметно, как день ото дня меняется расположение звезд на небе. Вечерами на улицах стало спокойнее – два, три, десять вечеров подряд. Вновь появились рабочие места. Вернулись уличные шумы, будто город, пробуждаясь, откашливался после сна. Призывы покупать отечественные товары помогли оживить производство, и понемногу начали открываться магазины, полки вновь заполнились продуктами. Люди осторожно выбирались на свет, как из бомбоубежищ, – полуслепые, ослабевшие, растерянные. Робкие, сбитые с толку, ошеломленные. Но, главное, жаждущие действий.

ПАКТ, утверждали его сторонники, поможет укрепить и сплотить народ. Но умалчивали о том, что для единения необходим общий враг – нужно пугало, воплощение всех страхов.

Стали поступать сообщения: в Вашингтоне китайца ударили кулаком в лицо; в Сиэтле двух пожилых китайок закидали мусором. В Окленде китайку затащили в подворотню и попытались изнасиловать, а в это время на тротуаре плакал в коляске ее ребенок. Отец Маргарет был, как выяснилось, одной из первых жертв, но далеко не последней.

Вскоре стало ясно, что всякому, кто хоть отдаленно похож на китайца, грозит опасность. В Майами тайца пырнули ножом по дороге на работу; в Питсбурге подростка-филиппинца избили хоккейной клюшкой, когда он возвращался домой из бассейна; в Миннеаполисе вьетнамку толкнули на проезжую часть, и ее чуть не сбил автобус. Обидчиков редко ловили и еще реже карали: не было доказательств, что люди пострадали из-за того, что они китайцы – или схожи с китайцами. Средний американец, заключил один судья, не обязан различать лиц азиатского происхождения. Как будто речь о сортах яблок или о породах собак, как будто «лица азиатского происхождения» сами не средние американцы. Как будто неспособность различать оправдывает того, кто машет дубинкой.

К «лицам азиатского происхождения», напротив, внимательно присматривались. Пикет после гибели тайца в Майами разогнали за буйство. Митинг в защиту молодой матери из Окленда разогнать не

удалось, в итоге арестовали двоих. У китайца, избитого в Вашингтоне, нашелся неоплаченный штраф за превышение скорости, и он получил месяц тюрьмы. Подросток-филиппинец защищался, у его обидчика обнаружилось сотрясение мозга, и филиппинца обвинили в нанесении тяжких телесных. Скоро, в ответ на все новые протесты, пикеты и демонстрации, начнут забирать детей согласно ПАКТу.

Правда была в том, что Маргарет, как и большинство людей, обо всем этом почти не задумывалась. Новый закон касался сторонников антиамериканских идей, а Маргарет не из их числа. Она занята была покупками: то настольный коврик, то теплые домашние тапочки, то новое покрывало. Снова начали выходить журналы о красивой жизни, которой можно любоваться и подражать; снова стало можно ужинать в ресторане, где официант в белоснежной рубашке нальет вам вина. Маргарет, как все, строила новую жизнь – прекрасную, блестящую. Чем не американская мечта?

Дом, муж. Двор, обнесенный забором. Две пары сапог: резиновые – для слякоти, с меховой подкладкой – для снега. Ароматические свечи, подставки под горячие блюда, электрическая зубная щетка – все атрибуты домашней жизни. Все, от чего она когда-то с радостью сбежала. В двадцать лет она бы только рассмеялась, скажи ей кто, что через пять лет у нее снова все это будет, – мало того, что она всего этого захочет, возжаждет всей душой. Поверила бы она лишь одному: что у нее будет Чиж, она всегда мечтала о ребенке. В тесной квартирке Итана они грезили наяву, воображали, какой у них будет малыш. Скоро, к их огромной радости, им предстояло это узнать.

Чиж рос у нее под сердцем. Сначала – с чечевичное зернышко, потом с горошину. Потом с грецкий орех, с лимон. Каждое утро перед уходом на работу Итан целовал ее в живот, чуть выше пупка. Год назад ее утро начиналось совсем по-другому: они с Доми, держась каждая за руль своего велосипеда, оглядывали друг друга, готовясь к испытаниям дня. «Проверим доспехи», говорили они, и только. Вместо «до свидания», вместо «увидимся». Маргарет поправляла воротник потертой кожанки Доми, а Доми подтягивала подруге шарф повыше на нос, чтобы не было видно лица. «Проверим доспехи», говорили они, прежде чем разъехаться в разные стороны. В этих словах заключалось все: будь осторожна, возвращайся невредимой, я тебя люблю.

А теперь она живет в тихом домике окнами на юг, с улицы льются солнце и воробьиный щебет, она в длинном свободном платье, под которым созревает Чиж. Пушистые тапочки, в таких уже не побегаешь. Серьги. Доспехи стали не нужны, и все же она особенно тоскует по Доми именно в такие минуты, вспомнив, что защищаться больше ни к чему.

Приехали погостить родители Итана, и Маргарет обустроила им спальню – будущую детскую, – постелила чистые белые простыни. На кухне мать Итана учила Маргарет печь картофельную запеканку с мясом, которую Итан с детства обожал. Итан любовался ими с порога: обе в передниках, позолоченные полуденным солнцем. Маргарет, с деревянной ложкой в руке, записывает на библиотечной карточке рецепт, а его мать кладет руку ей на живот, бережно, будто гладит младенческую головку.

Чиж рос: стал с персик, с манго, с дыню. Как разобраться в новых загадочных ощущениях, постичь тайну, что живет теперь в ее собственном теле? По улицам, как прежде шумным, Маргарет отправилась в публичную библиотеку – та вновь заработала благодаря пожертвованиям. Снова открылись магазины, один за другим, – с дорогими блокнотами, сладостями, украшениями; снова по тротуарам спешили прохожие. Как в первые теплые дни после долгой снежной зимы, всех тянуло к людям. В то краткое золотое время прохожие улыбались друг другу на ходу, радовались друг другу: ты жив? Я тоже! Поначалу все чувствовали только облегчение, страх еще не пришел. На воротниках и лацканах блестели красно-бело-синие значки.

В библиотеке в голову никому не приходило избавляться от книг, люди были рады, что снова можно приходить туда, где можно почитать в тишине. Молоденькая библиотекарьша водила Маргарет от полки к полке: Маргарет хотелось узнать не только о том, чего ожидать во время родов, а намного больше, и по вечерам она читала Итану вслух отрывки. Самка панды перед родами уединяется в логове, детеныш первые месяцы жизни проводит в темноте, и рядом с ним одна только мать. Кукушки откладывают яйца в чужие гнезда и улетаются, доверив другим птицам растить свое потомство. Самка осьминога, откладывая яйца, склеивает их в гирлянды, похожие на нитки жемчуга, и охраняет их, омывает струями воды, а потом умирает от истощения.

Она все тяжелела, Чиж молотил ей пятками в живот, как в барабан. Маргарет чувствовала, как он икает – чуть заметное «дерг!» – и как он ворочается. На что это похоже? – спрашивал в изумлении Итан, и Маргарет пыталась объяснить: как на море, когда волны накатывают на песок. Библиотекарша подсовывала ей книгу за книгой, все дальше и дальше от темы. Самки некоторых видов рыб размножаются без участия самцов – мечут икру, а из икринок вылупляются их точные копии. Одноклеточные и вовсе размножаются делением – аккуратно распадаются надвое. Что ни день, то новая книга, новое чудо. Еще одна частичка вечной тайны – потребности всего живого порождать новую жизнь. От мира животных – к миру растений: некоторые деревья из семейства молочайных выстреливают семенами далеко-далеко; сосновые шишки раскрываются прямо под материнским деревом, и крохотные, но выносливые ростки сражаются за место под солнцем. Суккуленты размножаются частями листа, выпуская корни в воздух, потом в почву, из кусочка самого растения вырастает новое. Вспомнилась часть библейского стиха, который мать заставляла ее учить наизусть для воскресной школы: «кость от костей моих и плоть от плоти моей».

Всюду находила она материнство, даже на грядке, когда ухаживала за растениями. Лучший способ, чтобы помидоры побыстрее налились перед заморозками, узнала она, – надорвать им корни. Тянуть, пока не треснет земля, пока тонкие корешки-паутинки не полопаются, как струны. Для растения это знак: конец твой близок, спасай что можешь. Не тянись ни ввысь, ни вширь. Все соки отдай плодам, зеленым, плотным, словно сжатые кулачки. Вложи в них все, что есть у тебя. Ну и пусть листья твои пожелтеют и сморщатся. Ну и пусть. Старайся, покуда ничего от тебя не останется, лишь сухой стебель, а на нем – алый шар. Иссохни, вложив себя в сладкий плод, с надеждой, что весной вновь прорастет твое семя.

Когда Чиж будил ее по ночам своими кульбитами, она писала – нежные строки, что лепились друг к другу, словно икринки. Стихотворение, два, потом десяток. Потом столько, что впору составить книгу. В одну из таких ночей, на девятом месяце беременности, ей отчаянно захотелось граната. И с утра Итан принес ей гранат, который она руками разодрала пополам. Наконец, после Кризиса, они вновь появились на прилавках, и чувствовалось в полной

мере, какая это роскошь – каждый словно шкатулка самоцветов. Блестящие зернышки дождем посыпались на пол, брызнул на кафель алыми каплями сок. Сколько деревьев способен породить этот шарик с плотной кожурой? Вот в чем его предназначение, поняла вдруг Маргарет, – сформировать все эти семена, а потом раскрыться. В животе брыкнул ножкой Чиж, на этот раз тихонько, играючи. Знает ли гранат, подумалось Маргарет, важно ли ему знать, куда деваются его семена, какие вырастают из них деревья? И вырастают ли вообще? Частички его пропавшего сердца. В новом краю взойдут.

Когда будет готова книга, это стихотворение станет заключительным.

Теперь ей больно сознавать: тогда она верила, что ПАКТ – это шаг вперед, трудности остались в прошлом. Они на пути к лучшей жизни. И если соблюдать правила, ее это не коснется. То и дело в новостях сообщали о беспорядках: дружинники ловили «радикалов», нарушавших общественное спокойствие, велись расследования «подозрительных действий». Но все это где-то далеко – отвлеченное, туманное. Единичные случаи. А настоящая жизнь здесь, рядом – вот Чиж тихонько ворочается в животе, словно покачивается на волнах кораблик; вот муж лежит рядом, такой теплый, надежный. Длинными вечерами они читали, сидя на диване, – она закидывала ноги ему на колени, и они зачитывали друг другу понравившиеся отрывки, и потом ей казалось, что она прочла его книгу, а он – ее. Она вязала крохотные носочки, Итан покрасил стены в детской. Когда Чиж бил ей ножкой в живот, она похлопывала в ответ. Она купила передник. Жарила курицу, расставляла по-новому посуду в шкафу.

Никогда в жизни она не была так счастлива.

Все это она рассказывает Чижу и между делом аккуратно накручивает на палец провода и заталкивает в пластмассовую крышечку. Поворот отвертки – и крохотная капсула запечатана, получилась круглая пластиковая пилюля.

Чиж, не выдержав, спрашивает: что это такое?

Соппротивление, – и Маргарет откладывает крышечку в сторону, к остальным.

Поползли слухи. О ночном стуке в двери, о том, как сажают детей в черные седаны и увозят прочь. Одна из статей нового закона разрешала властям забирать детей из семей, признанных «антиамериканскими». Кое-кто из журналистов на это указывал, когда ПАКТ был еще законопроектом; в конгрессе одна женщина-депутат задала вопрос, так ли это необходимо, не приведет ли к злоупотреблениям. Но всеобщее мнение – как в конгрессе, так и среди народа – было таково: лучшее – враг хорошего; лучше хоть что-то, чем ничего. Для национальной безопасности все средства хороши, ничего нельзя с ходу отменить. Конечно, никому не хочется разрушать семьи, разве что в самых запущенных случаях.

Некоторые из подобных случаев попадали в выпуски новостей. В округе Ориндж марш против притеснения китайцев вылился в потасовку со случайными свидетелями, а закончилось все спецназом и электрошокерами, баллон из-под слезоточивого газа попал в трехлетнюю девочку-китайку. Полицейского отправили в принудительный отпуск, а против родителей девочки завели дело. Ребенка взяли на демонстрацию не в первый раз, подчеркивали в новостях, в соцсетях мелькали фотографии – девочка на плечах у отца, в кенгурушке на груди у матери, словно пояс шахида. И неважно, что родители – американцы во втором-третьем поколении, что деда их жили в Лос-Анджелесе еще до того, как китайский квартал сровняли с землей, чтобы на его месте построить Центральный вокзал. Зато охотно публиковали фотографии родителей из полицейского участка – темные волосы, гневные глаза, лица явно «не наши». Чужие. Девочку забрали прямо из больницы. Лучший выход, гласили заголовки, ребенка надо уберечь от дурного влияния.

Маргарет, держа на руках сытого, уснувшего Чиж, читала в телефоне новости и думала: кошмар! Спрашивала себя: как могли эти люди рисковать ребенком? Пыталась представить себя с Чижом в гуще толпы: под ногами взрываются светошумовые гранаты, в носу жжет от слезоточивого газа. У нее даже думать об этом не получалось, внутри словно захлопнулась дверь. Вот он, ее Чиж, жив-здоров, у нее на руках. Длинные ресницы, а щечки – в жизни не доводилось ей трогать ничего мягче, нежнее. Меж бровей залегла крохотная складочка – что может присниться плохого такому крохе? Она разгладила складочку пальцем, и лицо его стало вновь безмятежным. Итан, сидевший рядом,

сжал ее плечо, погладил Чижа по макушке. Никогда в жизни не сделаю ничего подобного, молча клялась Чижу Маргарет. Ничего такого с нами не случится.

Следующая демонстрация в защиту китайцев в Куинсе была малолюдной, а вскоре они и вовсе надолго прекратились.

Мысли Маргарет занимали стихи, огород, муж. Чиж. Она сажала семена, поливала, ждала, когда проклюнутся зеленые ростки. Накрывала их на ночь картонками из-под молока, чтобы уберечь от холода. Связала Чижу кремовое шерстяное одеяльце. По ночам они с Итаном любили друг друга. Утром она, умиротворенная, пекла банановые коржики, слизывая с ложки мед.

Родители Итана навещали их при всякой возможности: на день рождения Чижа; на День всех святых, с конфетами, хоть у внука еще не прорезались зубы; на Рождество, с подарками тяжелее самого Чижа. Мать Итана рассказывала Маргарет, как вводить прикорм; однажды Маргарет задремала среди бела дня на диване с ошалевшим от плача Чижом на руках, и отец Итана укрыл их одеялом и выключил свет. О семье Маргарет они знали только, что она сирота, и оба, Маргарет и Итан, радовались, видя, с какой теплотой они приняли Маргарет.

Чиж – вылитая Маргарет, не раз повторяли родители Итана, и Маргарет с Итаном поначалу принимали это за комплимент, и, возможно, так и было, но потом стали задаваться вопросом, не замешано ли тут недовольство: мол, их единственный внук отмечен печатью чужих людей. На самом деле Маргарет и Итан считали, что Чиж похож на себя, на Чижа. Вечерами, любуясь спящим ребенком, они подмечали, где чья черточка – скулы как у Маргарет, ресницы как у Итана, – но настоящее сходство они улавливали в мимике: две морщинки на лбу у Чижа, когда он сосредоточен, ямочка на щеке, словно отпечаток пальца, когда он смеется. То есть морщинки Итана на лбу у Маргарет, ямочка Маргарет в уголке рта Итана. Странно и мучительно было видеть свои ужимки у этого маленького, самого любимого на свете человека, и они предчувствовали, что впереди их поджидает еще немало странного и мучительного, таков удел всех родителей.

Маргарет писала новые стихи. Снова стали издавать книги, и когда Чижу было три года, одно храброе маленькое издательство



отважилось выпустить ее сборник. На обложке – лопнувший гранат, похожий то ли на человеческий орган, то ли на открытую рану, и лишь присмотревшись, понимаешь, что это. Сборник «Пропавшие наши сердца» хвалили критики и почти никто не читал. Разошлось несколько десятков экземпляров, пожаловалась Маргарет Итану, разве кто-то в наше время читает стихи? – а Итан в ответ пошутил: а раньше их кто-то читал?

Да разве это важно? Вся жизнь для нее тогда была поэзией.

Она научила Чижа ловить светлячков, складываешь ладони ковшиком и смотришь, как лимонный свет льется сквозь пальцы. А потом отпускаешь на волю – пусть поднимаются к ночному небу гаснущими искрами. Учила его смотреть, притаившись в траве, как возятся в клевере соседские кролики, подкрадываться к ним близко-близко, так что тонкий белый пух у них на хвостах подрагивает от твоего дыхания. Рассказывала ему, как называются цветы, насекомые, птицы, учила различать птичьи голоса – тихое воркованье горлинки, резкий крик голубой сойки, переливчатую трель гаички, чистую и свежую, как прохладный ручеек в летний зной. Учила рвать цветки жимолости и пробовать на язык липкий сладкий нектар. Достала из-под сосновой коры сброшенную оболочку цикады, показала аккуратную щель снизу, откуда вышла взрослая цикада, превратившись из личинки в новое существо.

А еще рассказывала Чижу сказки. О воинах и о принцессах, об отважных девочках и мальчиках, о чудовищах и о волшебниках. О том, как брат и сестра перехитрили злую ведьму и нашли дорогу домой. О том, как девушка расколдовала своих братьев – диких лебедей. Древние мифы, что объясняли мир: почему подсолнух кивает, откуда взялось эхо, почему паук плетет паутину. Истории, что слышала в детстве от матери, до того, как та перестала говорить о подобных вещах, – о том, как давным-давно было на небе девять солнц, и чуть не спалили они землю дотла, но однажды храбрый лучник сбил их с неба, в каждое пустив по стреле. О том, как царь обезьян пробрался в небесный сад, чтобы похитить персики, дарующие бессмертие. О том, как двое влюбленных, разлученных навек, встречаются раз в году на небесах, перейдя через звездную реку.

Это все было взаправду? – спрашивал всякий раз Чиж, а Маргарет улыбалась и пожимала плечами: кто знает.

Она забивала ему голову небылицами, тайнами и волшебством – пусть в его жизни будет место чуду, тихая райская гавань.

На сегодня хватит, говорит она, отложив бокорезы.

Как ни суди, ведет она себя как эгоистка – растягивает минуты покоя, старается задержаться в милом сердцу прошлом, оставив на потом горькие признания. Но ей надо кое-что успеть до темноты, на это понадобится время.

Она раскладывает готовые крышечки в ряд, пересчитывает по парам. Пятьдесят пять. Намного меньше, чем за обычный день, но и немудрено – она увязла в трясине прошлого, и работа застопорилась. Все затормозилось. Пятьдесят пять маленьких кругляшей, внутри у каждого транзисторы, батарейка от часов, крохотный металлический диск. И провода, целый клубок проводов, туго набитых в крышку размером с монету и наглухо запечатанных, оружие – простое, грубое и действенное, как булыжник. Все крышечки Маргарет складывает в пластиковый пакет с желтой улыбающейся рожицей и надписью «Спасибо за поддержку!».

Она уходит к себе наверх, а Чиж ждет; возвращается она в мешковатой толстовке и в широкополой соломенной шляпе, точь-в-точь одна из тех бродяжек, что роются в мусоре в поисках бутылок.

Побудь здесь, велит Маргарет. И, чуть подумав, добавляет: бояться тебе тут нечего, ну а я скоро вернусь.

Говорит она твердым голосом, пытаясь убедить не столько его, сколько себя.

Никуда не уходи, добавляет она, и не шуми. Нацепив пакет с крышечками на запястье, берет из угла другой, с мусором, и вешает на плечо, в нем позвякивают жестянки и бутылки из-под лимонада. В воздухе пахнет кислятиной, то ли из пакета, то ли от ее одежды, то ли от нее самой.

И, бросив на ходу «Скоро вернусь», она выходит в коридор.

Оставшись один, Чиж берет со стола крышечку и крутит туда-сюда, проводя ногтем вдоль ребристого края. А в голове вертится мамина история.

Трудно вообразить мир, о котором рассказывала мама. Мир Кризиса и мир до него. Когда они изучали Кризис в школе, все это

звучало по-книжному, будто кто-то сочинил, чтобы преподать урок. Рассказ-предупреждение. А когда слушаешь маму, все по-другому. Понимаешь, каково было людям в Кризис, каким он был на слух и на вкус, представляешь маму посреди этого хаоса. Видишь, как изранили ее эти тяжелые дни.

Мама из прошлого была другой – под ее руками вылезали из-под земли кружевные зеленые листья, наливались разноцветные овощи. На ладонь ей садились пчелы; она делала ему бутерброды с маслом, рассказывала на ночь сказки, будто пряла золотую нить. Нынешняя мама существо совсем иной породы – худая, жилистая, диковатая, с хищным блеском в глазах. Волосы у нее невымытые, всклокоченные, и пахнет от нее чем-то резким, звериным. Глядя на нее, проще поверить ее рассказу – о Кризисе, о ее отчаянных поступках. О том, что ей помогло выжить. И это рождает тревогу: чем занята она сейчас? Перед глазами встает картина: мама, склонившись над столом, тихим голосом рассказывает ему истории, а в руке блестит свежесрезанный провод. Брови у нее сурово сведены. Чиж представляет крышки, бомбочки с часовым механизмом, что могут взорваться в любую минуту. Цветная шрапнель, готовая изрешетить город. Нет, на такое она не пойдет, не тот она человек, уверяет себя Чиж, но на деле сомневается. В маминых глазах он видит непреклонность, прежде незнакомую, блеск стальной бритвы – если засмотришься, полоснет.

Возвращается Маргарет все с теми же пакетами, один на плече, другой на запястье. Снимает шляпу.

Все хорошо? Не было страшно одному?

Ты три года где-то пропадала, хочет сказать Чиж, подумаешь, час-другой! И заставляет себя прикусить язык.

Все хорошо, отвечает он.

Маргарет запускает руку в пакет.

Я не знала, что ты любишь, вот и накупила всего.

Злаковые батончики, орехи, конфеты, суп в банках, соленый миндаль в пакетиках, упаковка риса «Минутка». Как будто обошла магазин, прихватив что-то с каждой полки. Чиж опечален и в то же время растроган: не представляя, чего он хочет, она изо всех сил старалась его порадовать.

Я так давно не... – оправдывается она.

И умолкает, глядя на гору лакомств.

Надо было настоящей еды тебе принести, говорит она виновато, и Чиж представляет ужин, которым она мечтает его угостить, – горячий, сытный, питательный. Овощи, картофельное пюре, лоснящаяся от масла кукуруза. Мясо, нарезанное тонкими ломтиками и красиво разложенное на белом фарфоровом блюде. Чиж понимает: за эти годы она совсем отвыкла о ком-то заботиться. Успела забыть, что существует такая еда, а тем более мир, где есть место таким ужинам.

Ничего, отвечает Чиж, все хорошо. И говорит он от чистого сердца.

Чтобы согреться, они решают съесть по миске лапши быстрого приготовления. Как видит Чиж, ни одной крышечки Маргарет не принесла назад.

Залив лапшу кипятком, Маргарет подает Чижу миску и пластиковую вилку. Лапша лимонно-желтая, на вкус очень соленая, но Чиж жадно на нее набрасывается. Маргарет усаживается за раскладной столик напротив Чижа, вилки у нее нет; чуть подумав, она начинает, прихлебывая, втягивать в себя лапшу прямо из миски.

И давно ты здесь живешь? – спрашивает Чиж, доедая остатки.

Почти месяц. Только «живу» – не самое подходящее слово. Это временно, пока я готовлюсь.

Это лишь вызывает у Чижа новые вопросы. Готовишься? К чему? Что ты затеяла?

Выпей молока, Маргарет наливает кружку и подает Чижу. От него кости крепнут.

Плеснув молока и себе, она делает глоток.

Да и хранить его негде, добавляет она. Холодильника здесь нет. Так что до дна.

Она достает из пакета банку, дергает за кольцо. В банке поблескивают, словно драгоценности, фрукты.

Десерт, объявляет Маргарет, водрузив банку на середину стола, и эта мелочь трогает Чижа до глубины души: мама не забыла, что он любит персики в собственном соку. Чиж цепляет вилкой золотистую дольку.

Нравится тебе в школе? – спрашивает вдруг Маргарет. Учительница хорошая? А в классе тебя не обижают?

Чиж, дернув плечом, вылавливает еще дольку. Если обижают, то из-за нее, но про это ей Чиж не станет рассказывать. Меня там зовут Ноем, говорит он. Папа им велел.

Маргарет задумчиво отставляет лапшу, почти нетронутую.

Он счастлив? – спрашивает она.

Спокойным, ровным голосом, будто о погоде. Выдают ее лишь руки – ногти с такой силой впиваются в ладони, что аж белеют.

Чиж, как большинство детей, почти не задумывался, счастлив ли отец. По утрам он встает, идет на работу; для Чижа он делает все, что нужно. Но если присмотреться, можно заметить грусть, Чиж думал, это библиотека на него наложила печать, но теперь понимает, что корни, возможно, гораздо глубже.

Не знаю, отвечает Чиж. Но заботится он обо мне хорошо.

Это нужно сказать непременно, хоть Чиж и сам до конца не понимает, для чего – в оправдание отцу или чтобы успокоить маму.

Мама улыбается мимолетной печальной улыбкой. Уж в этом я никогда не сомневалась, отвечает она. И спрашивает: он все так же читает словари?

Чиж смеется: да, каждый вечер.

Надо же, даже такую мелочь мама помнит! Теперь она уже не кажется ему такой чужой.

О тебе он говорить не любит, признается Чиж. Он сказал... надо жить так, будто тебя не существует.

Чиж боялся сделать маме больно, но, против ожиданий, она кивает.

Мы с ним решили, что так будет лучше.

Но почему? – решается спросить Чиж, и мама вздыхает.

Я пытаюсь тебе объяснить, Чиж. Честное слово, пытаюсь. Но сперва дослушай до конца, иначе не поймешь. Завтра, хорошо? Остальное завтра.

Когда Чиж уже на лестнице, Маргарет его окликает.

Хочешь, буду теперь называть тебя Ноем? Раз уж все тебя так зовут.

Чиж останавливается, перила скрипят под его рукой.

Нет, отвечает он, вспыхнув. Можешь звать меня и дальше Чижом. Если хочешь.



Наутро, сидя опять за столом, Маргарет работает проворней, пальцы так и мелькают, – она знает, что время уходит. Начинает она без предисловий, будто прыгает в океан, даже не успев испугаться.

Две недели назад Чижу исполнилось девять. За завтраком Итан вдруг замер, потрясенный, и положил перед Маргарет свой телефон. Сдвинув головы над экраном, они прочли заголовок: «СТЫЧКА ВО ВРЕМЯ ДЕМОНСТРАЦИИ. ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, ШЕСТЬ РАНЕНЫ». Под заголовком фотография чернокожей девушки: волосы заплетены в косички и собраны на затылке, желтая шляпка, очки. Она еще на ногах, глаза еще открыты и блестят, на губах застыл крик; она еще не поняла, но уже чувствует: на груди у нее алой розой расцветает кровавое пятно. В руках у нее плакат: «ВСЕ ПРОПАВШИЕ НАШИ СЕРДЦА». И подпись: «Мэри Джонсон из Филадельфии, 19 лет, первокурсница Нью-Йоркского университета, погибла от шальной пули во время разгона демонстрации против ПАКТа в понедельник».

Первая из множества подобных заметок, но фото везде будет одно и то же.

Та девушка, Мэри, прочла книгу Маргарет у себя в комнате студенческого общежития. Она изучала психологию развития, мечтала стать педиатром, и с каждой новостью о том, что из семьи забрали ребенка, в памяти у нее всплывали заключительные строки последнего стихотворения – и не давали покоя, как детский плач. Девять лет прошло после принятия ПАКТа, изъятия из семей множились, а те немногие, что попадали на первые полосы, выставлялись примерами преступной небрежности и равнодушия к детям, родители изображались неразумными, нерадивыми, черствыми, но были и другие случаи, о которых стыдливо умалчивали.

Подумаешь, слухи, отмахивались одни, детей отбирают только в виде исключения. Неизбежное зло, уверяли другие, – спасение, ради блага ребенка и общества. «Раскачиваешь лодку – не удивляйся, если твоего ребенка смоем за борт», – писал кто-то в интернете. Но на

каждый известный случай приходилось множество неизвестных – зачастую родители молчали, не возмущались, ничего не предпринимали в надежде безупречным поведением заслужить, чтобы им вернули детей.

Вечером накануне шествия Мэри купила ватман, толстыми, едко пахнущими маркерами написала по трафарету слова, а внизу нарисовала грустное детское личико. После демонстрации у нее в комнате на полу нашли маркеры и остатки ватмана, а рядом валялась книга Маргарет.

Потом – пикеты, акции в память о Мэри. В соцсетях люди ставили ее фото на аватарки: Мэри, Мэри, Мэри, молодая загубленная жизнь – целая толпа Мэри, у каждой в руках плакат со строчкой Маргарет. Строчку эту набирали в поиске, и всплывало имя Маргарет Мяо, название книги. Стихи, написанные, когда она носила Чижа под сердцем или в тумане бессонных ночей кормила его грудью, глядя, как небо из черного становится темно-синим, потом сизым, словно кровоподтек.

Ведь это даже не лучшая строчка, удивлялась она, даже не лучшее стихотворение – но, как видите, вот она, на плакате в руках у умирающей девушки, почти ребенка.

Строки эти начали появляться в интернете – стали девизом противников ПАКТа. На акциях протеста, что вспыхивали тут и там краткими выплесками боли и ярости. На значках, на стенах, на раскрашенных от руки футболках. Они по всему студгородку, рассказывал Итан, округлив от изумления глаза. Маргарет, увидев такое впервые, застыла как вкопанная посреди улицы и опомнилась, лишь когда на нее кто-то налетел и чертыхнулся. Для нее это было все равно что встретить на улице своего двойника. За всю жизнь она ни разу не была на демонстрации. Она и о ПАКТе всерьез не задумывалась, если уж говорить правду.

Кто-то вывел ее строки на стене Нью-Йоркского управления по делам семьи, на тротуаре у входа в министерство юстиции. По всей стране вспыхивали, словно пожары, выступления против ПАКТа. Демонстранты забрасывали яйцами – а потом и камнями – машины сенаторов и чиновников – сторонников ПАКТа. И каждый раз, каждый раз несли они плакаты со строками Маргарет. Акции были короткими,

единичными, но за это время прохожие успевали сделать фото, и вскоре снимки, а с ними и строки Маргарет разошлись повсюду.

Кто бы мог подумать, что стихи вдруг разлетятся по свету, сказала она Итану. Ни он, ни она не засмеялись. Из всех фантазмагорий последних лет в это верилось проще всего.

А потом в одной радиопрограмме навели справки о лозунге, о стихотворении. О Маргарет.

Кто вдохновляет этих безумцев-демонстрантов? – вопрошал ведущий. Ну так слушайте: Маргарет Мяо, поэтесса-экстремистка из Кембриджа, этой либеральной клоаки. И – вот так сюрприз! – она азиатского происхождения!

Эстафету подхватил телеведущий, ярый защитник ПАКТа. Американцы китайского происхождения? – не смешите меня! Всем известно, кому они на самом деле служат. Он показал во весь экран фото Маргарет с задней стороны обложки – пусть, мол, ее внешность говорит за себя.

Из-за таких, как она, продолжал он, нам и нужен ПАКТ. Вы знаете, кто ее аудитория, кто покупает ее книги? Ну так я вам скажу. Я изучил статистику. Молодежь. Студенты, старшеклассники. Может быть, даже учащиеся средних классов, кто знает. Самый впечатлительный возраст. А влияние этой женщины стремительно растет. Видели статистику продаж? Только на прошлой неделе продано четыре тысячи экземпляров ее книги. На этой неделе – шесть тысяч. На следующей будет десять. Говорю вам, надо вчитаться в ее стихи. Велика опасность, что наших детей разлагают, против этого и направлен ПАКТ.

На интернет-форумах – а вскоре и в органах власти – принялись разбирать по косточкам стихи Маргарет. «В новом краю взойдут» – не что иное, как призыв к распространению пагубных идей. А стихотворение о паучихе, отложившей яйцо, с пустым брюшком, где один только воздух, – это же метафора, нетрудно увидеть здесь образ Америки, цепляющейся за пустые идеалы до самого конца. А еще одно, о помидорных кустах, о том, чтобы «потревожить их цепкие корни»? Разве это не клич к подрыву устоев американского общества?

Антиамериканская идеология здесь налицо, а значит, налицо и опасность от чтения этих стихов. На сегодняшний день разошлось более пятидесяти тысяч экземпляров – небывалая цифра для



поэтического сборника, тем более вышедшего в карликовом издательстве. Это само по себе подозрительно; конечно, пусть этим займется Пентагон; не исключено, что эти строки содержат некий шифр. Так или иначе, стихи эти не просто антиамериканские, это подстрекательство к бунту. Пропаганда терроризма. Склонение к насилию. Посмотрите, сколько сейчас акций против ПАКТа.

Вот вам и живой пример, думал один чиновник, ставя на папку с делом Маргарет ярко-красный штамп. Родилась здесь, но только называется американкой. Видимо, все от родителей впитала. Чужой менталитет укоренен глубоко – может быть, все это в генах заложено. Таких, наверное, уже не исправишь.

Через неделю Маргарет позвонили из издательства: ее книгу запретили печатать, а все экземпляры со склада велели уничтожить. Вы и вправду готовы на это пойти? – спросила Маргарет, и редактор вздохнул. Был он белый, долговязый, в очках, знал наизусть чуть ли не всего Рильке; издательство снимало двухкомнатный офис в Милуоки. Несколько недель кряду ему угрожали по телефону и электронной почте, а на этот раз описали в подробностях, что сделают с его семилетней дочерью, если он не подчинится. И это еще не все, продолжал он. Суд требует проверить наши финансы и других наших авторов. Не только азиатских – всех. Не поддерживаем ли мы антиамериканский элемент. Нам прозрачно намекнули, что если мы пойдем наперекор, то нас закроют. Простите, Маргарет, мне так жаль.

Не прошло и месяца, как издательство все равно закрыли, все тиражи пустили под нож, все файлы уничтожили. Библиотеки после шквала звонков начали убирать книгу с полок. Сторонники ПАКТа устроили митинг в центре Бостона, на площади перед мэрией, – собрали книги Маргарет и сожгли в бочке из-под моторного масла. На почте стали вскрывать письма Маргарет и Итана.

Чем дальше, тем хуже. Кто-то раздобыл их адрес и номер телефона Маргарет и опубликовал в соцсетях. С припиской: *Сучка узкоглазая, пичкает наших детей отравой! Не нравится? – Позвони ей и скажи!*

Что нам теперь делать? – спросила она у Итана, нажав отбой. Телефон надрывался уже минут двадцать, сначала Маргарет принимала звонки и сразу отбивала, но каждый раз вновь начинался трезвон.

Итан обнял ее. В полицию он уже обратился; публиковать общедоступную информацию вполне законно, ответили ему. Итан выругался и повесил трубку. Дело было в субботу утром, в обычный день они сидели бы на кухне за столом и ели вафли, а на тарелках скакали бы солнечные блики. Вместо этого Итан все утро ходил по дому, задергивал шторы и отгонял Маргарет и Чижа от окон.

Когда-нибудь это кончится, уверяла Итана Маргарет. Рано или поздно. Когда-нибудь им надоест. Я даже на митинге не была ни разу. Подумаешь, стихи сочинила.

Нет, не кончилось. Никому не надоедало, кроме Маргарет с Итаном – и Чижа. Что у тебя с телефоном, спрашивал Чиж, кто все время звонит? На крыльцо им стали подбрасывать тухлую рыбу, пакетики с собачьим дерьмом, битое стекло, а однажды кто-то подкинул патрон. С тех пор Чижа никуда не выпускали одного, даже в палисадник.

Все с ума посходили, сказал ему Итан. Не бойся, все будет хорошо.

А вы знаете, сказал через несколько дней тот самый телеведущий, что у этой Маргарет Мяо есть ребенок? Девяти лет. Вот так-то! Представляете? А зовут его – вдумайтесь! – зовут его Чиж!

Комментарии в интернете:

*Издевательство над ребенком! Говорит само за себя.*

*Таким, как она, нельзя иметь детей.*

*Можете представить, чему она его учит дома? Врагу не пожелаю такой матери.*

*Бедный ребенок! Скорей бы опека до них добралась.*

В тот вечер, когда Чижа уже уложили, Итан получил по электронной почте письмо от матери: *Моя подруга Бетси мне прислала статью о Маргарет.* Статья была одной из многих, причем не все она пересылала, некоторые просто читала, когда они приходили от знакомых-доброхотов, иногда сразу по две-три. *Помню, ты говорила, у тебя сын женился. Не та ли это Маргарет Мяо?*

Статьи, новости и заголовки появлялись что ни день, родители Итана читали, обсуждали, сравнивали невестку – родного человека, горячо любимую жену сына, родившую им внука, – с персонажем из новостей. Ту, кого они знали, – а вправду ли знали? – с той, кого видели другие. Сколько раз они встречались? Успеешь ли за это время

как следует узнать человека? Раз в неделю родители звонили Итану, и он рассказывал о последних событиях: Маргарет по электронной почте завалили анонимками, на дверь им клеят записки. Лишь когда Итан выдохся, обессилив от страха и ярости, он заметил, что мать непривычно молчалива.

А с виду она сама доброта, сказала Итану мать с глубокой печалью, будто ее предали, и тогда Итан понял: у нее уже сложилось мнение и, как он ни старайся, изменить его не получится. Несколько недель родители ему не звонили, и когда он с Чижом переехал в общежитие, то не стал сообщать им новый адрес.

А потом была записка. Учительница, мисс Эрнандес, тайком подсунула Чижу в сумку клочок бумаги. *Глубокоуважаемые мистер и миссис Гарднер!* – писала она опрятным наклонным почерком. Высокие, горделивые Г. Пружинистые, упрямые П. – *В школу позвонили из службы опеки. В понедельник утром меня вызывают на беседу, наверняка скоро и с вами захотят поговорить.* – И дальше: – *Я сочла правильным вас предупредить.*

Предостережение. И, что тут говорить, добрый поступок.

В тот вечер Маргарет собрала вещи, все уместилось в рюкзак. Небольшой, чтобы не устать, если придется долго нести; спальник и все деньги, что удалось собрать. Спальник Итан ей дал свой. Теплый, сказал он с нежностью, достав его из шкафа, и от нее не укрылось, как прерывался у него голос в предчувствии будущих ночей, которые им суждено провести друг без друга. Взяв спальник, она отвернулась, будто бы пристегнуть его к рюкзаку, а на самом деле не могла вынести боли в глазах Итана и боялась, что и он не сможет видеть боли в ее глазах. Они условились: она не станет ни звонить, ни писать. Никаких зацепок. Телефон с собой не возьмет. Нужно разорвать все связи, чтобы не за что было ухватиться, нужно выкорчевать из их жизни мать-азиатку, предательницу. Не дать ни малейшего повода забрать Чижа. Чего бы это ни стоило, решили они. На все пойти, все что угодно сказать или сделать, только бы уберечь сына.

Наутро она попыталась проститься. Суббота на исходе октября, самое начало листопада. Мы не пропадем, заверил Итан. Обоим было ясно, что утешает он не только ее, но и себя. Он зарылся лицом в ее волосы, Маргарет уткнулась ему в грудь, и все слова, что она не решалась ему сказать, отчаянно рвались на волю. Когда они разжали

наконец объятия, то не могли посмотреть друг другу в глаза. Итан поспешно скрылся в спальне, ведь все уже сказано, а смотреть, как она уходит, невыносимо. Чиж, ничего не замечая, ползал на коленках по полу в гостиной и прилаживал друг к другу пластиковые кирпичики – строил дом, и крыша все время проваливалась, слишком высок был свод для его детских рук.

Чиж, окликнула срывающимся голосом Маргарет. Чиж, мне пора.

Она ждала, что, увидев рюкзак, он засыплет ее вопросами, ведь она с рюкзаком никогда не ходит. Что это у тебя? Куда ты? А можно с тобой? Но Чиж даже не обернулся. Сперва он не расслышал, так поглощен был делом, – Маргарет всегда пленяла в нем эта черта, как он умеет сосредоточиться, отключиться от внешнего мира, если в чем-то хочет разобраться.

Чиж, повторила она, на этот раз громче. Чиж, родной, я пошла.

Чиж не оглянулся, и за это она была ему благодарна – за то, что не придется смотреть ему в глаза в последнюю минуту, за то, что не подбежал, не уткнулся, как обычно, ей в живот, иначе как она нашла бы силы уйти?

Ага, сказал Чиж, и ее пронзила боль от того, насколько безгранично он ей доверяет – ни намек на сомнение, что она скоро вернется, как всегда. На пороге она оглянулась – посмотрела на него, поправила рюкзак и вышла, пока сердце не взяло верх над разумом.

Через два дня, когда к ним пришли из службы опеки, вещи ее уже были свалены в кучу перед домом. В ответ на вопросы Итан качал головой, а у Чижа внутри разверзлась пропасть. Нет, Итан не знает, где она сейчас. Нет, взглядов ее он не разделяет, ни в коей мере. Сказать по правде, совсем наоборот. Нет, положи руку на сердце, ему не жаль. Он жил с ней ради ребенка, но всякому терпению есть предел, верно? Ну... скажем так, он рад, что она не будет больше влиять на сына. Да, именно так. Скатертью дорожка.

Ее книги? Исключено. Крамола и мусор. Он все отправил в костер.

Автобус до Филадельфии, шарф до самых глаз, темные очки. В кармане одиннадцать тысяч долларов – почти все их сбережения. Плана у нее не было, только надежда: кое-кто мог бы ей помочь, приютить на время, пока она решает, что делать дальше. Но вначале,

перед этой передышкой, нужно исполнить долг, попросить прощения. Искупить вину. Съежившись в кресле, Маргарет надвинула вязаную шапочку на глаза, спрятала подбородок в воротник пальто. Загнала поглубже слезы. И стала смотреть, как за окном проносится серо-белой полосой шоссе. В соседнем кресле храпел усатый мужчина, и складки жира у него на шее подрагивали с каждым вдохом.

Предмесье, где выросла Мэри Джонсон: опрятные зеленые газоны с цветущими кустарниками и вековыми дубами, чистенькие деревянные домики, старые, но недавно покрашенные. Дом Мэри ничем не выделялся среди прочих, ни намека на траур. Но Маргарет его тотчас узнала, она не раз видела его в выпусках новостей, всегда с задернутыми шторами – защита от камер, что круглосуточно маячили рядом. Теперь, спустя несколько месяцев, здесь воцарилось хотя бы подобие нормальной жизни: в одном из соседних дворов с хриплым воем надрывалась воздуходувка, возле дома напротив старушка в цветастых садовых перчатках с учительской скрупулезностью обрезала хризантему. Дом Мэри выглядел нежилым, лишь машина на подъездной дорожке да тонкая щелка между занавесками, пропускавшая полуденный свет, выдавали, что в доме кто-то есть.

В детстве Мэри, наверное, здесь играла. Может быть, училась делать «колесо» на лужайке, чертила мелом классики на тротуаре. Может быть, знойными летними днями бегала к уличной поливалке, уворачивалась от струи, а потом, осмелев, подставлялась под нее. Маргарет видела ее в воображении, слышала ее визг – звонкий, словно колокольчик, совсем как у Чижа. Лямки рюкзака врезались в плечи, оставляя широкие красные полосы. Маргарет позвонила в дверь.

Открыла женщина старше Маргарет лет на десять – а Маргарет показалось, на целую жизнь. Лицо еще молодое, но в манере держаться усталость и тяжеловесность, будто на нее взвалили непосильную ношу. Из-за ее спины выглядывал муж – широкоплечий, сутулый, в очках на кончике носа, с газетой в руках.

Миссис Джонсон, мистер Джонсон, обратилась к ним Маргарет. Я пришла из-за Мэри.

И тут все выплеснулось бессвязным потоком: извинения и скорбь, признания, мольбы, раскаяние. Ее стихи, намерения, ужас и боль после гибели Мэри. Я не хотела, повторяла она. Я и представить не могла. Не ожидала. И, услышав свои же слова, поняла, что совершила

ошибку. Того, в чем она отчаянно нуждалась, – утешения, успокоения, отпущения грехов – нельзя было требовать у этих людей, нельзя было ожидать от них.

Меня преследуют, невольно вырвалось у нее. Жалобно, почти с мольбой, голос звенел от страха. Во всем винят меня. И поделом мне.

Родители Мэри безучастно застыли перед нею на пороге. Вот сосед выключил воздуходувку, и наступила тишина. Маргарет так и стояла на крыльце; не подумав, без предисловий она выложила все этим людям, потерявшим дочь. Это безнадежно, и она безнадежно глупа – разве такое могут простить?

Мне так жаль, выдавила она наконец и собралась уходить.

Зачем вы сюда пришли? – спросил отец Мэри. Сложил пополам газету, без гнева, спокойно, как будто начитался новостей на всю оставшуюся жизнь и никогда больше не возьмет ее в руки. Посмотрел на Маргарет в упор, не дрогнув – страх ему был теперь неведом. Ждете от нас каких-то слов? – спросил он. Нашей девочки больше нет, а вы сюда заявились – и чего хотите? Чтобы мы вас пожалели?

Говорил он тихо, как разговаривают в библиотеке, но лучше бы кричал, было бы не так страшно.

Вообразили, что все о ней знаете? – продолжал он. Всем им кажется, будто она им как родная. Все теперь думают, будто знают ее. Нацепили значки с лицом моей дочери, а самим дела до нее нет. Творят что хотят, прикрываясь ее именем. Для них она лишь лозунг. Ничего-то они о ней не знают, и вы ничего о ней не знаете.

Вокруг не умолкали звуки городской окраины – неторопливый шорох шин, карканье взлетевшей вороны, далекий собачий лай. Как всегда, и не подумаешь, что в мире кого-то не хватает.

Нечего тут сказать, заключил отец Мэри.

И отступил в полумрак, вглубь дома.

Маргарет и мать Мэри стояли друг против друга по разные стороны порога. Маргарет – на крыльце, на холодном ветру, с мокрыми от пота волосами, мать Мэри – вцепившись в дверной косяк, будто отпусти она руку, и дом рухнет. Стоя в тени, она щурилась, изучая гостью. Маргарет попыталась увидеть себя ее глазами. И запоздало подумала о том, что черные и азиаты – два разных мира, вращаются каждый на своей орбите, стараясь не пересекаться. Случай из детства: убита чернокожая девушка, по всему Лос-Анджелесу

полыхают пожары, горят корейские магазины. Родители ее, читая новости, возмущались: вот бандиты, вандалы! А через год в подъезде застрелили чернокожего парня – полицейский, нажавший на спуск, был китаец. Со всех сторон поднялся галдеж – несчастный случай, превышение полномочий, поиск виноватого, – и наконец между черными и азиатами вновь наступило шаткое перемирие. Мать Маргарет не раз толкал на улице черный подросток, распевая дразнилки про узкоглазых. И вспомнилось еще: вскоре после переезда в Нью-Йорк Маргарет выбирала однажды фрукты на лотке в китайском квартале, и мимо промчался черный на внедорожнике, из открытых окон так орал рэп, что Маргарет чуть не выронила грушу, а хозяин лавки, жилистый старик-китаец, стиснул зубы. Отморозки, сказал он таким тоном, будто ждал от нее согласия, и сплюнул, а Маргарет была настолько потрясена, что, к стыду своему, лишь молча кивнула, расплатилась и бросилась прочь. Вспоминать об этом ей так же тяжело, как нести за плечами рюкзак.

Простите, повторила Маргарет, мне пора.

У вас дети есть? – спросила вдруг мать Мэри.

Сын, ответила Маргарет. Был сын. И застыла, пораженная: «был». До чего же легко рассудок смирился с тем, чего не принимает сердце! Есть, поправилась она. Есть сын. Но я его больше никогда не увижу.

Между ними легло молчание, тянулось, сгущаясь, окутывая обеих. И тут, к изумлению Маргарет, мать Мэри коснулась ее руки: так мы с вами товарищи по несчастью, хуже не бывает.

В доме у Джонсонов было прибрано и уютно, но следы Мэри остались повсюду. Мистер Джонсон, ни слова не сказав, посмотрел на жену, покачал головой и исчез наверху, а миссис Джонсон повела Маргарет в гостиную. На каминной полке стояла фотография в рамке: Мэри в мантии и квадратной шапочке, под мышкой свиток, словно охапка цветов. Выпускной, пояснила миссис Джонсон. Отличница, ей доверили выступать с приветственным словом. В углу – пюпитр, футляр для флейты, сборники нот.

Она играла в маршевом оркестре. Но больше любила классику.

Миссис Джонсон смахнула с кожаного футляра пылинку.

Мне хотелось, чтобы она и в университете музыку не забрасывала. Но она сказала, что времени не будет. У нее было столько

планов!

Маргарет так и стояла с рюкзаком за плечами, не понимая, можно ли ей остаться. Здесь, в тесной гостиной, она чувствовала себя огромной и неуклюжей, стоит шевельнуться – и разобьется хрупкая частичка прошлого. Маргарет старалась не дышать – можно подумать, от этого что-то изменится.

Миссис Джонсон взяла с каминной полки фарфорового слоника, повертела в руках. Нашла то, что искала, и показала Маргарет: задранный вверх хобот опоясывала трещинка, замазанная клеем.

Видите? Это мне подруга из отпуска привезла, из Индии. Мэри было тогда лет семь-восемь. Ей очень понравился этот слоник. Она с ним играла, в кармане носила, всюду таскала с собой. Прихожу однажды с работы, а у него хобот отбит. Как же я ее ругала! Дескать, не бережешь чужие вещи, говорила же я – осторожней, почему не слушаешь? А она: нет, мама, я хотела посмотреть, что у него внутри. Выходит, нарочно разбила. Я ей говорю: ты наказана, на месяц. На другой день прихожу – и вот что вижу.

Она чуть повернула ладонь, и слоник сверкнул на солнце.

Она его склеила. Трещины почти не видно. Только если знаешь, куда смотреть.

Миссис Джонсон бережно поставила слоника обратно на каминную полку.

Вот такая была Мэри, сказала она. Никто этих мелочей не помнит, только я.

Они постояли молча. В луче, что пробивался в щель между занавесками, плясали пылинки.

Расскажите мне? – Маргарет взяла ладонь миссис Джонсон в свои ладони, и миссис Джонсон не отстранилась. Маргарет повергла в смущение эта незаслуженная милость. Расскажите мне о ней? – попросила Маргарет. Какая она была? Что она была за человек?

Расскажу. Но только если вы обещаете помнить. Помнить, что она была живой человек, а не лицо с плаката. Что она была ребенок. Мой ребенок.

Маргарет задержалась у них на два дня и все это время слушала. Слушала, а мать Мэри рассказывала все, что приходило в голову. Мистер Джонсон ее избегал, смотрел настороженным, колючим



взглядом и всякий раз спешил мимо, спрятав очки в нагрудный карман рубашки.

Не доверяет он вам, сказала миссис Джонсон, глядя вслед мужу, когда тот шел по коридору. Она не извинялась за него, лишь констатировала.

Миссис Джонсон провела Маргарет в комнату Мэри, и там они просидели до заката. Миссис Джонсон блуждала по комнате, рассказывала вполголоса, трогала то одно, то другое, вспоминала. Брала в руки то расческу Мэри, то кольцо, то обкатанные морем камушки, что Мэри хранила на подоконнике, и каждый предмет, словно талисман, будил воспоминания. Все истории были о пустяках. Поездка к тете в Северную Каролину, день в парке развлечений, первый приезд в Нью-Йорк – Мэри, худенькая неуклюжая девочка-подросток, сказала: мама, хочу здесь жить. Все истории были драгоценны до боли. О том, как маленькая Мэри пукнула в церкви, когда священник сказал: «Помолимся!» О ее любимых красных туфельках, с которыми она никак не желала расстаться, даже когда из них выросла, – твердила, что они ей как раз, пока они не разъехались по швам. О том, как в старших классах она вырезала из журналов редкие слова и складывала в голубой конверт – «суспензия», «меласса», «остракизм». Мне просто нравится, как они звучат, объясняла она.

Для чего она их собирала, не знаю, сказала миссис Джонсон.

Она все не умолкала, перебиралась от одного воспоминания к другому, словно переходила по камушкам через океан. Запоминайте, повторяла мать Мэри снова и снова. Берегите. Как будто каждое воспоминание – бусинка: того и гляди выскользнет из пальцев, упадет на пол, закатится в щель и затеряется. Так оно и было. По ночам, забравшись в спальник в гостиной у Джонсонов, Маргарет записывала рассказы матери Мэри, и каждая деталь отзывалась в ней эхом, точно удар колокола. Но пока миссис Джонсон говорила, Маргарет просто слушала, слушала, слушала.

На второй день вечером заглянул из коридора отец Мэри. Окинул взглядом двух сидящих женщин – жену на кровати, застеленной цветастым покрывалом, Маргарет на полу.

Знаете, какие я ей сказал последние слова? – спросил он.

Ни приветствия, ни вступления. Как будто он долго ждал нужной минуты, чтобы сказать это и только это.

Она мне рассказала по телефону. О том, что назначен митинг против ПАКТа, что она собирается выйти с плакатом. Я ей: Мэри, это не твоя забота. Думаешь, эти азиаты хоть пальцем шевельнут ради тебя? Думаешь, кому-то из них есть дело, когда к нам пристают в магазинах или когда нас убивают на остановках? Ну и ты махни рукой.

Он помолчал.

Она рылась в архивах, продолжал он. Родословную нашу изучала. В старших классах заинтересовалась. Целыми днями пропадала в библиотеках, просматривала базы данных, материалы переписей, искала свои корни. Наши корни. А нашла большое белое пятно. Никаких упоминаний до отмены рабства – за одним исключением. Купчая – возможно, на моего предка, одиннадцати лет. На имя некоего мистера Джонсона из округа Албемарл, штат Виргиния.

И снова молчание. Он глянул сверху вниз на Маргарет, а она снизу вверх на него. И вновь приготовилась слушать.

Не хотел я ее отпускать, а она уперлась. Говорит: папа, нельзя отбирать детей у родителей, сам понимаешь. И ссориться со мной не хотела, так что мы распрощались, а на другой день она пошла на митинг.

Он так и стоял в дверях – сильный человек, сокрушенный горем. Мать Маргарет при встрече на улице с такими, как он, переходила на другую сторону. Брезговала? Или боялась? Неизвестно, да и вряд ли это важно. На заводе, где работал отец, черных можно было по пальцам сосчитать, и ни с кем из них отец не сближался. Не мой круг, говорил он, а Маргарет не допытывалась, что это значит.

Вы были правы, сказала наконец Маргарет. По-своему правы. Но и Мэри была по-своему права.

Робкая попытка подступить к узлу, который предстоит распутывать не одному поколению.

Мистер Джонсон сел на кровать рядом с женой, та обняла его, уткнулась ему в плечо – так они и сидели молча в комнате Мэри, осиротевшие родители и Маргарет, свидетель их утраты.

Много, много позже отец Мэри сказал: знаете, что мне все время приходит на ум? Как я однажды вечером вернулся с работы.

Воспоминания сочились капля за каплей, как вода сквозь камни.

Не помню даже, сколько лет ей было тогда. Может, пять, а может, пятнадцать.

Маргарет в его словах не усомнилась, она-то знала, как ускользает и растягивается время, если речь о твоём ребенке, как оно движется не по прямой, а по бесконечной спирали, виток за витком.

Вхожу в дом, слышу – она смеется, рассказывал отец Мэри. Ха-ха-ха да хи-хи-хи! Со смеху покатывается, аж слезы из глаз. Заглянул я в комнату, а она по ковру катается. Хохочет, и все тут. Спрашиваю: Мэри, что смешного? А она не унимается. Тут и я не удержался, ну что поделаешь!

Он и сейчас был на волосок от смеха – воспоминание возвращало его в прошлое, заставляя смеяться.

Наконец она утомилась, лежит на ковре, в потолок глядит, еле дышит, и улыбка до ушей. Мэри, спрашиваю опять, что смешного? А она как вздохнет, глубоко-глубоко. До чего же она казалась счастливой! Да все, отвечает она. Все смешное!

На прощанье Джонсоны обратились к Маргарет с просьбой и сообщили ей имя.

Напишите о ней стихи, попросил мистер Джонсон, она была бы рада. Посвятите ей стихи, хорошо? Пусть ее и другие помнят.

Попробую, обещала Маргарет, зная наперед, что ни одно стихотворение не сможет вместить Мэри, как ни одно стихотворение не сможет вместить Чижа. Слишком многое останется недосказанным.

Миссис Джонсон ни слова не сказала, просто обняла Маргарет, даже еще крепче, чем та ее. Больше они никогда не увидятся, но отныне они связаны, как связаны люди, вместе прошедшие через тяжелое испытание, даже если не осознают этой связи.

А имя... они назвали имя библиотекарши – точнее, Джонсоны знали лишь фамилию. Миссис Эдельман то, миссис Эдельман се, только и слышно было от Мэри в старших классах; все свободное время она пропадала в библиотеке, рассказывала ее мать. Сядет на углу в автобус и едет через весь город. Маргарет туда пошла пешком, ориентируясь по автобусным остановкам, автобусы мимо ходили часто, и Маргарет, глядя на них, убеждалась, что она на верном пути. По дороге ее обогнали шесть автобусов, – и, возможно, потому на ступеньках крыльца ее посетило чувство, что она здесь не впервые,

что ее двойник или двойники уже здесь, уже узнали то, что ей только предстоит узнать.

Библиотеку она представляла мраморной громадой, но эта, против ожиданий, оказалась теплой и уютной, точно тетушкина гостиная; стены, ковер, полки, всё медового цвета, и на весь зал один человек – библиотекарша за стойкой, пожилая, с седой прядью у виска, будто молния, рвущаяся из головы, глаза пронзительные, осанка гордая, королевская – и Маргарет доверилась чутью.

Миссис Эдельман? – начала она. Я пришла из-за Мэри.

Библиотекарша долго молчала, только смотрела на Маргарет, словно где-то ее уже видела и теперь припоминает. И лицо ее переменялось, как меняется небо, когда свежий ветер гонит облака.

Ах да, я знаю, кто вы.

И, помолчав, добавила: это я ей дала вашу книгу.

Все эти годы она снабжала Мэри книгами. Дружба между ними завязалась, когда Мэри пришла сюда впервые, изучать свои корни. Миссис Эдельман помогла ей найти архивы, связаться с историческими обществами, и у нее на глазах Мэри обнаружила пробел в своей родословной. У самой миссис Эдельман бабушка и дедушка в тридцатых годах бежали из Мюнхена, а вся семья осталась в Германии, но при всех различиях она по себе знала, как это больно, когда не можешь заполнить белые пятна в семейной истории. Мэри росла у нее на глазах, кругозор ее расширялся, и миссис Эдельман нравилось быть рядом, предлагать все новые и новые книги девочке, чья жажда знаний была неутолима. «Записки сына Америки». Биографии Ганди и Грейс Ли Боггс<sup>[7]</sup>. Книги об экологии, о картах таро, об исследовании космоса и изменениях климата. И стихи. Начала Мэри с поэтов из школьной программы, с Китса, Вордсворта и Йейтса, пришла поискать что-нибудь еще, и миссис Эдельман ей подсовывала Люсиль Клифтон, Адриенну Рич, Аду Лимон, Росса Гэя. Мэри все книги исправно возвращала через две недели, ни разу не просрочила. Перед отъездом в университет Мэри зашла на прощанье в библиотеку, и миссис Эдельман протянула ей небольшой голубой сверток. На форзаце книги было написано: «Возвращать не надо». На обложке – фото крупным планом: раскрытый гранат, зернышки сверкают, словно драгоценные камни.

Сейчас ее изъяли, пояснила миссис Эдельман, решение принимала не я. После гибели Мэри стали приходить люди, просили книгу. Но потом, когда на вас ополчились ведущие на всех каналах, люди испугались. Спрашивали: разве можно держать такое в библиотеке? Если автор экстремистка, вдруг книга попадет в руки детям? В итоге наверху решили, что проще будет ее изъять. Мэр запаниковал. Друзья мне рассказывают, что и в других местах то же самое творится. И не только вашу книгу изымают – все, что хоть отдаленно связано с Китаем. И с Азией. Все, что может представлять опасность.

Это же трусость, возмутилась Маргарет, а миссис Эдельман ответила: у них тоже дети есть, сами понимаете.

Они надолго замолчали.

А что ваш сын? – спросила миссис Эдельман. В новостях говорили, у вас сын есть. Сколько ему?

Девять, ответила Маргарет. Летом будет десять.

В наступившем молчании она пыталась представить день рождения Чижа. Будет ли торт? Со свечами? Как будут праздновать? Вспомнит ли он о ней? Но ей рисовалась лишь темная комната, больше ничего.

Значит, пока вас не устранили из его жизни, вы устранились сами.

Маргарет молча кивнула.

Мэри это поразило в самое сердце, продолжала миссис Эдельман. То, что детей отбирают, чтобы заткнуть рты родителям, – и ни слова в новостях. Все молчат, будто ничего не происходит, мол, так им и надо. Тем, у кого детей отобрали.

В новостях показывали лишь отдельные случаи – те, где все очевидно и правильный ответ напрашивается.

И сколько таких? – спросила Маргарет.

Больше, чем вы думаете, сказала миссис Эдельман. И под прицелом не только участники протестов. Все, кто против ПАКТа. И с каждым днем их все больше.

Маргарет восторгалась, будто поймала волну, которую прежде не улавливала. За окном стемнело, библиотека уже закрылась. За это время больше никто не зашел.

Теперь посетителей поубавилось, сказала миссис Эдельман. Боятся. Если кто и заглянет, то надолго не задерживаются – берут что

нужно, и до свидания.

Где мне их искать? – спросила Маргарет. Те семьи. Как на них выйти?

Вот что я слышала, отвечала миссис Эдельман с расстановкой. Кое-кто пытается искать детей, которых забрали, в надежде вернуть их родителям.

Есть ли еще надежда, засомневалась Маргарет, если их так много?

Спустя девять лет после принятия ПАКТа бороться с ним было все равно что бороться с земным притяжением или с приливами-отливами. Ох уж эти протесты, качали головами люди на улицах и на телеэкранах. Пустая трата сил. Только нам, мирным гражданам, житья не дают.

Библиотекарша пожала плечами: да что вы говорите! Если толку от протестов нет, тогда почему вы здесь?

Где мне искать эти семьи? – спросила Маргарет, и миссис Эдельман ответила: я знаю про одну.

Маргарет шла, можно сказать, на шепот. От имени, что сообщила ей миссис Эдельман, тянулись нити к другим – к подруге, к сестре соседки. Кто-то про кого-то слышал, кого-то знает. Ни электронных адресов, ни телефонов – ничего, что позволило бы вычислить человека. Маргарет разыскивала одну семью за другой, ссылаясь на тех, от кого узнавала имена. И слушала.

Мало-помалу у нее сложилась картина, почему такое происходит с людьми. Вы что-то сказали, и кому-то не понравилось. Вы что-то сделали или чего-то не сделали, и кому-то не понравилось. Или вы журналист и написали статью о том, как детей разлучают с родителями, или упомянули о нападениях на азиатов, или посмели усомниться, стоит ли их считать врагами. Или критиковали в соцсетях ПАКТ, или власть, или Америку. Или вас повысили по службе, на зависть коллеге. А может быть, вы и вовсе ничего не сделали. Скоро к вам в дом постучатся. Нам позвонили, скажут они, но ни за что не признаются кто, сославшись на личную тайну. Как известно, люди должны быть уверены, что имена их останутся в тайне, иначе ничего не выйдет.

Не беспокойтесь, скажет кто-то из полицейских, наверняка ничего страшного, просто наш долг убедиться.

Бывает, и вправду ничего страшного. Если вы человек со связями, если вы проявляете должную почтительность, а может быть, у вас есть друзья в мэрии, или в правительстве штата, а еще лучше в конгрессе, если в ходе расследования выяснилось, что вы жертвовали деньги нужным людям или, может быть, готовы пожертвовать сейчас, — возможно, вам и удастся доказать, что вы не станете внушать детям пагубных идей. Но гораздо чаще есть чего бояться. Обычно уже к приходу полиции что-нибудь да отыщется. Вы что-то сделали или чего-то не сделали, что-то сказали или не сказали. Если вам нечем откупиться, если у вас нет ни денег, ни связей, то кончится тем, что ребенка у вас заберут — посадят на заднее сиденье машины, которая ждет возле дома, и увезут в неизвестном направлении.

Раньше Маргарет думала, что это лишь отдельные вопиющие случаи, о них-то и рассказывают в новостях, в назидание всем. Но обычно — как она узнала, когда нашла одну семью, другую, — все делалось без шума. Ни слова в новостях — детей просто забирали и отправляли в приемные семьи. Родители молчали: говорить о ПАКТе значило критиковать ПАКТ, а это лишнее доказательство их неблагонадежности. Большинство молчали в надежде, что за молчание им вернут отнятое. Люди никуда не отпускали детей, прикусили языки. Избегали обсуждать ПАКТ из страха, что придет их черед. Редакторы и продюсеры все чаще пускали в ход красные чернила: вот это лучше вычеркнуть, не будить лихо. Все менялось постепенно, незаметно, как наползает вечером тьма. Теперь лишний раз задумаешься, прежде чем открыть рот или коснуться клавиатуры: а стоит ли это говорить? Прежде чем что-то сказать, оглянешься на детскую кроватку в углу, на ребенка, играющего на ковре.

Встретившись с пятью семьями, Маргарет убедилась: таких людей больше, чем она думала, больше, чем можно вообразить. Это началось давно, а она не знала. Нет, сказала она себе, не желала знать.

К тому времени, как она разыскала седьмую семью, у нее кончились деньги. Вдобавок приходилось быть осторожной: прохожие на улице вряд ли ее узнают, но если ее остановит полиция, даже по самому пустячному поводу, то потребуют документы, и все обнаружится. У нее были поддельные права, купленные за сто долларов в подворотне, — чужое имя, фото китайки, с которой нет

никакого сходства, разве что прическа да настороженный взгляд. Но ее пробьют по базе, и сразу же откроется обман. И все завертится: ее арестуют за проживание по фальшивым документам, начнется расследование, проверят дела подозрительных лиц, и рано или поздно выяснится, кто она. Маргарет Мяо, с которой связаны десятки провокаций, каждый плакат против ПАКТа с ее словами – на ее совести, а теперь она в ответе и за смерть Мэри.

Потому она соблюдала осторожность – держалась тихих улочек, старалась ничем не выделяться. Вспоминала родителей, вспоминала девиз, под которым прошло ее детство: не высывайся. За эти годы если что и изменилось, то лишь в худшую сторону. Она вспоминала потрясенный мамин голос во время их последнего разговора, пыталась представить лицо отца за миг до того, как его толкнули. Гадала, каких бед еще ждать. Спрячься, сказали бы ей родители. Пригнись, чтобы тебя не заметили. Но прятаться она не желала. Теперь она поняла, что таких историй намного больше, чем она думала. Каждый из ее собеседников знал кого-то еще, а то и не одного. Маргарет подсчитала в уме. Слишком много, не открестишься. Неужели никто не замечает?

Выйдя из автобуса в китайском квартале, Маргарет двинулась по Третьей авеню на север, прямо и прямо, пересекая улицу за улицей. Той же дорогой пойдет через несколько лет ее сын. По пути она вспоминала, как ездила на велосипеде через весь город, от тесной квартирки, где жила с Доми и компанией, в их с Итаном тихую светлую обитель. Она не забыла, что надо обходить стороной углы, где стоят полицейские, избегать открытых мест, – и обходила их, шла окольными путями, переулками, выбирала безопасные маршруты. Вот наконец и он, на Парк-авеню, особняк из красного кирпича с массивной дверью цвета зеленого яблока. Над дверью белая арка, под нею круглое окошко, словно зоркий глаз циклопа.

Здравствуйте, сказала она, когда ей открыли. Дворецкий – средних лет, белый, в строгом темно-синем костюме и с почтительной миной. Это и есть особняк Герцогини?

Маргарет провели через вестибюль с мраморным полом, потом вверх по широкой лестнице, и наконец перед ней предстала она. Чуть раздобревшая, чуть постаревшая. От носа к уголкам рта пролегли



морщинки, взгляд усталый, под глазами голубоватые тени. Но, по большому счету, все та же.

Так-так... протянула Доми. Смотрите, кто пришел!

Маргарет не надеялась вновь увидеть Доми. Достаточно вспомнить, как они расстались, и те слова, что бросила ей Доми на прощанье: «Тварь продажная. Шлюха. Катись к черту». Маргарет вычеркнула Доми из жизни, воспоминания о ней спрятала подальше, запечатав наглухо. И вдруг, через несколько лет, уложив Чижа и просматривая новости, наткнулась на заголовок: «Самый большой дар Нью-Йоркской публичной библиотеке». Имя внизу – словно призрак, вынырнувший из тени: «Доминика Херцог, наследница короля электроники. Херцог Текнолоджиз». И фото. В последний раз она видела Доми в косухе и ботинках на рифленой подошве, и то и другое досталось ей от Маргарет. Светлые волосы были собраны в грязноватый хвостик. А на фото она выглядела безукоризненно, костюм от «Шанель» сидел как влитой. Волосы пепельно-золотистые, стрижка каре, которую Доми всегда высмеивала – «под жену богача», говорила она, вспоминая о мачехе.

Маргарет просмотрела статью. Новая хозяйка «Херцог Текнолоджиз». Фирму основал ее отец, а Доми унаследовала после его смерти. Революционные аудиокомпоненты – самые маленькие и легкие, новое слово в мобильных технологиях. И подпись под фото: «Мисс Херцог у себя в резиденции на Парк-авеню».

Маргарет вспомнила дом – особняк, один из немногих в той части города, на красной кирпичной стене блестит золотом номер, над входом потемневший от времени фонарь на витом железном кронштейне. «Змеюки», – Доми указала взглядом на переплетенные железные прутья, в детстве они ей напоминали змей. В тот день они с самого утра ничего не ели; Маргарет помнит, как бурчало у нее в животе, как гудели ноги. Как они смачно плюнули на тротуар. «Пошел ты к черту!» – взвизгнула Доми, заглянув в окно, а когда за стеклом замаячило лицо отца, схватила за руку Маргарет, они оседлали велосипеды и с хохотом укатили прочь, налегая на педали так, что заныли икры.

Выходит, Доми все-таки позвонила папочке. Маргарет закрыла окно браузера. «Сама ты катись к черту, Доми!» – подумала она.

Но все эти годы Доми напоминала о себе короткими яркими вспышками. Пожертвования женским приютам, продовольственным фондам, профсоюзам, медицинским организациям. Помощь библиотекам, то одной, то другой – по всему Нью-Йорку, по всей стране. Маргарет сопоставляла эти поступки с той Доми, которую знала раньше, будто подносила к свету запечатанный конверт, пытаясь разобрать, что за послание таится внутри. В ночь перед отъездом она записала номер дома на Парк-авеню – только сюда можно обратиться за помощью, к единственной, кроме Итана, кому она небезразлична, – и спрятала в самом надежном месте, потому что слишком уж больно сжигать за собой все мосты.

И вот она здесь. Есть в жизни странные параллели, подумалось ей: много лет назад она покинула Доми, чтобы укрыться у Итана, а теперь, наоборот, сбежала от Итана к Доми. Доми коснулась руки Маргарет, и руки ее – те самые, что сжимали в темноте ладонь Маргарет, красные и обветренные, – теперь были белые, мягкие, как сдобное тесто. Маргарет поцеловала ее в щеку, и щека тоже была нежная, такая нежная, что Маргарет ожидала на месте поцелуя увидеть ямку.

Рада тебя видеть, сказала Доми.

Итак, Доми все-таки тоже решила спрятаться. В самый разгар Кризиса, примерно в то же время, когда Маргарет уехала из Нью-Йорка, Доми позвонила отцу: помощи – и не прошло и часа, как он прислал за ней машину. Из Нью-Йорка он увез ее в спокойное место, в летний домик в Коннектикуте, где Доми в прошлый раз была очень давно, в детстве, – отец его построил, когда земля стоила дешево, его компания только набирала обороты, и больших денег у него еще не водилось. Когда он был просто Клодом Херцогом, молодым предпринимателем; когда жива была мать Доми. Компания расширялась, он скупал все новые участки леса вокруг домика, поставил мощный электрогенератор, перекрасил стены – и все равно дом оставался хижинкой, затерянной в глуши, на берегу скалистой океанской бухточки. И если переживать тяжелые времена, то где, как не здесь, в уголке из тех времен, когда перед ним расстилалось будущее и мир был полон возможностей? Домов у него было несколько, но только здесь не тревожили ни шум уличных протестов,

ни зловещие затишья, слышен лишь мерный рокот прибоя. Можно бесстыдно наворачивать пирожные, когда у других нет и корки хлеба.

Доми зашла, стуча по деревянному полу ботинками со стальными носами, привезла с собой городскую грязь, вьевшуюся в загрубевшие ладони. На кожаном диване сидела мачеха с журналом, зато спальню свою Доми застала такой же, как в детстве, когда ее обставляла мама, – все розовое, в кружевах и жемчугах. Добро пожаловать домой, смущенно сказал отец. Эльза неохотно оставила ее одну; так они втроем и пережили Кризис – держась друг от друга на почтительном расстоянии, застыв в прошлом, точно мухи в янтаре. Их богатству, словно кораблю-исполину, не страшны были бури и волны, что сокрушали лодки поменьше. Они могли заказывать все что угодно, по какой угодно цене, хоть до бесконечности. Оставалось только ждать.

Потом был принят ПАКТ, а через несколько месяцев отец с Эльзой полетели на Мальдивы – на выходные, отпраздновать возвращение к нормальной жизни, – и их личный самолет упал в Тихий океан. Все досталось Доми: виллы в Малибу и в Провансе, квартира в Шестнадцатом округе Парижа и особняк на Парк-авеню; империя электроники, чуть измельчавшая за годы Кризиса, но по-прежнему выпускавшая комплектующие для телефонов и «умных» часов и далеко не убыточная. И в придачу все секреты: жалобы от рабочих с отцовских фабрик в Ханое и Шэньчжэне на переработки и вредные для здоровья материалы – долгие годы все это оставалось без внимания. Взятки сенаторам, которые проталкивали законы о налоговых льготах для таких, как отец, и поддерживали ПАКТ со всеми вытекающими.

Я узнала, рассказывала теперь Доми, лишь малую часть того, что он делал. Ради меня – или так ему казалось.

Они с Маргарет сидели во внутреннем дворике со стеклянной крышей, держа в руках запотевшие бокалы чая со льдом. Доми называла его «зимним садом». Зеленый островок с туями в горшках, в самом сердце дома-сейфа. С четырех сторон их окружали прочные кирпичные стены, а за стенами – комнаты с добротной мебелью, набитые дорогими безделушками, что всю жизнь коллекционировал отец Доми. Сверху их защищало от дождя толстое стекло. С улицы их было не видно, не слышно; впервые за долгие недели Маргарет смогла

перевести дух и все равно почему-то чувствовала себя букашкой в банке.

Ну так что? – спросила Доми. Какие планы? Забаррикадироваться здесь со мной? Раздобыть фальшивый паспорт и бежать из страны?

В голосе ее сквозила легкая насмешка, то ли над Маргарет, то ли над собой. Конечно, ей, Маргарет, есть где укрыться; можно сменить имя, лечь на дно. Не высовываться, начать все заново. Снова вспомнились родители, то, как они всю жизнь прожили, прячась от бед, и в конце концов беда сама к ним постучалась. Может быть, хоть иногда птице, выглянувшей из листвы, удастся взлететь. Может быть, хоть иногда торчащий гвоздь вонзается в ногу, когда на него наступают.

Прятаться не собираюсь, отвечала Маргарет. У меня другой план.

План еще не до конца созрел, была лишь потребность – потребность наверстать годы жизни с закрытыми глазами, годы сознательного безразличия: дескать, не мой ребенок, не мое дело. В ней зарождалась идея, что делать с историями семей, с посланиями, полными надежд и любви, тревоги и печали. Собирать их, словно рисовые зернышки после обмолота. Попытаться найти как можно больше.

А Доми она сказала: мне нужна твоя помощь.

По всей стране, вдоль и поперек, отслеживала она потоки информации. Электронную почту можно взломать, звонки прослушивать. Зато библиотеки не перестают выдавать книги, обмен информацией – тоже часть их работы. По межбиблиотечному абонементу отправляют партии книг, и среди них попадаются настоящие сокровища: редкие книги о забытых художниках, пособия по экзотическим хобби. Задача библиотекаря – их рассортировать, в каждую положить закладку с именем читателя и поставить рядом на полке позади стойки.

Случается, однако, что в партию попадет не та книга и прибудет в далекий город неучтенная. По недоразумению, по ошибке сотрудника. Никто за такой книгой не придет, ее попросту отложат и с ближайшей партией отправят обратно. Никто, ясное дело, не заметит, если библиотекарь небрежно ее пролистает, никто ничего не заподозрит, если в нее положить закладку. В книгах постоянно что-то забывают,

почти в каждой библиотеке есть стенд с находками, и чего только не находят в книгах, кроме обычных закладок, – магазинные чеки, туристические брошюры, визитки, списки покупок, зубочистки, палочки от мороженого, пластиковые ножи, а однажды нашли даже ломтик бекона в пленке. На такое никто не обращает внимания, и никто не заметит, если библиотекарь прикарманит записку из книги или со стенда.

Послания были краткими. Непосвященным ничего не говорили эти списки телефонных номеров, непонятные ряды букв, цифр и точек. Но для тех, кто брал с полок «заблудившиеся» книги, получал сообщения от далеких коллег, они содержали бездну сведений. Там зашифрованы были имена детей, которых забрали из семей, и их приметы. Имена и адреса родителей. По всей стране действовала тайная сеть библиотекарей – они собирали сведения, создавали мысленный каталог, сопоставляли с теми детьми, о которых уже знали. Некоторые вели списки, но большинство из осторожности полагались на память. Система была далека от совершенства, но мозг библиотекаря – штука вместительная. У каждого были свои причины рисковать, и пусть ни один не стал бы делиться ими с коллегами, да и возможности встретиться у них не было, всех их сближала отчаянная надежда воссоединить хоть одну семью, передать между страницами книги записку с новым адресом ребенка. Уверить родителей, что их ребенок жив-здоров, хоть он и где-то далеко, обозначить предел бездонной боли. Библиотекари как никто другой умеют ценить знания, даже если их негде пока применить.

Такие послания были редкостью, и все-таки нескольких детей удалось разыскать. Но чаще эти записки просто запоминали или переписывали, вкладывали в другую книгу и отправляли со следующей партией в другой город, списки пропавших и найденных детей росли, имена нанизывались, словно бусины на нитку. Столько было имен, а сеть разрозненная, и держалась она на памяти и удаче – вдруг кому-то посчастливится установить связь? И пока что оставалось только запоминать и передавать сведения другому библиотекарю, в другой город – или Маргарет, если ей удавалось их убедить.

Она отыскивала все новых родителей, потерявших детей и напрасно ждавших, что их раны затянутся. Назначала им встречи в

обеденный перерыв где-нибудь на скамейке в парке, кружила с ними по улицам, угощала их сигаретами и ждала, когда они разговoryтся. Если они хотели, рассказывала им о Чиже, о том, чего она лишилась, а лишилась она всего. А иногда просто сидела рядом и ждала сколько нужно. День за днем являлась к людям в дом – помолчать; по три часа просиживала с ними в парке, не проронив ни слова. Проходила с ними десять кварталов, пятнадцать, пятьдесят – пока ей не доверятся, пока не разговoryтся, не захотят поделиться своей историей.

Расскажите, просила она. Что бы вы хотели им передать, какие слова? Что у вас осталось в памяти? И все записывала на ходу.

Как выяснилось, не только азиатских семей коснулась эта беда; есть среди пострадавших и белые журналисты, наводившие справки о детях, и активисты-латиноамериканцы. Далеко не все соглашались с ней разговаривать. Некоторых настораживает ее азиатская внешность: это из-за вас начался Кризис, а теперь вы хотите, чтобы вас жалели? И азиаты не все ей доверяют – дескать, она только портит дело. Они-то знают, что будет, если подать голос; обжегшись на молоке, теперь они качают головами и молча захлопывают дверь у нее перед носом.

Иные негодуют: если бы не вы с вашими стихами, ничего бы не случилось. Кое-кто полагает, что за всеми протестами стоит она, что это она подстрекала людей. И с криками выгоняют ее в подъезд, на улицу, а она не спорит, не оправдывается. Некоторые боятся – те, кто живет без документов, опасаясь проверок или того хуже. Есть и такие, кто возмущается: где же она была раньше?

Одна старуха, индианка из племени чокто, у которой забрали внуку, долго смотрела на Маргарет усталым взглядом, а потом клацнула зубами. По-вашему, это что-то новое? Она покачала головой.

Маргарет слушала. И многое узнала – ничто не ново под луной. О школах для индейских детей, где их стригли и переодевали, нарекали новыми именами, переучивали, а домой они возвращались надломленными, израненными – или не возвращались вовсе. О том, как родители переносят детей на руках через границу, а детей отбирают и запирают одних, обезумевших от страха. О том, как дети кочуют по приемным семьям, а настоящие родители не могут их разыскать. Узнала о том, на что она до нынешнего дня закрывала глаза. Детей забирают из семей с давних пор, под разными предлогами, но причина всегда одна. Дети – идеальные заложники, дубинка над

головой у родителей. Полная противоположность якорю, инструмент для выкорчевывания любой инаковости, пугающей, ненавистой. Все чуждое видится как сорняк, который нужно истребить.

Но большинство родителей изголодались по разговорам, слова у них так и рвались наружу. Маргарет записывала все: как забрали у них детей, что они хотели бы передать детям, их самые дорогие воспоминания, – все, что они мечтали сказать, но боялись. Пыталась сберечь все до последнего слова – все тайны, все имена и лица, драгоценные, незабвенные. Рассказы она записывала в блокнот, который хранила в левой чашке лифчика, – почерк бисерный, без лупы не разобрать. Исписав блокнот, завела другой, третий, а старые носила в кармане джинсов, в носке – ближе к телу. По ночам листала свои записи, запечатлевая в сердце имена и события, и в каждом слове ей чудились Итан и Чиж.

Вначале ей давали приют библиотекари, разрешали переночевать у них на работе. Во многих библиотеках были комнаты отдыха с диванами, в некоторых – даже душевые кабинки для сотрудников, приезжавших на работу на велосипедах, теперь ими никто не пользовался. Если дивана в библиотеке не было, Маргарет, дождавшись, когда все разойдутся, искала тихий уголок, подальше от окон. Где-нибудь за высоким стеллажом расстилала спальник и перед сном позволяла себе роскошь погрузиться об Итане и Чиже. Днем она отгораживалась от мыслей о них, но ближе к ночи расслаблялась, и воспоминания выплескивались на волю, будто вылетела пробка.

Ей не хватало крепких, уютных объятий Итана, исходившего от него покоя. Столько хотелось ему рассказать: обо всем, что она узнала, о тех, с кем встретилась, – все это было бы проще сберечь вместе. И о маленьких радостях – о том, как ей на руку опустилась серебристо-зеленая стрекоза, потрепетала крыльями и вновь унеслась; о том, как ярко алеют кленовые листья накануне листопада, – все эти мелочи блекнут, если нельзя разделить их с Итаном. И Чиж: к нему, словно вода по желобку, текли все ее мысли. Какого он сейчас роста – достаёт ей до носа? Или уже до бровей? Сможет заглянуть ей в глаза, не задирая голову? Все так же он коротко стрижется или оброс и волосы падают на лицо? И какого цвета они сейчас – темно-русые, как у Итана, или потемнели до каштанового, а то и вовсе стали черными, как у нее? Все ли молочные зубы у него сменились, и если они

выпадали, забирал их Итан из-под подушки? Или Чиж под подушку их уже не прячет, не верит в глупости вроде зубной феи? Как дела у него в школе, дружит ли с кем-то, есть ли ему с кем посмеяться, посекретничать? Не дразнят ли его? И какая сейчас там погода, и если идет дождь, надел он дождевик или промок до нитки? Что ему снится там, далеко, прикрывает ли он во сне глаза рукой, счастливые он видит сны или печальные, снится ли ему она хоть изредка или он вовсе о ней не вспоминает, а если вспоминает, то с любовью или с ненавистью? Она кляла себя в такие минуты – мысленно рисуя лицо Чижа, она сознавала, что пропасть между ее воспоминаниями и Чижом настоящим все шире, что упущенного не наверстать.

Почти каждую ночь она вставала и блуждала по залам библиотеки, не решаясь зажечь свет, ощупью пробираясь меж книжных полок. Брала наугад с полки книгу, несла на свое ложе и каждый раз погружалась в новую тему. Языки программирования; основы электроники; французская кухня. Эволюция конечностей панды. Однажды ей попалась биография Анны Ахматовой. В России поэтессу так любили, говорилось в книге, что даже можно было купить фарфоровую статуэтку Ахматовой, в сером платье с цветами и в красной шали. Якобы в 1924 году такая была почти в каждом доме, но проверить невозможно, потому что многие статуэтки исчезли в годы репрессий. Было время, когда Ахматову не печатали, читала Маргарет, но она продолжала писать. О своих друзьях, что мучились и умирали в лагерях. О бывшем муже, расстрелянном по обвинению в причастности к заговору. Но, прежде всего, она писала об арестованном сыне – часами она простаивала в тюремных очередях, однако в свидании ей отказывали. Наконец, в отчаянии, она стала писать о Сталине – цветистые, напыщенные оды – в надежде, что он смилостивится и вернет ей сына, но тщетно. Впоследствии, когда ее сын вышел наконец на свободу, он думал, что мать не старалась его спасти, что поэзия значила для нее больше, чем он, и это в итоге разрушило их отношения.

Маргарет пересказывала эту историю про себя много-много раз, чтобы не забыть.

*Однажды в России поэтессу перестали печатать. И молчанию она предпочла огонь. По ночам она писала стихи на клочках бумаги и затверживала наизусть, а под утро чиркала спичкой, и строки*



*превращались в пепел. И так год за годом – слова оживали во тьме, исчезали на рассвете, – и в конце концов строки навек запечатлелись в пламени. Она шептала свои стихи на ухо друзьям, а те запоминали и уносили с собой. И передавали из уст в уста, и вскоре утраченные строки нашептывал весь мир.*

Наутро, когда зашла библиотекарша, Маргарет спала, уткнувшись лицом в книгу, а на щеке у нее отпечатались зеркальные буквы.

По мере того как собрание историй росло, начали твориться чудеса: Маргарет стали звать домой, приглашали к столу, предлагали переночевать – на свободной кровати, на диване, на полу, если больше не на чем. Ночные домашние звуки умиротворяли: шарканье шлепанцев из спальни в уборную и обратно; шепот взрослых, словно они боятся разбудить детей, хоть будить и некого; тихие шорохи и скрип, будто дом может наконец вздохнуть свободно, пока его обитатели спят. В то же время прислушиваться к ним было мучительно: в ночи, одна среди спящих, в чужом гнезде, она так тосковала по Чижу и Итану, что в глазах мутилось от боли.

Однажды ночью, лежа в спальнике посреди чужой кухни, она проснулась, почувствовав на себе мужские руки. Встрепенулась, напряглась, готовая сопротивляться. Оказалось, отец семейства заботливо укрывает ее одеялом. Звали его Мухаммед. Накануне вечером Маргарет сидела за столом с ним и его женой, ела маклюбе<sup>[8]</sup> и слушала их рассказ о сыне. Я был мальчишкой, когда рухнули Башни-близнецы, сказал под конец Мухаммед. На двери нашего гаража кто-то краской из баллончика написал похабщину, окно нам выбили кирпичом. Отец повесил на дом огромный американский флаг, на всякий случай.

Он замолчал, и жена взяла его за руку.

Никто из соседей не поддержал нас ни словом, ни делом, продолжал он.

И вот, когда повеяло ночным холодом, он подоткнул Маргарет одеяло с такой нежностью, будто она и есть его потерянный ребенок.

Когда он ушел, Маргарет потрогала одеяло – очень мягкое, теплое, бархатистое, словно мех какого-нибудь редкого зверя – и заснула как убитая. Проснулась утром – одеяло как одеяло, большое, мохнатое, с полосатой тигриной мордой. Еще три ночи спала она под

тигровой шкурой – так называла она про себя одеяло, – а покидая дом, обняла на прощанье хозяев и с собой унесла тепло тигрового одеяла, как благословение.

Шли месяцы, мелькали мили. Год, другой. Время она отмеряла возрастом Чижа: вот ему уже десять, одиннадцать, одиннадцать с половиной. Список того, что она пропустила, рос и рос. Без нее он, наверное, научился и плавать, и танцевать; о его новых интересах и увлечениях она могла лишь догадываться. День рождения, следующий. Дни сливались в один – автобусы, поезда, скитания из города в город, а во сне она летала в облаках и видела себя с высоты крохотной точкой, мухой, ползущей по бесконечной карте.

Вот что давало ей силы двигаться дальше: несколько раз в месяц Маргарет попадались истории в новостях. Телефон она, конечно, уходя, оставила дома, но слышала обрывки радиопередач в магазинах, подбирала на тротуарах брошенные газеты. И в который раз всплывали ее строки, теперь уже не на плакатах и транспарантах, а в связи со странными событиями – акциями протеста на грани искусства; люди о них помнили спустя дни, недели, от них ком вставал в горле. Они задавали ритм жизни, заставляли ее идти вперед.

В Нэшвилле из рассветной дымки выплыли скульптуры – сотня призрачных детских фигурок, отлитых изо льда. ВСЕ ПРОПАВШИЕ НАШИ СЕРДЦА, гласила табличка на шее у одной. Приехала полиция с наручниками наготове, но авторов уже и след простыл. Чья-то дурацкая выходка, сообщил по рации один из полицейских, – подумаешь, куски льда. Но... При виде скульптур прохожие останавливались. Кое-кто снимал, но большинство просто замирали хоть на миг, молча глядя, как постепенно тают, размываются детские лица. Один человек коснулся пальцем щеки девочки, оставив ямку. Полиция всех разогнала, часть улицы оцепили, поставив патрульных на случай, если вернутся преступники. Фигурки растаяли ближе к полудню, и все утро дежурные полицейские, глядя вверх, на небоскребы, наблюдали, как люди из окон смотрят на тающие ледяные статуи, потом на лужицы там, где еще недавно стояли детские фигурки.

В Де-Мойне однажды утром выкрасили в красный цвет главную улицу, квартал за кварталом. Журналистам с вертолетов казалось,

будто по городу течет река крови. А на тротуаре, у «истока» этой реки – надпись по трафарету: ВЕРНИТЕ ПРОПАВШИЕ НАШИ СЕРДЦА. Первые прохожие застали краску еще влажной и оставляли за собой цепочки красных следов, чем дальше, тем бледнее. Еще не один день люди находили красные пятна на подошвах, на отворотах брюк, на рукавах пиджаков и, приняв их за кровь, судорожно искали, где поранились.

В Остине перед резиденцией губернатора появился гигантский цементный куб с трещиной по центру, а рядом – лом. На одной из граней куба были высечены буквы: ПАКТ. А на ломе – надпись: ПРОПАВШИЕ НАШИ СЕРДЦА. Прохожие брались за лом, примеривались, но ни один не решался ударить, а вскоре прибыла полиция и конфисковала лом как оружие. Куб погрузили на эвакуатор и увезли.

Власти не делали никаких официальных заявлений, надеясь избежать шумихи, но эти выходки были настолько из ряда вон, что не могли пройти незамеченными. После каждой по Сети разлетались фото, набирая миллионы просмотров, свидетели выкладывали отчеты и видео. Газеты, не всегда освещавшие марши и акции протеста, отправляли к месту событий корреспондентов, фотографов. Мелкое хулиганство, настаивали чиновники, если их припирали к стенке. Глупые шутки. Некоторые высказывались резче: диверсии, угроза обществу. В Де-Мойне потратили тысячи долларов, чтобы перекрасить асфальт из красного в черный.

Но акции повторялись снова и снова, и Маргарет, живя в разъездах, следила за событиями. По ее наблюдениям, люди жаловались – мол, из-за всех этих художеств и пробки на дорогах, и прочие неудобства, и смысла в этом никакого, но все же эти акции привлекали внимание, заставляли задуматься. Маргарет замечала, как прохожие останавливаются посмотреть фото в телефоне, пробегают взглядом статью, прежде чем выбросить в урну газету. Слышала разговоры на улицах, на платформах метро, на летних верандах кафе. О происходящем отзывались без негодования, без презрения, а, напротив, с любопытством, подчас даже с восторгом: вы видели? слышали? Надо ж додуматься! Как вам такое?

К тому времени, когда Чижу исполнилось одиннадцать, и месяца не проходило без подобных случаев. И всякий раз, увидев свои строки,

Маргарет испытывала теперь странное и, пожалуй, приятное чувство, хоть и понимала, что каждое упоминание о «пропавших сердцах» – это новая строчка в ее досье. То, что можно ей поставить в вину, хотя знает она об этом не больше остальных. Строки эти будто обрели отдельную жизнь – так оно, собственно, и было. И Маргарет не могла подобрать имени этому чувству, уж точно не гордость, ведь нельзя гордиться тем, что происходит без твоего участия, можно лишь восхищаться со стороны. Но это ее поддерживало – мысль, что и кто-то другой тоже думает о детях, разлученных с родителями. Даже если силы у нее были на исходе, стоило ей услышать подобную новость, и в ней будто включали внутренний мотор. Словно кто-то ей говорил: мы не забыли, а ты?

Чьих это рук дело? – спросила она у одной библиотечарши. Кто за всем этим стоит?

Вы про эти глупости с надписями? – хмыкнула та. Маргарет и прежде замечала, что о протестах библиотечари отзываются с пренебрежением, и немудрено, ведь они по крупницам собирают сведения, а эти акции в сравнении с их работой пустяки, баловство, показуха.

С чего вы взяли, что это все одни и те же люди? – Библиотечарша сунула ей бумажку с фамилией очередной семьи, и Маргарет, поблагодарив, ушла.

И на каждом шагу ее ждали новые истории. Это было все равно что собирать раковины на морском берегу: еще, еще, еще. Каждая волна выносит на влажный песок новые. В каждой обитало когда-то живое существо – было, и нет. Чижу скоро двенадцать, а истории все не кончаются; можно вот так разъезжать и охотиться за ними хоть вечность, считая: еще, еще, еще.

Однажды она не удержалась и отправила открытку, без слов, только рисунок, несколькими штрихами. Дверца, а рядом кошка. Подсказка для посвященных, призыв найти записку, что она им оставила. Разыскать ее. Опустив открытку в почтовый ящик, Маргарет представила, как та попадет в почтовую машину, оттуда – в сумку почтальона, а оттуда – к ним на крыльцо. Она ждала и ждала, но ответа не было.

Она отправляла все новые послания, и с каждым разом кошек на открытках прибавлялось: две, три, пять, и чем дальше, тем мельче,

наконец свободного места и вовсе не осталось, а дверца уменьшалась и уменьшалась – стала размером с почтовую марку, потом с мелкую монету и под конец с ноготок. Ответа она так и не дождалась. В день рождения Чиж, когда ему исполнилось двенадцать, она рискнула – отыскала один из немногих уцелевших телефонов-автоматов и набрала их старый номер. Отключен. Чиж уже четверть жизни прожил без нее – быть может, он и вовсе забыл, что у него есть мама. Возможно, это и к лучшему.

Тогда-то она и назначила день: двадцать третье октября. Годовщина ее ухода из дома. В этот день она сделает задуманное. В сентябре она отправила Доми записку. Пора, написала она. Подыщешь мне место, где перекантоваться? Доми, конечно, позвала ее к себе, но Маргарет отказалась.

Где-нибудь на отшибе, сказала она, там, где не станут искать. Там, где до тебя не доберутся, если меня поймают.

Через неделю она приехала в Нью-Йорк, нашла тот самый заброшенный дом в Бруклине. А на другой день, надвинув пониже шляпу, отправилась собирать крышечки.

Есть один человек, сказала библиотечарша.

«Астория», небольшой филиал библиотеки. Маргарет пробыла в Нью-Йорке уже две недели – обосновавшись в доме с темными окнами, заканчивала последние приготовления, начинала крышечки. В запасе две недели. Хватит собирать истории, материала уже более чем достаточно. Но останавливаться она не желала. Ей хотелось разыскать всех до единого, пусть это и невозможно, потому что будут появляться все новые.

Библиотечарша перешла на шепот, хоть ни в зале, ни во всей библиотеке никого больше не было, они сидели одни среди полупустых полок. Это не кто-то из родителей, продолжала она. Это ребенок.

Маргарет встрепенулась. За все эти годы ей ни разу еще не довелось поговорить с ребенком, которого забрали из семьи. За детьми сжигали все мосты: другие города, другие семьи, другие имена. У родных оставалась лишь пустота и боль на их месте. Те немногие, кого удалось разыскать, были недостижимы, их новые дома и новые жизни

неприступны, словно крепости. Те, кого забрали в раннем детстве, зачастую совсем не помнили ни прошлой жизни, ни родных.

Пару месяцев назад она зашла в головное отделение библиотеки, продолжала библиотекарша. Из дома сбежала. Родом из Балтимора. Бойкая девчонка, усмехнулась она. Вломилась туда, словно полицейский. И говорит: помогите найти родителей. А сама стоит, руки в боки, будто сейчас всем устроит разнос. Говорит, сбежала от приемных родителей из Кембриджа, рядом с Гарвардом.

У Маргарет волосы на затылке зашевелились. Кембридж, отозвалась она эхом. А лет ей сколько?

Тринадцать. Мы пытаемся разузнать как можно больше. Она кочевала с места на место, а по адресу, который она назвала, никто не живет.

Можно мне с ней поговорить? У Маргарет заколотилось сердце. Где она?

Библиотекарша уставилась на Маргарет испытующе. Настала минута, которую Маргарет хорошо знала, когда решают, можно ли ей доверять, и если да, то насколько. Впустить ли ее в свою жизнь, широко ли распахнуть перед ней двери.

Одна чаша весов перевесила.

Она в одном из филиалов, сказала библиотекарша. Могу вам адрес дать. Мы прячем девочку то тут, то там, ищем для нее постоянное место.

И наконец Маргарет ее увидела. Девочка, сидит на коврике скрестив ноги, карие глазки как две звезды.

Маргарет, повторила девочка, услышав имя, так вы та самая Маргарет Мяо?

И в наступившем неловком молчании Сэди улыбнулась.

Я стихи ваши знаю, сказала она. И Чижа знаю.

По заказу правительства провели исследование: как выяснилось, дети до двенадцати лет, разлученные с родителями, не могут найти дорогу домой самостоятельно. Детей старше двенадцати лет обычно отправляли в государственный приют, а тех, кто младше, отдавали в приемные семьи. Сэди было одиннадцать, когда ее забрали.

Ее перебрасывали из семьи в семью, с места на место: Западная Виргиния, Эри, Бостон – все дальше и дальше, будто пытались сбить с

орбиты. Из первой приемной семьи она позвонила на свой старый номер – отключен. Она отправляла письмо за письмом, аккуратно выводила шариковой ручкой индекс, клеила марки, украденные у вторых приемных родителей. Ответа не было, но Сэди не теряла надежды – может быть, ответ пришел на адрес прежней приемной семьи, может быть, целая череда писем от родителей тянется за ней, словно хвост за воздушным змеем, всегда на шаг позади. Наконец в Кембридже, в третьей по счету приемной семье, одно из ее писем вернулось с пометкой: адресат выбыл.

Поехали со мной, предлагала она Чижу, но в итоге поехала одна.

На перекладных – двумя автобусами и поездом – добралась она до Балтимора на деньги, украденные из бумажника приемного отца; адрес был впечатан ей в память, хоть мамино лицо уже начало забываться. Все здесь знакомо, будто из сна: соседские тюльпаны, ярко-розовые на зеленом, неизменное жужжанье газонокосилки в летнем воздухе. Та самая картина, за которую она так крепко держалась последние два года.

Но когда Сэди взбежала на крыльцо, дверь оказалась заперта. На ее стук вышла белая женщина, незнакомая. Доброе лицо, светло-русые волосы собраны в узел. Нет, милая, такие здесь не живут.

Сюда она переехала полгода назад. Нет, она не знает, кто здесь жил до нее. Чем-нибудь помочь? Позвонить кому-нибудь?

Сэди бросилась прочь.

Сев в первый же поезд, она спряталась в уголке, задремала, а проснувшись от шума Пенсильванского вокзала, одна, потерянная. Низкими, мышинного цвета коридорами выбралась из здания вокзала и побрела мимо одноногих голубей, клевавших крошки, мимо бездомных с картонными табличками и кружками для мелочи, мимо груд мусора на тротуарах. Рядом висели леса, затянутые сеткой, за которой почти не видно знака «Восстанавливаем ваш любимый Нью-Йорк». А еще выше – облака, пронзенные иглами из стекла и бетона.

И вдруг из тумана выплыли внушительные серые арки на фоне зеленого газона.

В Кембридже ей нравились тишина и покой библиотеки. Нравилось бродить среди книжных полок, открывать и закрывать уцелевшие книги. Она знала, что многих здесь не хватает, но эти –

самые стойкие; Сэди брала их в руки, листала, вдыхала запах. Представляла, сколько людей читали их до нее.

Однажды ее застучала библиотечка. Сэди глянула искоса, прячась за книгой, и увидела ее в конце прохода. Они, конечно, уже знали друг друга в лицо – сталкивались всякий раз, когда Сэди приходила, – но еще ни разу не обменялись ни словом. Читательского билета у Сэди не было, она никогда не просила помощи, никого не беспокоила. Библиотечка ничего не сказала, а Сэди захлопнула книгу, вернула на место и улизнула. Но через несколько дней, когда Сэди решила снова заглянуть в читальный зал, библиотечка поманила ее к стойке. Меня зовут Карина, а тебя?

Сэди не сразу обратила внимание: она не единственная, кто сюда приходит, но книг домой не берет. Несколько раз к стойке подходили люди, о чем-то быстро шептались с библиотечкой и уходили – встревоженные, печальные, или полные надежд, или всё сразу. Иногда среди возвращенных книг попадались странные, будто заблудшие: потрепанные романы в бумажных обложках, старые учебники, давнишние журналы. Казалось, они очутились здесь по ошибке. Как-то раз Сэди, протиснувшись к ящику для возвращенных книг, выудила одну. В книге оказалась закладка: имя, возраст и приметы ребенка, разлученного, как и Сэди, с родителями. Призыв родных, который зашифруют, запомнят и передадут дальше.

Мы заполняем пробелы, объяснила библиотечка, – по мере сил.

И когда Сэди, потеряв след родителей, очутилась в Нью-Йорке, то знала, куда идти. Библиотека оказалась сказочным дворцом, который охраняли два льва, светло-серых, невозмутимых. Взойдя на крыльцо, Сэди положила руку на массивную лапу с толстыми когтями, и на нее будто ветерком дохнуло из прошлого – вспомнилась сказка, что когда-то читала ей мама. О том, как одна девочка заблудилась и ей пришел на помощь лев, царь тех мест. Сэди огляделась: уличный фонарь, а перед ней – волшебная дверь, которая может привести ее домой. В библиотеке было почти пусто, близился час закрытия, и Сэди бродила, пока не нашла уединенный уголок – потертое кресло в детском отделе, возле опустевших полок, где до сих пор висели плакаты «Советуем прочитать». Сэди свернулась клубочком в кресле и уснула, а разбудила ее незнакомая девушка, потрепав за плечо.

Здравствуй. Ты, кажется, заблудилась?



Вы мама Чижа, да? – спросила Сэди.

Маргарет принялась ощупывать карманы, приложила руку к сердцу, ища записные книжки, которые носила при себе так долго, что они будто срослись с ней.

Была когда-то, ответила Маргарет.

Он мне про вас рассказывал, продолжала Сэди, и для Маргарет это был добрый знак.

Сэди – юная, сиротливая и бесстрашная. Прожив три месяца одна, она казалась полувзрослой-полуребенком.

Я знаю, кто мог бы ее приютить, сказала библиотечарше Маргарет.

Понадобилось время, чтобы уговорить Доми.

Ты что, издеваешься, Маргарет? – упиралась она. Что я смыслю в детях?

Они напряженно шептались, пока Сэди сидела в дальнем углу гостиной, настороженная, скрестив на груди руки. Доми искоса за ней наблюдала, а Сэди наблюдала за Доми – по-хозяйски, без робости.

Ты не хуже меня знаешь, сказала Маргарет, что в заброшенном доме ребенку не место. Да и некогда мне за ней присматривать, слишком много работы.

Чего ты от меня хочешь? – спросила Доми.

Чтобы она была в безопасности, пока я заканчиваю. А когда все будет сделано, найдем ей место получше. Может быть, удастся разыскать ее родителей. А пока что ее надо пристроить. Она неделями скиталась по библиотекам, не смогут ее там прятать до бесконечности. Просто чудо, что до сих пор удавалось.

Маргарет помолчала. Или у тебя места мало? – добавила она сухо. Обвела взглядом огромную гостиную, уставилась в потолок – там, наверху, пустуют шесть спален.

Доми медленно, устало выдохнула. Как в прежние времена, и это означало: ладно, будь по-твоему.

Хорошо, но пусть она сама о себе заботится, я ей не нянька.

Мне нужно только подгузники менять два раза в день, сказала из своего угла Сэди.

Доми рассмеялась.

Хмм, протянула она. Что ж, хотя бы чувство юмора у нее есть.

Они оглядели друг друга – высокая блондинка в деловом костюме, на шпильках, и смуглая девочка в толстовке с капюшоном и потертых джинсах, – и Маргарет почувствовала, что между ними проскочила искра, встретились родственные души.

Именно Сэди сказала Маргарет через несколько дней: но Чиж больше там не живет, разве вы этого не знали? Они теперь в общежитии живут, могу вам адрес дать.

Почему ты мне не сказала? – спрашивает Чиж. Почему она ко мне не вышла, когда я был там?

Мы ей велели никому на глаза не попадаться, объясняет Маргарет. Чтобы никто ее не увидел, не стал расспрашивать. Ты с ней скоро встретишься, обещаю. Но мне сначала нужно было с тобой вдвоем побыть. Мне нужно было...

Она замирает с бокорезами в руке.

Здесь кто-то есть, шепчет она.

Слышит и Чиж: кто-то скребется в заднюю дверь. Дождь, думает он; хоть сквозь затемненные окна ничего не видно, во внезапной тишине слышно, как капли барабанят по фанере, негромко, но настойчиво, будто тонкими пальчиками. Сквозь шум дождя слышно, как дергают дверную ручку. Потом тихие гудки, кто-то набирает код: цифра, другая, третья.

Чиж, оглянувшись на маму, ждет подсказки. Бежать или защищаться? Притаиться или готовиться к бою? Маргарет не трогается с места. В голове проносятся тысячи сценариев, один другого страшнее. Куда заберут Чижа? Куда поведут ее? Спокойно, велит она себе, думай. Но укрыться им негде, и даже если схватить Чижа за руку и выбежать через переднюю дверь, куда им идти под дождем, в чужом городе? В чьи лапы они угодят?

В темном коридоре шаги. Кто-то старается не шуметь, но не получается. Скрипит дверь гостиной. Герцогиня, в черном плаще, вытирает ноги.

Мать твою, Доми, выдыхает Маргарет. Ну и напугала же ты меня.

Она вздыхает с облегчением, и больше, чем появление неожиданной гостьи и мамина ругань, Чижа пугает мысль, что и маме тоже знаком страх.

В дверь же к тебе не позвонить, отвечает Герцогиня. Как и по телефону.

Обе пожимают плечами, и Чиж понимает, в чем дело: звонки по мобильнику можно отследить.

Который час? – спрашивает Маргарет.

Почти четыре.

Я думала, мы договорились на завтра, на утро.

Герцогиня, расстегнув плащ, выпрастывает из рукава руку, другую. Окидывает взглядом стол, заваленный обрезками проволоки, крышечками, блестящими кругляшами-батареями, и спрашивает:

Значит, не передумала?

Маргарет каменеет. Нет, конечно, отвечает она.

Взгляд Герцогини скользит по комнате, словно луч фонарика, выхватывая то, на что Чиж не обращал внимания. Переполненную мусорку в углу, жирную миску из-под вчерашней лапши на полу возле ног Чижа. Самого Чижа – он три дня не менял одежды, грязные нечесанные волосы лезут в глаза.

Я думала, все могло измениться, говорит она. Раз уж... И указывает взглядом на Чижа.

Ничего не изменилось, сердито отвечает Маргарет.

Герцогиня бросает плащ на спинку кресла. Движения ее, как всегда, порывисты, она словно корабль на всех парусах: будто что-то ее подгоняет навстречу цели. Она подсаживается к Маргарет, на подлокотник дивана.

Еще не поздно передумать, говорит она.

Маргарет поднимает с подставки паяльник, касается влажной губкой кончика. Паяльник чуть слышно, обиженно шипит.

Не во мне одной дело, отвечает Маргарет. Сама понимаешь.

Под кончиком паяльника плавится капля металла, вспыхивает серебром, затем тускнеет. В глазах у мамы искорки, точно блики на воде, – дрожат, будто ей трудно сосредоточить взгляд.

Надо, объясняет она. Я им слово дала. Я в долгу перед... Она колеблется. Я обязана.

Герцогиня кладет свою ладонь поверх ее, и в этом жесте Чиж видит нежность, привязанность.

Поймав взгляд Маргарет, Герцогиня вздыхает – вздох смирения, а не согласия. Завтра с утра приеду, заберу Чижа, говорит она.

Чиж вскидывает голову: заберете меня? Куда?

Повидать Сэди, бодро отвечает Маргарет. Доми вас отвезет за город, всего на денек, пока я – она обводит жестом стол – доделываю.

В красивое место, добавляет Доми. Думаю, вам понравится.

Зачем? – В голосе Чижа тревога, сомнение.

Мама, отложив паяльник, тянется к Чижу через стол, берет за руку.

Мне кое-что нужно доделать. А пока ты здесь, я не могу. Доми тебя отвезет к Сэди, а потом мы вместе за вами заедем. Веришь мне?

Чиж сомневается. На столе лежит паяльник, над ним вьется тонкая струйка дыма. Жарко пахнет металлом и канифолью. Чиж смотрит на маму – руки у нее загрубели, но в прикосновении чувствуются прежняя сила, тепло и ласка. Те же самые руки помогали пробиваться росткам на грядке, бережно снимали с его футболки гусеницу и сажали в траву. Почти не задумываясь, они соединяют руки, ладонь к ладони, палец к пальцу, – этим жестом они всегда скрепляли обещания. Теперь ладонь его размером почти с ее ладонь. Чиж смотрит в ее глаза – бездонные темные омуты – и наконец видит ее. Маму, прежнюю.

Ладно, отвечает Чиж, и мама, прикрыв глаза, вздыхает.

Завтра с утра, говорит она, обращаясь к Доми. Скажем, в десять. Заедешь за ним.

Открыв глаза, она выпускает его руку и обжимает свободные концы проводов.

Времени в обрез, говорит она. А успеть надо много.



Когда уходит Герцогиня, дождь уже не льет, а слегка моросит. На исходе дня Маргарет запечатывает последнюю крышечку. Сегодня среда. Завтра три года с тех пор, как она ушла из дома.

Хватит, шепчет она, и Чижу ясно, что говорит она сама с собой, будто дает себе команду остановиться или продолжать – ни он, ни она никогда до конца не будут уверены.

Одним махом она сметает все крышечки в пластиковый пакет. И застывает в раздумье.

Пойдешь со мной? – спрашивает она. – Только в этот раз, последний.

Почти месяц она их делала и раскладывала, ни от кого не прячась, никто ведь не смотрит на старух, собирающих на улицах бутылки, – как правило, их обходят стороной, отворачиваются то ли смущенно, то ли брезгливо. Сколько она себя помнила, они попадались тут и там, Кризис их не коснулся, они как были, так и остались. Упорные, смиренные, они кропотливо перебирали мусор, ища хоть что-то полезное, – и даже до Кризиса среди них было много азиаток. В их чертах она видит бабушку, мать, себя и думает о них всякий раз, когда, надвинув на глаза соломенную шляпу, бредет по тротуару, наклоняясь к урнам и корням деревьев. Если одеться как они, можно идти куда угодно, главное – быть осторожной.

Однако несколько раз она была на волосок от серьезной опасности. Иногда появлялась полиция; тех, кто вызывал, она ни разу не видела, видела лишь, как подрагивали занавески у них на окнах, когда подъезжала патрульная машина. Полицейскому Маргарет совала двадцатку в задний карман брюк, но однажды этого не хватило. Он стиснул ей локоть, жарко сопя в шею, и потащил ее в проулок, где она расстегнула ему ширинку, залезла рукой под ремень. Пока он стонал и корчился, она не отрывала взгляда от шеврона у него на груди, и наконец он изогнулся дугой, дернул ее за волосы, издал последний сдавленный вскрик и отпустил ее на все четыре стороны. Когда она,

оправив одежду, вернулась на ту же улицу, патрульная машина уже отъезжала, а рядом светились окна, за окнами продолжалась хрупкая жизнь, а о замарашке внизу уже забыли.

Сегодня нужно быть осторожной вдвойне. С ней рядом Чиж, а значит, она не имеет права на ошибку. Они совсем ненадолго, осталось всего несколько мест, где она еще не была.

Держись на несколько шагов позади, не подавай виду, что мы знакомы, говорит она, надвинув пониже шляпу. И темные очки не забудь.

Они выходят из метро на Семьдесят второй Западной улице – здесь гуляют богатые дамы с телефонами в чехлах, расшитых стразами, с белыми собачками на коротких поводках. Тротуары влажно поблескивают, окна машин в каплях дождя. На многих магазинах висят таблички «Продается».

Маргарет достает из пакета крышечку, зажимает в кулаке. Поискав минуту-другую, присматривает подходящее место – переполненную урну. Рядом на мокром тротуаре валяются смятые пивные жестянки, пластиковые обертки.

Стой здесь, шепчет Маргарет. Спрятавшись за Чижом, наклоняется, будто бы порыться в мусоре, и наклеивает крышечку под ободок урны, где кто-то весьма кстати прилепил жвачку. Сойдет, говорит она. Будет держаться.

Чиж, отступив на шаг, с тревогой оглядывает урну. Со стороны самая обычная, безобидная, взгляд на ней не задерживается. Одна из мерзостей города, на которые стараешься не обращать внимания. Но для Чижа на ней лежит печать – то ли угрозы, то ли надежды, – и он не в силах отвернуться.

Для чего это? – спрашивает он, и Маргарет понимает, что видится ему: взрыв, пламя, клуб дыма, похожий на гриб. Она не отвечает, у нее уже наготове новая крышечка.

Пойдем, торопит она. Надо шевелиться.

Маргарет, сумевшая натренироваться за несколько недель, наметанным глазом видит наиболее подходящие места: канализационную решетку, трещину в стене в палец толщиной. Одну из крышечек она аккуратно прячет в брюшко белки, раздавленной грузовиком.

Не знаю, – она выпрямляется, вытирает окровавленные пальцы, – вдруг ее отсюда уберут?

Она смотрит на облепленное мухами красноватое месиво из шерсти и плоти.

Но, скорее всего, нет, добавляет она. Станут они с ней возиться! До завтра наверняка долежит.

Крышечки они прячут повсюду, и вскоре Чиж, наловчившись, начинает везде замечать укромные местечки – как глаза привыкают к темноте, так и у него тренируется взгляд. Некоторые места Маргарет с ходу отвергает как слишком очевидные, слишком чистые. Куда-нибудь, где погрязнее, советует она. Куда никто не полезет. Чиж бежит впереди на полшага, потом на пару шагов, присматривает тайники для крышечек. В мусорных баках, откуда разносится сладковатая вонь гниющих фруктов, в углах, где с утра справляли нужду бездомные. Возле корней деревьев, под кучками собачьего дерьма. Чиж ненадолго перестает задаваться вопросом, для чего нужны крышечки. Они с мамой будто играют в игру – вроде охоты за сокровищами, только шиворот-навыворот, надо не искать, а прятать. Крышечка за крышечкой, понемногу пустеет пакет в руке у Маргарет, и Чижа захлестывает радость: молодцы они, столько придумали хитрых мест, столько крышечек спрятали! Он считает: по сто штук в день, и так целый месяц.

Это все? – спрашивает Чиж, когда Маргарет пристраивает последнюю возле входа в парк, в ржавой бороздке у основания фонарного столба.

Все, коротко отвечает Маргарет и вздыхает – облегченно? Печально? Не разберешь.

Спрятав последнюю крышечку, Маргарет выбрасывает в кучу мусорный пакет, с которым все это время ходила для маскировки. Сегодня в квартале день вывоза мусора, и всюду на тротуарах громоздятся кучи – кособокие, того и гляди завалятся. Кое-где из прорванных пакетов тянется по тротуару мусорный след. Маргарет вытирает руки о штаны, смотрит на Чижа. Он все тот же Чиж – впечатлительный и любопытный, доверчивый, в радостном ожидании будущего, хоть и не представляет, каким оно будет. Уже не малыш, но еще и не взрослый.

Чему она может его научить, что может ему дать, что для него сделать, чтобы наверстать упущенное? Купить бы ему крендельков, мороженого и лимонада с лотка, и пусть себе бегают по парку, облизывают пальцы. Смотреть, как он дурачится, играет в игры, на ходу меняя правила, – скачет по треснувшим тротуарным плиткам, подпрыгивает, чтобы дотянуться до знаков «стоп». Нет, лучше не просто смотреть, а играть с ним. Хотя бы денек побыть ему просто мамой. Если бы один чудесный день мог возместить все эти годы, прожитые без нее!

Приближается патрульная машина, медленно, будто крадучись. За тонированными стеклами смутные силуэты полицейских.

Маргарет тут же хватается Чиж за локоть, тащит за ближайший столб. Притаившись за пирамидой мусорных пакетов, прижимает его к себе так крепко, что каждый чувствует, как бьется у другого сердце.

Полицейские подъезжают ближе, будто почуяв неладное. Смотрят кругом. И едут мимо.

Во рту у Маргарет разливается противная горечь. Плечи сына под ее руками еще детские – худые, неокрепшие, невообразимо хрупкие. Нет, не может она подарить ему прекрасный день, которого он достоин, еще не время. Так несправедливо, думает она. Их окутывает вонь помойки, тяжелая, липкая. Полицейская машина давно уехала, а Маргарет все обнимает Чиж, зажмурив глаза, уткнувшись ему в волосы, теплее которых ничего нет на свете. Когда она наконец разжимает объятия и смотрит на него, он смотрит в ответ удивленно, но доверчиво. Вглядывается в ее лицо будто в поисках ответа.

Все хорошо, шепчет она, не бойся.

Я и не боюсь, заверяет он. Я так и думал, что все обойдется.

Маргарет, улыбнувшись дрожащими губами, обнимает его напоследок и выпрямляется.

Скорей домой, торопит она.

В Бруклин они возвращаются на метро, в разных концах вагона, чтобы никто не заподозрил, что они вместе. Маргарет наблюдает за ним издали: маленький, чернявый, болтает ногой, расковыривает дыры в обивке, заклеенные скотчем. Глаз его не видно за темными очками, но Маргарет, стоя в углу вагона и облокотившись на поручни, замечает, как он поглядывает на нее украдкой и всякий раз расслабляется, вздыхает облегченно. Все эти три года, думает она, отразились в одном



мгновении: ты где-то далеко, гадаешь, что он сейчас видит, надеешься, что мысли о тебе для него утешительны. Нет, поправляет она себя, не три последних года. В этом суть материнства.

Крышечки, дорога домой – все у нее отработано, как движения в танце, и обычно она это проделывает спокойно. Но на этот раз все по-другому. Сегодня ей не сидится на месте, на каждой остановке она вздрагивает, тревожно оглядывает пассажиров – кто дремлет, кто уставился в телефон. Глазами она вновь и вновь отыскивает мальчика в другом конце вагона – он успокоился, погрузился в мечты и лишь изредка, поймав ее взгляд, заговорщицки улыбается. Маргарет силится улыбнуться в ответ, но у нее не выходит. За окном пролетает встречный поезд, и размытые силуэты пассажиров напоминают ей полицейских в патрульной машине, и вновь ей чудится, как Чиж уткнулся ей в плечо, как она обнимает его, такого теплого, хрупкого, беззащитного даже в ее объятиях. Она клянет себя за то, что взяла его с собой. До сих пор ей мерещится мусорная вонь, кислая, удушливая. Вагон трясется, ходит ходуном, и стук колес, гул двигателя, качка сливаются в единственное короткое слово, что бьется в мозгу все настойчивей. Когда они добираются до дома, каждый сам по себе, и по одному заходят в калитку, слово уже рвется наружу, и едва закрываются за ними двери, оно вылетает, и Маргарет не в силах дышать:

Нет. Нет. Не могу.

Чиж оборачивается, смотрит на нее – Маргарет застыла спиной к двери, будто загораживает собой выход. В этот миг она кажется немолодой, измученной; в прихожей полумрак, одна-единственная голая лампочка, что светит в гостиную, серебрит ей лицо и волосы. Она точно обратилась в мрамор.

Не стоит так рисковать, продолжает она. Слышит свой голос – хриплый, грубый, надтреснутый.

А как же крышечки? – спрашивает Чиж. Те, что мы сегодня прятали? И те, которые ты прятала без меня?

Неважно, пусть лежат.

Нет, важно! Чиж мотает головой, словно не верит. Разве нет? Ты же не зря это затеяла, я знаю.

Неважно, повторяет Маргарет. Не думай об этом. Выкинь из головы.

Маргарет бросается к Чижу, обнимает, берет в ладони его лицо, потому что невыносимо вспоминать, как он был в опасности, представлять, что ему снова будет грозить опасность, тем более по ее вине. Много лет назад она и Итан дали друг другу слово, и она его сдержит, чего бы это ни стоило. Она на все готова, лишь бы уберечь сына.

Да только... Только Чиж в ее объятиях каменеет, потом высвобождается.

Но... – говорит он.

И хмурит брови.

Маргарет хорошо знакомо это выражение лица, потому что сама она хмурится так же – когда у собеседника слово расходится с делом. Точно так же хмурилась и ее мать, и бабушка, а теперь она видит то же самое на лице у сына. Нежданное наследство.

Чиж, начинает она, ты для меня – самое дорогое. Брошу я это дело. Не стану рисковать, вот и все.

Но ты же говорила, начинает Чиж, но тут же умолкает, и Маргарет слышит все его невысказанные вопросы. Но как же все те дети? Сэди и другие? И их родные? Разве не потому ты ушла?

Мы обязательно найдем способ им помочь, говорит Маргарет. Что-нибудь придумаем. Не знаю что, но более безопасное.

В голове роятся смутные, бестолковые планы.

Как-нибудь да выкрутимся, говорит она. Придумаем, как не разлучаться, где укрыться. Может быть, папа сможет жить с нами. Доми могла бы помочь. Вот было бы здорово – правда, Чиж?

Маргарет и сама чувствует, что заговаривается. Она хватает Чижа за руки, словно один из них тонет и надо удержаться на плаву. Так они и стоят друг к другу вплотную в тесном коридоре, где жарко и душно от их дыхания, так и говорят шепотом, а кажется, будто кричат. Ей хочется одного – не отпускать его.

Теперь это все неважно, шепчет она.

Но, даже не договорив, видит, как мрачнеет его лицо, в глазах тлеют угольки. «Ты же все понимаешь, как ты можешь отказаться?» – вопрошает его взгляд.

Значит, это все неважно, спрашивает Чиж, раз это не с нами?

И Маргарет чувствует: поздно его разубеждать, ведь он уже знает правду.

Чиж, начинает она, но видит в его лице жестокое разочарование, и все, что она хотела сказать, рассыпается, точно песок.

Ты обманщица, говорит Чиж.

И, поколебавшись, все-таки продолжает: ты ужасная мать.

Маргарет вздрагивает, отшатывается и Чиж – как от пощечины. Лицо его, словно зеркало, отражает ее лицо: ноздри подрагивают и раздуваются, глаза красные, воспаленные. Чиж вдруг отталкивает ее и пускается бегом вверх по лестнице, но Маргарет не бежит следом. Она выжата и опустошена, словно ее весь день выворачивало наизнанку.

В темноте Чиж забывается беспокойным сном.

Сны он видит путаные, сумбурные. Сломанные ржавые машины, бесформенные груды запчастей. Пузырьки чернил трескаются у него в руках, и по ладоням разливается водянистая синева. Ему велят подпереть плечом здание, и если он отойдет, оно рухнет. Он поймал змею, посадил в наволочку, и она извивается внутри, а выпустить негде. В последнем сне, за секунду до пробуждения, он стоит среди других детей, чувствует их тепло, дыхание, запах их кожи. Но ни один с ним не заговаривает, даже не смотрит в его сторону. Потянешься к ним, а они молча отходят, будто бесшумно расступаются волны. И смотрят они куда угодно, только не на него, – на свои перепачканные ладони, через плечо, в безоблачное небо.

Чиж в испуге просыпается, зарывается поглубже в спальник, натягивает его до подбородка. Теперь он вспомнил все: крышечки, патрульную машину, ссору. Все, что мама ему рассказала за эти два дня, все причины ее ухода из дома, – и как легко она от всего этого отмахнулась. Он вспоминает, как они с папой жили без нее, как тосковали по ней. Еще недавно он что угодно отдал бы, все на свете, лишь бы ее вернуть.

Ничего не видно, ни лучика света из коридора. Он прислушивается, рядом ли мама, – нет, тихо, даже незамолкающий уличный шум и тот приглушен. Мама где-то здесь, но Чиж не помнит, как попасть к ней в комнату, не знает даже, найдет ли в кромешной тьме выход из дома. Ему кажется, будто он совсем один.

Тишину за затемненными окнами пререзает вой сирены, все ближе, потом дальше, стих. Единственный признак жизни во внешнем

мире. Чиж протыкает пальцем дырочку в пленке на окне, расковыривает пошире. Наклонившись, приникает к ней глазом.

Он ожидает увидеть снаружи лишь черноту, но видит слепящий огненный узор. Окна домов как искристая мозаика. Море света, огненный прибой омывает его фонтаном брызг. За каждым из светлых окон – люди: моют посуду, читают, работают и не ведают, что он, Чиж, есть на свете. От мысли о том, что вокруг столько людей, кружится голова, охватывает ужас. Миллионы, миллиарды людей, и ни один из них не знает о нем, никому до него нет дела. Чиж заслоняет ладонью дыру в пленке, однако свет все равно просачивается, жжет руку. Чиж сворачивается клубком в спальнике, накрывшись с головой, но от этого не легче.

Из горла рвется крик, который он сдерживал так долго, что сила его подобна землетрясению. Это слово он не произносил несколько лет.

Мама, зовет он, вскочив с постели, а тьма будто оббивает ему лодыжки, не пускает дальше.

Когда он снова открывает глаза, он лежит, сжавшись в комок, а по спине, меж лопаток, его гладит чья-то рука, тяжелая, теплая. Мама.

Тсс, шепчет она, когда он хочет перевернуться на другой бок. Все хорошо.

Она сидит рядом на полу. В комнате совсем темно, лишь ее фигура чуть светлее окружающей черноты.

Знаешь, говорит она, я точно так же боялась, когда в первый раз в жизни ночевала одна.

Теплая, нежная рука треплет ему затылок, гладит жесткий ежик волос.

Зачем ты меня сюда вызвала? – спрашивает наконец Чиж.

Я хотела... – начинает Маргарет и умолкает.

Как закончить? Хотела убедиться, что ты жив-здоров, что все у тебя хорошо. Хотела увидеть, каким ты стал. Насколько ты изменился. Убедиться, что ты остался собой. Хотела тебя увидеть.

Ты был мне нужен, говорит она искренне, – другого объяснения нет, но для него это самые необходимые слова. Он ей нужен, всегда был нужен. Не потому она уехала, что его разлюбила.

Эта мысль действует на него как успокоительное – расслабляет мускулы, укрощает мельтешение в голове. Чиж обмякает, доверчиво

прильнув к маме, позволяет ее рукам обвить его, как лозы обвивают дерево. Сквозь дырочку, что проделал Чиж в черной пленке, пробивается тонкий луч, на стене дрожит пятнышко света, будто мерцает звезда.

Маргарет гладит Чижа по спине, прощупывая каждый позвонок, они проступают под кожей, словно нитка жемчуга. Ладонь Маргарет встречается с его ладонью, палец к пальцу. Ладони у него уже размером с ее, а ступни, наверное, еще больше. Как щенок с большими лапами, нескладный, игривый.

Чиж, говорит она, я так боюсь снова тебя потерять, вот и все.

Он смотрит на нее с бесконечным доверием сонного ребенка.

Но ты же вернешься, отвечает он.

Это не вопрос, а утверждение. Заверение.

Маргарет кивает.

Вернусь, отвечает она. Вернусь, обещаю.

И она в этом уверена.

Хорошо, бормочет Чиж. Он и сам не знает, с ней он говорит или сам с собой, о будущем или о том, что случилось давно. Обо всем, решает он. Обо всем сразу. Хорошо, повторяет он и знает, что мама услышала – по тому, как она еще крепче его обняла.

Я здесь, шепчет мама, и Чиж проваливается в темноту.

Когда Чиж просыпается, уже утро и мамы рядом нет. Он лежит в детской кроватке, поджав к груди колени, спальник свисает с дивана у окна, перекрученный, словно сброшенная шкура. Чиж смутно припоминает, как ему хотелось снова стать маленьким, как он залез в кроватку, где так удобно было прятаться. Нашел приют. Сверху на него наброшено незнакомое одеяло, тяжелое, куцее, странной формы, – это не одеяло, а мамина куртка.

### III



Утром, ровно в десять, приезжает Герцогиня в своем длинном красивом автомобиле – на этот раз она сама за рулем. Маргарет нерешительно мнетя у порога, зато Чиж – решительнее некуда. Он рад поездке.

Удачи, желает он, и взгляд его излучает уверенность.

Ну ладно, говорит наконец Маргарет. Скоро увидимся.

Она обнимает Чижа, целует в висок, туда, где бьется под кожей жилка.

Чиж с рюкзаком, болтающимся на одном плече, бежит через палисадник, выскакивает за калитку и устремляется напрямик к машине, что ждет у обочины. Там, за тонированными стеклами, на заднем сиденье виден чей-то силуэт. Она подросла, обогнала его на полголовы, и отпустила волосы, но у нее все тот же быстрый взгляд, все та же насмешливая улыбка.

Чиж, ахает она. Ох, Чиж!

И кидается ему на шею. Пахнет от нее мылом и хвоей. Чиж, повторяет она, мне нужно столько всего тебе рассказать...

Если вам не терпится меня пообсуждать, подождите, пока выедем из города, говорит Герцогиня сухо. Не хочу ничего пропустить, пока за дорогой слежу.

Сэди, округлив глаза, косится в сторону переднего сиденья.

Ладно уж, отвечает она.

Чиж ловит взгляд Герцогини в зеркале заднего вида, и ему становится спокойно за Сэди – как никогда. Сэди здесь хорошо, впервые он видит ее такой безмятежной. Машина набирает ход, и Сэди, тихонько вздохнув, ерзает на сиденье, поворачивается к окну. Они не виделись уже несколько месяцев, но Сэди почему-то кажется не старше, а младше, как будто отбросила свою настороженность и впервые за долгое время может вдохнуть полной грудью. Как будто ей больше не нужно в одиночку пробивать себе дорогу. Чижу знакомо это

или схожее чувство – как вчера ночью, когда он звал маму и она пришла; как сегодня утром, когда он проснулся, укрытый ее курткой, тяжелой, уютной. Он откидывается на сиденье; как же все-таки хорошо побыть просто ребенком, когда ни за что не отвечаешь, когда тебя просто берут с собой. Столько всего надо спросить у Сэди – скажем, каково это, жить с Герцогиней? – но ничего, он потерпит.

Куда мы едем? – спрашивает он, когда они уже влились в поток.

В хижину, отвечает Герцогиня, и машина летит вперед.

Герцогиня все разгоняется, Чижа и Сэди, крепко пристегнутых, вдавливают в кресла, и когда они вырываются из серой паутины города на автостраду, это напоминает взлет ракеты.

Надеюсь, никого из вас не укачает, говорит вдруг Герцогиня, поглядывая в зеркало заднего вида.

Ни Чижа, ни Сэди не укачивает. Для Чижа поездка в автомобиле – настоящее приключение, и от скорости у него захватывает дух. За тонированными стеклами все краски становятся нездешними: небо бирюзовым, трава изумрудной. Обычную асфальтовую дорогу и ту будто посеребрило. Присутствие Герцогини всему придает блеск, величие, и Чиж принимает это как должное, не задается вопросами, просто наслаждается, откинувшись на мягкое кожаное сиденье. Сэди в соседнем кресле вскрикивает, увидев, как срывается с дерева птичья стая и разлетается горстью конфетти. Только сейчас Чиж понимает, почему собаки так любят высовываться из окна, – он и сам, просидев так долго взаперти, готов высунуться, свесив язык, и впитывать все это буйство жизни.

Полтора часа они едут в уютном молчании, и нарушает тишину лишь негромкий свист, когда они обгоняют очередной грузовик или легковушку. Герцогиня не сигналист, только вжимает в пол педаль и проносится мимо, а двигатель глухо рычит. Чиж не знает, где другая половина шоссе, по которой возвращаются в город, – должно быть, за деревьями. Пусть ее не видно, но она точно есть, надо просто верить. Мама обещала вернуться, в это тоже надо верить. Он все постарается запомнить, а когда она вернется, расскажет ей, что он видел.

Свой загородный дом Герцогиня называет «хижиной», и, строго говоря, это и есть хижина – маленькая, похожая на картонку из-под молока, затерявшаяся в лесу. Чижу и Сэди при слове «хижина» представляется юность Линкольна, бревна и волчий вой. Домик

Герцогини небольшой и простенький, но сходство на этом заканчивается. Дощатые полы в гостиной блестят, словно карамель. Большой камин в центре комнаты сложен из обкатанных речных валунов. В глубине дома – две спальни и ванная. За окном зеленеет лужайка, чуть поодаль серебрится вода.

Только не вздумайте тонуть, говорит Герцогиня. Здесь на многие мили кругом никого нет, спасти вас некому.

Она смотрит на свои изящные золотые часы.

Давайте объясню вам правила, продолжает она. За пределы участка не выходить, но площадь тут сорок семь акров, есть где разгуляться. Купаться можно, если не боитесь замерзнуть. Можно разводить огонь, только будьте осторожны, и только в камине. Оставляю вам пакет с едой, должно хватить до завтра, до моего возвращения. Вопросы есть?

Кто построил этот дом? – спрашивает Сэди. Уж наверняка не вы.

На ее дерзкую улыбку Герцогиня тоже отвечает улыбкой, снисходительной.

Мой отец, говорит она.

И оглядывается кругом, точно видит домик впервые. Обводит взглядом стены, обшитый досками потолок, гладкий пол.

Вернее, не построил, а заказал, добавляет она. Такой у него был подход к делам. Голос ее смягчается. Когда я была маленькая, мы любили сидеть на берегу и рыбачить. Отец, мама и я. Я здесь не была уже много лет.

Она мотает головой, словно отряхивается. Так что смотрите не спалите, говорит она строго.

Вы едете помочь маме? – спрашивает Чиж.

Впервые за все время уверенность будто изменяет Герцогине.

Ты же знаешь маму, отвечает она, и Чиж кивает, пусть он и не уверен, что хорошо знает маму. Если она что-то вбила в голову, то уже не остановится. Но как управится, придет ко мне, и завтра с утра мы за вами заедем.

«А дальше что?» – думают Сэди и Чиж, но ни один не решается спросить.

Герцогиня вновь смотрит на часы.

Пора отчаливать, говорит она. Раньше второй половины дня мне домой не успеть, а если будут пробки...



Взяв со стола ключи, она смотрит то на Чижа, то на Сэди.

Не волнуйтесь, говорит она с неожиданной теплотой. Все будет хорошо.

Еще бы, отвечает Сэди. Ведь мы же здесь.

После ухода Герцогини Чиж и Сэди смущенно молчат – между ними легла пропасть в несколько месяцев. В молчании они изучают хижину. В самой большой из комнат – стол, три стула, закуток с плитой; в ванной – душ, унитаз и зарешеченное окошко, откуда видно лишь листву деревьев. Две спальни: одна попросторней, в бежевых тонах, с широкой двуспальной кроватью, другая поменьше, розовая, с кроватью у стены.

Сэди, не спросив у него, скидывает туфли в большой спальне, но Чиж не против. Ясно ведь, для кого был построен дом, для семейной пары с ребенком, так пусть лучше кто-то другой играет сейчас роль взрослого. Чиж садится на диван у камина, и выдавшая виды кожаная обивка отзывается скрипом.

Каково это, спрашивает он, жить с Герцогиней? Как тебе с ней живется?

Сэди смеется. Доми? Это с виду она грозная, а на деле совсем не страшная.

И начинает болтать без умолку. В первый день, говорит она, Доми почти не показывалась. Ей отвели спальню – на последнем этаже – и оставили одну, и весь день она изучала этот дом-музей, пытаясь разобраться, куда она попала и что за человек Доми. Маргарет говорила, что на нее можно положиться, но Сэди не привыкла верить на слово. Поздно вечером она пробралась к Доми в кабинет, села за письменный стол и начала рыться в бумагах, и тут зашла Доми.

Чем ты там занята? – спросила она строго, и Сэди подняла голову и взглянула на нее словно в первый раз.

Так вот кому все эти чеки (Сэди ткнула пальцем в бухгалтерскую книгу), библиотекам. Теперь поняла, чем вы занимаетесь – помогаете.

Они долго молчали, глядя друг на друга.

Почему? – спросила Сэди, а Доми ответила: чтобы что-то изменилось к лучшему, начинать надо с малого.

Сэди захлопнула конторскую книгу. Я тоже хочу помогать, сказала она.

Она ждала, что Доми над ней посмеется, но Доми не рассмеялась, а села в кресло напротив стола, как будто Сэди здесь главная, а она, Доми, просительница.

Может быть, и для тебя дело найдется, ответила она.

Несколько дней ушло на разговоры – Сэди рассказывала Доми все, что помнила: про полицию, про семьи, в которых жила, про всю систему ПАКТа. Как ее забрали, кто ее встретил, куда отвезли. Как ее несколько месяцев прятали в библиотеках и что она там видела. Чего она не сделала, а теперь жалеет, что посоветовала бы другим. А Доми слушала, запоминала.

Выходить из дома мне запретили, рассказывает Чижу Сэди. Вдруг увидят? Но Доми нашла, чем меня загрузить. И она ищет моих родителей, пытается выйти на их след.

Сэди умолкает, вздыхает, и Чижу ясно, что сейчас лучше ни о чем не спрашивать.

Она говорит, что рано отчаиваться, продолжает Сэди. Говорит... говорит, ну а вдруг повезет?

За день до того, как появился Чиж, очередная версия Доми завела в тупик, и Сэди она рассказала об этом осторожно, как сообщают новость о смерти. Будем искать дальше, заверила она, крепко обняв Сэди.

И спросила: а если бы я могла исполнить любое другое твое желание, чего бы ты хотела?

Сэди призадумалась.

День, когда можно делать все, что захочется, ответила она. Без чужих глаз, без слезки, без надзора. Всего только день.

Хмм, протянула Доми, задала ты мне задачку. Но что-нибудь да придумаем. Если ты согласна подождать немножко, до лучших времен.

И вот они здесь, Сэди и Чиж. Впереди у них целый день без присмотра, без надзора. День полной свободы.

Она мне рассказывала, говорит Сэди, про то, что они с твоей мамой видели в Кризис. Что делали – и чего не сделали. И что сделали бы по-другому. А помнишь тот день, когда ты пришел? – добавляет она с гордостью. Это я ей подсказала, какие тебе задавать вопросы. Она пришла ко мне наверх и говорит: о чем бы ты спросила, чтобы

убедиться, что перед тобой Чиж, а не самозванец? А я ей: спросите про велосипед. Про хлопья на завтрак, про школьный обед.

Ты знаешь, спрашивает Чиж, чем занята моя мама?

Сэди отвечает не сразу.

Доми мне не объясняла, признается она. Твоя мама заходила несколько раз, обсудить планы. Я подслушивала, добавляет она хитро. Но почти ничего не смогла разобрать.

Они вместе прикидывают. По их подсчетам, Маргарет разбросала тысячи крышечек, по всему городу. Дома у Герцогини Сэди просматривала газеты, следила за новостями по телевизору и в интернете – никаких подозрительных устройств, спрятанных в крышечках от бутылок, никто не находил. Все спокойно – по крайней мере, в городе. Если они что-то готовили, то пока не осуществили. Неделью за неделей оно зрело, неотвратимо, словно натягивалась пружина.

Что-то будет! – говорит Сэди.

Еще бы, вторит Чиж. Мама ничего не делает наполовину.

И Доми, по-моему, тоже.

Их взгляды встречаются.

Чиж, говорит Сэди, я точно знаю, после этого все переменится. После того, что они затеяли.

Они умолкают, пытаюсь представить, какая жизнь настанет. Чиж вскакивает, кипит от нетерпения, ищет, куда выплеснуть избыток чувств.

Пойдем к воде, предлагает он.

Они шагают по тропинке к краю леса, и вот она, бухточка, – искрится на солнце, синее до самого горизонта. Чиж подбирает камешек и кидает подальше в море. Плюх! – и вода заглатывает камешек залпом, и от него расходятся круги, бегут к берегу, к ногам Чижа. Правду говорила Герцогиня – куда ни глянь, никого, ни признака человеческого жилья, только серебряная гладь бухты, а со всех сторон густые деревья. С высоты, должно быть, кажется, будто это великан ткнул пальцем прямо у воды, и получилось отличное место для домика.

Никогда еще Чиж не был так далеко от людей. Сколько он себя помнит, рядом были люди – присматривались, прислушивались. Даже если их не видно, все равно знаешь, что они тут – за окном, за стеной,

за углом. А здесь никого, и он, Чиж, чувствует себя гигантом. Вдруг Сэди ахает, и он тоже, спугнув с соседнего дерева стаю воробьев, – и вот оба уже бегут, визжат, месят ногами гальку, гоняют белок, пугают бархатистых бурундуков, что прячутся под корнями деревьев. Когда Чиж и Сэди, счастливые, падают без сил на песок, звенящая тишина, что обступает их, кажется им громче собственных голосов. В этот миг они и думать забыли о родителях. Они просто дети, за игрой.

Давай зайдем в воду, предлагает Сэди. По щиколотку, и все.

Сняв кроссовки, носки и закатав по колено джинсы, оба заходят в воду, и от их ног разбегаются небольшие мутные круги. Вода ледяная, но они не замечают холода. Здесь полно деревьев, есть где полазить, – не чахлые кустики вокруг школьной площадки, что пробиваются сквозь асфальт, а настоящие, высоченные деревья, даже Сэди не рискнула бы долезть до вершины.

Весь день они подмечают то одно, то другое: вот листок клевера, а на нем светлый узор, будто кто-то вывел тонкой кистью галочки. Вот семейка грибов с ярко-рыжими шляпками; вот нежные зеленоватые лишайники, прилегают к стволу дерева плотно, словно рыба чешуя. Вот стройная молодая березка с такой густой кроной, что клонится к земле, согнулась почти в дугу, но живет, растет вопреки всему, тянет к свету зубчатые зеленые листья. Октябрь на исходе, скоро зима, а в лесу жизнь не замирает.

Близится вечер, но тут Сэди вскрикивает, и Чиж, подбежав, едва успевает увидеть, как по песку семенит маленький краб величиной с монету. Приглядевшись, Чиж замечает их всюду – они тут и там, даже не особо прячутся. Он не присматривался до сих пор, вот и не замечал. Чиж и Сэди пробуют ловить крабов – гоняются за ними по берегу, пытаются сгрести их в ладони, один даже хватает Сэди крохотными клешнями за палец, но в руки они не даются – прячутся в песчаные норки, меж камней, исчезают в воде.

Нужна куриная ножка, заявляет Сэди со знанием дела. И опускается на корточки. Без нее никак. На нее ловятся большие крабы, куда крупнее этих.

Она умолкает.

Мама однажды летом взяла меня с собой ловить крабов, продолжает Сэди после паузы. Привязываешь к леске куриную ногу,

закидываешь в воду, а когда краб клюнет, тянешь леску на себя, по чуть-чуть, вытаскиваешь краба – и в сачок.

Чиж представляет, будто его родители, шлепая по мелководью, учат его ловить крабов. Оба смеются, как в прежние времена. Тянут леску с тяжелым уловом. Вдруг он спохватывается: сколько сейчас времени, чем занята мама, начала ли уже задуманное? В синем небе ни облака, но Чиж все равно вглядывается, крутит головой – не принесет ли ветром со стороны города клубы дыма.

Разве крабы курицу едят? – спрашивает он, отогнав непрошенные мысли, и Сэди кивает: они всеядные.

Мама мне рассказывала, продолжает Сэди, перекатываясь с пятки на носок, про то, что бывает в тех краях, где она росла. Примерно раз в год, ночью, много-много крабов выплзает на сушу. То ли приливы-отливы на них действуют, то ли фаза луны, то ли что-то другое. Называется это «праздник». Встаешь среди ночи, идешь к морю, а их у берега тьма-тьмушая. Так и ползают, хоть голыми руками их собирай и таскай ведрами. Люди их грузовиками возили. Мама и вся ее родня – дядья, тетки, двоюродные братья-сестры – ловили крабов. А потом разводили большой костер, готовили крабов и пировали ночь напролет, прямо на пляже.

Ого! – удивляется Чиж.

Мама рассказывала, что в детстве летом каждую ночь ложилась спать в купальнике и долго лежала в темноте с открытыми глазами, ждала «праздника».

Сэди, задумавшись, смотрит куда-то вдаль.

Мама говорила: когда-нибудь летом съездим туда, познакомимся со всей родней. Но мы так и не выбрались.

В вышине медленно кружит ястреб.

Мы ее найдем, говорит Чиж. Моя мама, Доми – они ее точно найдут.

Они давно уже ищут, отвечает Сэди. Не знаю, можно ли ее вообще найти.

Чиж озадачен: впервые на его памяти голос ее звучит так неуверенно.

Если можно найти, отвечает Чиж без колебаний, – значит, точно найдут. Мама, думает он, слов на ветер не бросает.

После того, что твоя мама затеяла, говорит Сэди, все станет по-другому.

И с небольшой запинкой продолжает: то есть должно стать по-другому. Да?

Эта ее заминка не дает Чижу покоя, словно заноза. Сэди смотрит вдаль, на горизонт, в глазах ее стоят слезы, блестят, как стекло, в теплом свете предвечернего солнца. У него тоже щиплет глаза. Он вспоминает все, что ему рассказала мама, и как оберегал его папа все эти годы. Старика в пиццерии, прохожего в общественном саду. Женщину с собачкой. Родителей Сэди, маминых родителей. Родителей отца, которые исчезли из их жизни, встревоженную миссис Поллард за компьютером, плевок Ди-Джея Пирса под ногами. Все, что нужно изменить, кажется огромным, неподъемным.

Слушай, предлагает Чиж, давай огонь разведем.

Сработало: удалось вернуть Сэди из мира мечты в настоящее. Прямо здесь? – спрашивает она.

В камине, отвечает Чиж. Крабов не запечем, так хотя бы огонь разожжем.

Вдвоем они складывают поленья. Небольшое, нужное дело. Меня папа учил, говорит Сэди, в детстве он был бойскаутом. И много всего умел полезного – узлы вязать, находить по звездам, где север. Дрова складывают домиком, вот так. Сухую траву, на нее хворост, а сверху поленья.

Чиж краснеет. Отец никогда его не учил ничему практическому, вроде этого. Как в сказке про трех поросят, говорит он. Сэди хохочет, и Чиж переполняет странная гордость. Приятно, когда удастся кого-то рассмешить.

Готово! – Сэди чиркает спичкой.

Сухая трава занимается сразу, следом вспыхивает теплым оранжевым пламенем хворост. А потом все заваливается и тухнет. Тьфу ты, выдыхает Сэди. И сгребает остатки в сторону палкой. Давай еще раз.

Они опять складывают дрова домиком. Чиж оглядывается в поисках растопки – возле камина кипа газет. Берет верхнюю, начинает комкать и замирает: смотри!

Газета почти пятнадцатилетней давности. Самый разгар Кризиса. «ШЕСТОЙ ДЕНЬ БЕСПОРЯДКОВ В СТОЛИЦЕ: 400

## АРЕСТОВАННЫХ. УБИТЫ 12 БУНТОВЩИКОВ И 6 ПОЛИЦЕЙСКИХ».

Фото на первой полосе: Вашингтон в огне, бегущая толпа. Гонятся за кем-то? Или убегают? Не понять, просто мчатся со всех ног, не разбирая дороги. Одеты они во все черное – низко надвинутые черные шляпы, черные маски и шарфы, черные ботинки на толстой подошве, – даже не разберешь, демонстранты это или полицейские. На тротуаре – сразу на снимке и не заметишь – лежит мертвая женщина, лица не видно, в волосах запеклась кровь. На заднем плане, на фоне дымно-оранжевого неба, темнеет Монумент Вашингтона, словно грозящий палец.

Чиж обеими руками сминает газету в тугую ком, фотографией внутрь.

Давай еще раз, говорит он.

Затолкав газету в сложенный ими кособокий шалашик, Чиж тянется за спичками.

На этот раз пламя съедает бумагу, превращает ее в пепел, а само ползет вверх. Огненные язычки робко лижут хворост и вот-вот потухнут, и тут Чиж припоминает один папин рассказ – историю одного слова. Он становится на четвереньки, лицом к огню. И, вытянув губы трубочкой, выпускает воздух, нежно-нежно, словно посылает воздушный поцелуй или дует на ушиб, и пламя разгорается, растопка съезживается и, вспыхнув на миг ярчайшим, небывалым оранжевым светом, вновь тускнеет, когда у Чижа кончается воздух. Сэди, пристроившись рядом, тоже дует, и пламя постепенно оживает. Это все равно что смотреть, как разгорается на щеках румянец, как занимается заря на темном небе.

В тишине они по очереди раздувают огонь – Чиж, потом Сэди, потом оба вместе, вдыхая в него жизнь, – и вот занимается хворост потолще, затем поленья, и пламя становится ровным, спокойным и жарким.

*Spirare*, слышит Чиж папин голос. «Дышать». *Con* – «вместе». Так что «конспирация» означает буквально «вместе дышать».

Звучит жутковато, говорит Сэди, и только тогда Чиж понимает, что произнес это вслух. Но дышать вместе, дышать одним воздухом – разве это не прекрасно?

Они сидят притихшие, и Чиж вспоминает, как совсем недавно сидел с мамой за маленьким складным столиком, слушая ее шепот, пытаясь воссоздать картину, и оба вдыхали один и тот же спертый воздух. Сэди подбрасывает в камин палку, подталкивает поближе к огню, и вот палка загорается, чернеет. За окном сумерки, но еще тепло, и видно, как в воздухе вспыхивают искры. Светлячки. Впопыхах они оставили дверь открытой, и в хижину залетает светлячок, за ним другой, словно алое пламя очага рассыпает зеленые искры.

А ведь я ее раньше ненавидел, вырывается вдруг у Чижа.

Но теперь уже нет?

Долгое молчание. Рядом с ними кружат и мечутся яркие искры.

Нет, отвечает Чиж и чувствует, что сказал правду. Теперь уже нет.

Ужинают они припасами из пакета, что оставила им Герцогиня. Чиж кипятит воду, заваривает пакетик вермишели-паутинки. Вкуснотища, нахваливает Сэди. Знаешь, приемные родители мне не разрешали зажигать плиту. Не доверяли. Как будто я пожар им устрою.

Они макают хлеб в остатки соуса.

Как думаешь, чем она сейчас занята? – спрашивает Чиж.

Сэди морщит лоб: готовится. Готовится все это включить.

Все это – сотни, тысячи крышечек, которыми нашпигован город.

Как думаешь... Чиж мнется. Как думаешь, она и вправду опасный человек? По-моему, она никому бы не сделала больно. Или могла бы?

Оба долго молчат, думают.

По-моему, говорит наконец Сэди, всякий может сделать больно другому, если причина очень серьезная.

Чиж вспоминает, как мама при виде патрульной машины потянула его в тень, и глаза у нее сверкнули, точно у разъяренной тигрицы. Вспоминает, как папа в общественном саду повалил на землю его обидчика. И в кровь сбитые костяшки вспоминает. Чем не опасные люди? Неистовая любовь к нему сделала их опасными.

Спать они ложатся рано, сбегав по очереди в душ, а в камине догорает огонь, разожженный с таким трудом. Скорей бы наступило завтра. Завтра Доми и Маргарет отвезут их обратно в город. В город, где все станет по-другому, совсем по-другому, и все благодаря тому, что затеяла Маргарет.

Уже началось, говорит Сэди, улыбаясь от предвкушения. Представляешь, Чиж, уже началось, – и Чижу нечего на это ответить.





На исходе дня она берется за дело.

Открывает старенький ноутбук, который сама собрала из запчастей, найденных на улицах, – значит, не зря она ночевала в библиотеках, до рассвета штудировала книги. Впервые за все время она включает вай-фай. Это рискованно, сигналы могут отследить. Но слишком долго она молчала, глушила собственный голос. Пришло время высказаться.

Пальцы стучат по клавиатуре, запускают программу, которую она написала для такого случая. Подав сигнал, она ждет, когда все подключатся, настроятся на ее команды. Крышечки, которые она целый месяц начинала и раскладывала. Все это она тщательно продумала до прихода Чижа.

У нее все просчитано: по одной на два квартала до Финансового округа, а в другую сторону – почти до Гарлема. Все в пластиковых корпусах, и дождь им нипочем; маленькие, поэтому их можно прятать там, куда неделями никто не заглядывает. Даже если какую-нибудь и заметят, никто не обратит внимания – мусор, да и только. Никто ведь не приглядывается к содержимому сточных канав, урн, мусорных баков – наоборот, этого всячески стараются не замечать. По ее подсчетам, она спрятала две тысячи одиннадцать; сколько из них сейчас в рабочем состоянии, многие ли подключатся и отзовутся?

Десять, потом пятнадцать. Двадцать пять.

Вначале она не знала, что делать с собранными рассказами. Впервые ее осенило, когда одна из матерей, стиснув ей руку, произнесла дрогнувшим голосом: «Всем расскажите, что случилось с моей дочкой. Пусть весь мир узнает. Хоть с небес прокричите, если сможете». Окончательно идея обрела форму солнечным утром в Лос-Анджелесе, когда Маргарет, подняв взгляд, увидела вышку мобильной связи, кое-как замаскированную под дерево. Завернутую в зеленый брезент с узором из листьев, ветки торчат под прямым углом, неподвижные, словно руки у манекена. Северное дерево среди пальм, несоразмерно высокое – торчит, возвышаясь над живыми деревьями, и чуть слышно гудит. Что за послания оно передает? Маргарет на миг

закрыла глаза и представила, как слова становятся видимыми, как голоса сетью опутывают город.

Сейчас она снова вспоминает об этом, глядя на монитор, где видно, как подключаются крышечки. Семьдесят, сто, двести.

В каждой крышечке – крохотный приемник, настроенный на частоту, которую транслирует сейчас ее компьютер. И миниатюрный динамик. С приемом до десяти миль, обещала ей Доми, качество звука отличное, слышно будет на весь квартал, а то и дальше. Отец Доми на этой технологии сколотил состояние, но ему и не снилось, для чего она пригодится. Друг за другом крышечки оживают, цифры счетчика ползут вверх. Двести пятьдесят. Триста. Каждая крышечка – светящаяся точка на карте, и точки эти тянутся на север от Бэттери-парка, усеивают китайский и корейский кварталы, Адскую кухню, испещряют Средний Манхэттен и Верхний Вестсайд. Их уже больше пятисот, и с каждой секундой вспыхивают новые. Когда счетчик замирает на отметке «тысяча девятьсот», Маргарет наскоро прикидывает в уме. Почти девяносто пять процентов, твердая пятерка. Родители бы ею гордились.

Маргарет подносит к губам микрофон, откашливается, и по всему городу, квартал за кварталом, потрескивая, просыпаются приемники в крышечках, ловят ее волну. Голос пробивается из-под корней деревьев, из мусорных баков, из трещин в стенах, из-под фонарных столбов – отовсюду, где она за последний месяц успела спрятать крышечки. До сих пор они лежали незамеченные, ждали своего часа, а теперь из этих кругляшей льется ее голос, на удивление громкий, пугая прохожих. Голос этот, чуть с хрипотцой, будто старая пластинка, звучит во всех концах города. Один-единственный голос, но говорит он от имени многих.

Необязательно это делать вживую, советовала Доми. Можно и в записи, так безопаснее. Твое присутствие необязательно. Говорила Доми ласково, как с упрямым ребенком.

Маргарет покачала головой: пусть, но я так хочу.

Она не может объяснить почему, но сердцем чувствует: есть вещи, которые человек должен делать сам. Давать показания. Прощаться с умирающими. Поминать ушедших. Есть дела, которые требуют твоего присутствия. Но есть и еще причина, которую Маргарет до конца не

осознает, лишь чувствует, как чувствуют присутствие призрака. Она не успела проститься с родителями, они умерли в одиночестве, без нее, а она должна была быть рядом, увидеть того, кто толкнул отца, выжечь в памяти его лицо каленым железом; должна была сидеть возле больничной койки отца, среди миганья и писка приборов, должна была поцеловать его на прощанье. Должна была подхватить маму, и если не спасти, так хотя бы успеть посмотреть с любовью в ее гаснущие глаза. Словами этого не передать, но Маргарет чувствует всей душой, насколько это неправильно, как чувствует биение собственного сердца, громкое, словно литавры. Ее родители так и не дождались заботы, положенной им по праву, зато теперь она хоть немного позаботится о тех, чьи истории собирается рассказать, – это все равно что сидеть рядом и держать за руку.

Одна в темном заброшенном доме, она открывает первую из записных книжек с историями, собранными за последние три года, у нее их целая библиотека, и они всегда при ней. Рассказы, бережно записанные бисерным почерком, – ей поручено их сохранить и поделиться. Она читает вслух то, что ей нашептали, – пусть ее устами говорят родители тех детей. История за историей, ребенок за ребенком.

Сначала – общий контур. Только имя, чтобы никого не выдать. *Эммануэль. Джеки. Тьен. Паркер.* Город, откуда они родом. *Беркли. Декейтер. Юджин. Детройт.* Сколько было им лет, когда их забрали. *Девять. Шесть. Семь с половиной. Два.*

А дальше нужно добавить красок – обрисовать подробности жизни, то, из чего складывалась неповторимость каждого ребенка.

Мелочи – то теплое, человеческое, в чем видна суть каждого. Спасение в малом.

*Его улыбка была так переменчива. Только что смеялся, радовался – и вот уже хмурится. Даже к игре в «ку-ку» он подходил со всей серьезностью. Словно уже тогда предчувствовал, что мы можем исчезнуть, будто спрятавшись под одеялом.*

*Она отказывалась есть еду с углами. Я ей делала круглые бутерброды, а сама питалась уголками, подъедая за ней обрезки.*

Прохожие сначала останавливаются в недоумении. Откуда голос? Озираются, ищут источник звука. Кто-то стоит за спиной? Или вон за тем деревом? Нет, никого. И, вслушавшись, уже не могут оторваться. Слушают историю, другую. Третью. Медлят, и вот они уже не одни – вокруг собираются группки, затем толпы, и все молчат, слушают. Привычные ко всему ньюйоркцы – они пройдут равнодушно мимо танцоров в метро, их не смутит ни толпа туристов с фотоаппаратами, ни уличный продавец в костюме сосиски, – и вот эти люди останавливаются, слушают, создавая на тротуарах заторы. Голос слышен отовсюду, точно из воздуха, – потом кто-то скажет, что он гремел с небес, словно глас Божий, но большинство будут настаивать, что все было ровно наоборот: голос шел у них из самого нутра и при этом обращался к ним самим, и пусть говорил он о чужих бедах, о чужих детях, о чужой боли, всем казалось, что речь и о них тоже, а истории, что лились нескончаемым потоком, – вовсе не чужие, а часть большой истории, куда вплетены и их жизни.

*В тот вечер, когда тебя забрали, я на тебя сердилась: ты изрисовал несмываемой ручкой стены, и ковер, и лицо, и руки – все исчеркал черным. Я тебя отишлепала, и ты лег спать в слезах, а когда я отмывала губкой стену, к нам в дверь постучали.*

Пусть люди помнят не только их имена, не только лица. Не только то, что их разлучили с родителями. Пусть запомнят, какими они были, ведь каждый из них человек – особенный, неповторимый, не похожий на других.

*Помнишь, как мы ездили на дамбу? В тот день столько было вокруг всего удивительного: и морские львы в заливе, и колесо обозрения на фоне синего неба, и чайки над головой, а когда стало смеркаться, я предложила вместо ужина поесть мороженого, а ты на меня посмотрел так, будто у меня крылья за спиной отросли. Ты ел мороженое с арахисовой пастой и взбитыми сливками, а я – шоколадное. Домой мы возвращались в переполненном трамвае, я посадила тебя на колени, и ты уснул и обслюнявил мне шею,*

*и слюни были с арахисовой пастой. Надеюсь, ты помнишь тот день. Надеюсь, ты помнишь мороженое на ужин.*

Рано или поздно ей придется умолкнуть, она это прекрасно понимает. За ней уже охотятся. Ищут устройства, ломают одно за другим. Она как могла постаралась усложнить им задачу. Пусть идут на ее голос, протискиваются сквозь толпу, ищут источник звука. Им не обойтись без фонариков – пусть заглядывают в каждую щель, дырявя тьму тонкими иглами лучей. Пусть всюду лезут руками – в заплеванные, облепленные изнутри комками жвачки урны, в склизкие водостоки, в зловонные люки, пусть роются в собачьем дерьме, ищут крышечки, которые она так старательно маскировала. Выключить динамики нельзя, можно только сломать; их станут топтать ногами, но голос будет слышен из других устройств, в соседних кварталах; пусть убеждаются с каждой новой крышечкой, что их сотни, что как бы широко ни раскинули они сеть, все равно кто-то услышит истории. Надо постараться подольше играть с ними в прятки. Всех устройств им не отыскать, но рано или поздно они поймут сигнал и по цифровому следу доберутся сюда, в этот дом, где она сидит с микрофоном и стопкой блокнотов, которые носила при себе так долго, что обложки затерлись и покособились. Когда за ней придут, она будет уже далеко.

Надо успеть рассказать как можно больше историй. Время еще есть. Про одну семью, про другую. Какие воспоминания для вас самые дорогие? – спрашивала она осиротевших родителей. Что бы вы хотели передать своему ребенку? Все их слова она записывала – и сейчас, как обещала, говорит от их имени, произносит вслух то, чего не могут сказать они.

*Когда мне не спится, я считаю в уме твои родинки. Одна на виске, на самом хрупком месте. Другая на правой щеке, возле уха. Одна на сгибе локтя, еще одна сбоку от колена, две на запястье, там, где косточка. Эти метки у тебя были, еще когда я носила тебя под сердцем. Не знаю, видны они сейчас или поблекли со временем. Или появились новые, которых мне уже не увидеть.*

*На ночь ты мне заказывала сны. Сегодня, говорила я, ты будешь во сне русалкой, будешь странствовать по огромному затопленному городу. Или так: сегодня ты полетишь в ракете меж сияющих звезд. В один из вечеров я устала, ничего не приходило на ум. А по правде сказать, ты весь день вела себя скверно, и мне хотелось одного – побыстрей тебя уложить. И я сказала: пусть тебе приснится, что ты лежишь в теплой кровати и сладко спишь. Что за скучный сон, мама, ответила ты, в жизни мне такая скукотища не снилась. И ты была права, но теперь для меня этот сон чудесней всех на свете, ничего другого я и не желаю.*

Когда ее возьмут в кольцо, настанет пора спастись бегством. Глядя, как один за другим гаснут огоньки у нее на карте, Маргарет определяет, близко ли погоня. Доми ждет на Парк-авеню; план такой: Маргарет прочтет сколько успеет, а потом разобьет ноутбук, возьмет свои записи и убежит.

Слушает ли ее хоть кто-то? Или проходят мимо? И разве способна что-то изменить одна история, даже все истории вместе взятые, если их услышит суматошный мир – мир, который движется с такой скоростью, что все звуки, все голоса сливаются в монотонный гул, и пусть даже твое внимание зацепится за что-то необычное, тебя тут же протащит мимо, выдрав помеху, словно занозу или пчелиное жало. В таком шуме трудно что-то расслышать, а если кто и расслышит, разве изменится что-то от этих слов, от эпизода из жизни посторонних людей, ведь слушатель знать их не знает и не увидит никогда? Подумаешь, история. Подумаешь, слова.

Маргарет не знает, можно ли таким способом повлиять на события. Не знает, слушает ли кто-нибудь. Она здесь, взаперти, рисует кошку за кошкой и выпускает на волю, не зная, вонзится ли хоть один коготь в чудовище, что маячит поблизости.

И все-таки, перевернув страницу блокнота, она продолжает.

*Все молочные зубы, которые ты прятал под подушку, я складывала в жестянку из-под мятных пастилок. Иногда я ее достаю, высыпаю их на ладонь, и они позвякивают в*

*кулаке, словно бусины. Жестянку я храню в коробке с украшениями – самое подходящее место для этих крохотных драгоценностей, частичек тебя.*

*Я надеюсь, ты счастлив.*

*Я надеюсь, ты знаешь, как сильно...*

*Я надеюсь...*

До последней минуты Маргарет верит, что успеет. Успеет, как обещала, рассказать все записанные истории и вернуться к Чижу. Но она ошибается. Ночная тьма понемногу рассеивается, и далеко-далеко, там, где небо сходится с океаном, уже встает солнце. Слышен шум: машина, другая, третья. Четвертая. Визг тормозов, затихающий гул моторов – и внезапная мрачная тишина.

У нее остались еще записные книжки с рассказами, которые она не успеет прочесть. Она просчиталась. Засиделась слишком долго.

И тут они обрушиваются на нее, словно воронье, осеняя черными крылами, не давая вздохнуть, – все бессчетные ошибки материнства. Все случаи, когда она причиняла боль тому, кого всей душой стремилась оберегать. Однажды она посадила Чижика к себе на плечи, и он ударился головой о дверную притолоку, и на лбу у него расцвел кровоподтек цвета сливы. В другой раз она дала ему чашку с едва заметной трещинкой и он чуть не проглотил осколок. Мысленный список грехов бесконечен и неизгладим, каждое воспоминание запускает в нее когти, гнетет, норовит пригвоздить к месту. Однажды она кольнула его иголкой, когда вытаскивала занозу, и из пальца у него выступила алая капля крови. Как-то раз она на него накричала, когда он раскапризничался, и оставила одного в слезах. Из-за строчки в ее стихах он оказался в опасности, потом она его надолго покинула и теперь снова покидает. Поймет ли он когда-нибудь? Сквозь распростертые крылья мрака она смотрит на записные книжки, разбросанные на столе. Целый ворох, а в них истории людей, воспоминания и сожаления, ошибки и любовь – все, что они хотели бы сказать детям, потерянным, быть может, навсегда. Возможно, думает Маргарет, в этом и есть суть жизни: бесконечный список прегрешений не уравнивает список радостей, они просто накладываются друг на друга, перемешиваются, сливаются, из этой мозаики и состоит

человек, семья, жизнь. Вот какой урок усвоит Чиж: мама тоже может ошибаться. Как все люди.

Закрыв блокнот, что лежит перед ней, Маргарет откладывает его в сторону, к остальным. Есть лишь один способ унести эти истории с собой, и, чиркнув спичкой, она поджигает стопку.

А затем, пока есть минута, пока они еще не здесь, хоть и близко, она начинает еще один рассказ, последний. Покаяние, признание в любви. Рассказ не записанный, потому что она его помнит наизусть. Закрыв глаза, она произносит:

*Чиж, почему я рассказывала тебе так много историй? Чтобы мир стал для тебя понятней. Осмысленней. Чтобы все в мире наделить смыслом.*

*Когда ты родился, папа хотел дать тебе мою фамилию. Мяо, «саженец». Ему нравилось думать, что ты наш росток. Но я выбрала для тебя его фамилию, Гарднер. От английского слова «садовник». Я хотела, чтобы не только тебя растили, но и сам ты что-то выращивал. Был бы хозяином своей жизни, вкладывал силы в будущее, тянулся к свету.*

*Но есть и другая версия происхождения твоей фамилии. Gar – «оружие», дуп – «тревога». Тот, кто, услышав сигнал тревоги, выходит с оружием. Воин-защитник, стоящий на страже всего, что ему дорого. Тогда я этой версии еще не знала. Но теперь я рада, что в тебе уживаются два начала. Тот, кто заботится о будущем, и тот, кто оберегает настоящее.*

*Сколько еще историй я не успела тебе рассказать! Придется тебе их узнавать от других – от папы, от друзей. От добрых людей, что встретятся на пути. От всех, кто помнит.*

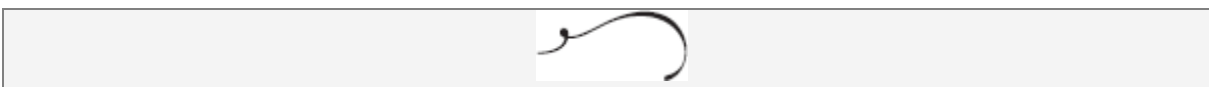
*Но, по большому счету, все эти истории в чем-то схожи. Жил-был мальчик. Жила-была мама. Жил-был мальчик, и мама его очень любила.*

Когда она замолкает? Как заставить себя прервать рассказ о том, кого любишь? Снова и снова перебираешь дорогие воспоминания,



согреваешь их своим теплом, затираешь до дыр. Смакуешь каждую мелочь, затверживаешь их наизусть, хоть они давно вошли в твою плоть и кровь. Разве кто-то из нас может сказать, вспоминая лицо ушедшего близкого: да, я на тебя вдоволь насмотрелся, я тебя достаточно любил, нам с тобой хватило времени, всего хватило?

Занеся ноутбук над головой, Маргарет с размаху разбивает его об пол и в ту же секунду слышит, как за спиной открывается дверь.



Когда Чиж и Сэди просыпаются, солнце уже встало. Спросонья не узнают место, но тут же вспоминают: хижина, план Маргарет. За окном деревья, высокие, прямые, словно стрелы, нацеленные в небо. Оба уверены, что план Маргарет удался, что теперь благодаря ей все стало иначе, что скоро она приедет с Герцогиней и они увезут их в преобразенный город, где все так, как должно быть.

Да только никто не едет. Позавтракав хлопьями, они садятся на крыльцо и ждут. День пасмурный, душный, все звуки приглушены, как под толстым одеялом. То и дело им что-то слышится – шорох шин по гравию, рокот мотора. Но нет, никого.

Скоро приедут, заверяет Сэди. Просто пробки на дорогах, и все. Они уже скоро.

В хижине нет ни телефона, ни компьютера, ни интернета. Никакой связи с внешним миром. Только сейчас Чиж и Сэди осознают, насколько слабо они представляют, где находятся, – по дороге сюда они вскоре перестали обращать внимание на указатели. Тогда их не волновало, что вокруг на сорок семь акров ни души. Как в таком месте выйти к людям? В вышине над макушками деревьев темнеют и сгущаются тучи.

А вдруг никто за нами не приедет? – спрашивает Чиж. Оба задумчиво молчат. Какое-то время они здесь продержатся, здесь тепло и сухо, запас еды, что оставила им Герцогиня, можно растянуть на несколько дней или даже на неделю. А потом?

Попробуем найти соседей и от них позвонить, предлагает Сэди.

Но обоим ясно – дело это безнадежное. В какую сторону надо идти и где искать ближайшее жилье, а если удастся его найти, то кому звонить? Они прикидывают: можно по длинной гравийной дороге выйти к шоссе, а дальше двигаться вдоль него, и оно куда-нибудь да выведет – или в город, или от города, но, так или иначе, к людям. А дальше? Дальше мысль упирается в тупик. Тот, кого они встретят, ясное дело, позвонит куда следует, и их заберут, причем поодиночке. Внезапно раздается шорох, потом треск, оба замирают, но нет, никого, просто ветер качает деревья, треплет ветки. Чиж не представлял, до чего шумно в лесу.

Вдруг что-то случилось? – говорит Чиж.

Он не уточняет, но оба думают: вдруг они попались – Маргарет, или Герцогиня, или обе, – вдруг их арестовали, вдруг никто за ними уже не придет? Или – эта мысль, еще страшнее, приходит обоим почти одновременно, но вслух они ее произнести не смеют – вдруг за ними уже едет полиция и вот-вот будет здесь? Страх мурашками бежит по коже.

Сэди качает головой, будто можно отвести беду, отказавшись в нее верить.

Этого просто не может быть, говорит она. Они осторожные, они все просчитали. Они такого не допустят.

Пойдем в дом, предлагает Чиж и встает, но Сэди не трогается с места. Идем, уговаривает он, смотри, дождь собирается. И верно, стало душно, воздух влажный, как перед грозой. Но Сэди сидит на крыльце, обхватив руками колени.

Если хочешь, иди. А я здесь побуду. Они уже скоро, я знаю.

Чиж мнетя на пороге, не хочет бросать Сэди, не хочет идти один. Стоя в дверях, он смотрит на дорогу, что вьется меж деревьев и теряется вдаль. Дорога пуста, и вот уже крупные капли стучат по дощатому крыльцу, расползаются темными кляксами.

Сэди, зовет Чиж, Сэди, пойдем.

Дождь шелестит, будто шипят тысячи крохотных змеек, испещряет землю тысячами ямок. Ямки превращаются в воронки, воронки – в лужи. Струи заливают дорожку, крыльцо, попадают на Сэди, а она все сидит, упрямо глядя на дорогу, и наконец, промокнув, заходит в дом.

Чиж захлопывает за ней дверь, оставив за порогом шум дождя и ветра, и тишина оглушает его. С одежды Сэди стекают ручьи, возле ног собирается лужица. Волосы прилипли к щекам, она даже не пытается вытереть лицо, и Чиж не понимает, то ли она плачет, то ли это просто дождь. Чиж трогает ее за плечо, но Сэди отмахивается.

Все нормально, говорит она.

Идет к себе в комнату переодеться и возвращается, что-то сжимая в руке.

Смотри, что я в тумбочке нашла.

Оранжевый пузырек с белой крышкой. Сэди трясет его, внутри перекатываются таблетки, гремят, словно градины.

Чиж и Сэди читают поблекшую этикетку: *Херцог, Клод. Во время приступа паники принять 1 таблетку*. Срок годности у них кончился в разгар Кризиса. Сэди свинчивает крышку, говорит: всего две осталось. А было... она смотрит на этикетку, а было сто пятьдесят.

Под шорох дождя они принимаются обыскивать дом, будто выворачивают чьи-то карманы. В тумбочке находят лавандовое масло, руководство по медитации, три вида снотворного. Письма на незнакомом языке, с иностранными марками. В другой тумбочке – огрызок карандаша, сборник кроссвордов «Проще простого!», бутылка из-под виски, коробка из-под патронов. Лишь сейчас они замечают, что матрас с обеих сторон продавлен, а ковер возле кровати протерт, – здесь, должно быть, каждое утро кто-то подолгу топтался, собирая силы перед новым днем. Замечают заклеенную трещину в абажуре ночника, ожоги от сигаретного пепла на дощатом полу.

Все, что есть у них в распоряжении, – это время. То и дело им чудится шум, словно кто-то подъезжает, но когда они подбегают к окну с видом на дорогу, всякий раз оказывается, что это всего лишь ветер, или дождь барабанит в стену, или скрипят и стонут деревья. На кухне, в глубине самого верхнего шкафчика, они находят упаковки макарон и фасоли, срок хранения которых истек еще до их рождения.

Только сейчас им удается представить, как переживали Кризис обитатели хижины – среди леса, вдали от людей. Не зная, что творится в мире, в страхе, что происходящее доберется и до них. С ужасом думая, что ждет их за порогом убежища. Им повезло, они могли отсидеться в уютном домике с запасом еды, с горячей водой и отоплением. У них была возможность залечь на дно, переждать

тяжелые времена. А теперь на их месте Чиж и Сэди, жмутся друг к другу, постепенно осознавая: только здесь, в хижине, по-настоящему безопасно, это единственная возможность спастись, за которую стоит держаться. Приедет ли за ними кто-нибудь? И если приедет, то кто – друг или враг, и скоро ли, и какие принесет вести? Или они умрут здесь, одни, покинутые, отрезанные от мира? А если бы они остались в городе, какие бы ждали их опасности – или уже все равно?

В пасмурный, серый полдень они снова растапливают камин – пусть будет тепло, пусть пляшет в очаге пламя, теплое, живое. В этот раз получается лучше, уже наловчились; они смотрят, как огонь пожирает заголовки на смятых газетных листах.

ИНДЕКС ДОУ-ДЖОНСА ПАДАЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ МЕСЯЦ,

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ПЛАНИРУЕТ ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ.

ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, РЫНОЧНЫЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ КИТАЯ – ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА.

Вот огонь разгорелся, растопка уже не нужна, но они всё перебирают газеты, читают заголовки, разглядывают фото на первых полосах. Путешествуют в прошлое.

ЗАПРЕТ НА СОБРАНИЯ ПРОДЛЕН ДО КОНЦА АВГУСТА.

СЕНАТ ОБСУЖДАЕТ МЕРЫ ПРОТИВ КИТАЙСКИХ ПРОВОКАТОРОВ.

ОПРОСЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ВСЕНАРОДНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЗАКОНОПРОЕКТА «ПАКТ».

Ну их. Сэди бросает газеты обратно в стопку. Не хочу смотреть на это.

Сидя в тишине, они поддерживают огонь – то хвороста подбросят, то положат в камин полено и ждут с тревогой, скорей бы занялось. В дымоход попадают капли дождя и с шипеньем испаряются в огне. Оба понимают без слов, что должны поддерживать огонь во что бы то ни стало, иначе случится беда, исчезнет что-то бесценное, невозвратное,

что огонь – их единственное спасение и от него зависит не только их судьба, но и судьба мира. Если не дать огню погаснуть, Маргарет и Герцогиня за ними приедут, Маргарет не просто вернется целая и невредимая, а принесет весть, что план удался, что настали большие перемены, что получилось все исправить. Они своими руками сотворят чудо. А если огонь погаснет...

Они гонят прочь эту мысль, не смеют облечь страх в слова. В тот вечер они решают не затеваться с ужином, довольствуются сухим пайком – просто залезают в оставленный им пакет, когда голод дает о себе знать. Сушеная клюква, крекеры, жареный миндаль – так и день проходит. Когда темнеет, они не спешат расходиться по спальням, жмутся друг к другу у очага, глядя, как пламя пожирает поленья.

Если выглянуть за дверь, все кажется размытым, уже в нескольких шагах ничего толком не разглядеть. Не деревья, а отпечатки деревьев, зеленые пятна, исхлестанные черными влажными штрихами ветвей. Вместо вчерашней спокойной воды – серая муть, дыбится и клокочет где-то вдалеке. В воздухе висит дымка, будто соленые брызги морской пены, и они задерживают занавески, чтобы не видеть, что творится снаружи. Буря терзает крышу, дребезжат оконные стекла, с улицы несетя рокот – льет так, что шум ливня не отличить от рева океана. Они в утлом суденышке посередине шторма, и не разобрать, где что. Где верх, а где низ? Они уже ни в чем не уверены. Дощатый пол кренится, словно палуба, – может быть, это уже не дождь бьет по крыше, а волны подбрасывают хижину, точно лодку.

Мне страшно, говорит Чиж.

Сэди берет его за руку, и он чувствует живое влажное тепло ее ладони.

Мне тоже, отвечает Сэди.

До глубокой ночи они скармливают поленья огню, не желая сдаваться, – проваливаются в сон, а когда огонь слабеет, просыпаются от ночного холода, подбрасывают полено-другое, оживляют пламя, возрождают его снова и снова, и наконец, когда утренняя заря не успела еще позолотить горизонт, оба засыпают под колючим шерстяным одеялом, и огонь гаснет.



Просыпаются они замерзшие, словно одеревеневшие, смотрят на потухший камин, потом друг на друга.

Ну и что, спешит отмахнуться Сэди. Это не в счет, уже почти утро.

Говорит она со своей обычной бодрой уверенностью, но Чиж знает: она ждет от него поддержки.

Чиж кивает: ну и что.

За окном буря уже унялась, и они постепенно привыкают к гулкой тишине. Дождь теперь шуршит негромко, точно кто-то пальцами легонько барабанит по крыше. Вместо вчерашней мешанины – отдельные звуки, можно различить каждый. Вот капля стукнула в стекло. Вот другая упала в водосточный желоб, будто ударили в колокол. Вот первая птица пробует голос в предрассветной тишине, ей вторит еще одна.

Еще не рассвело, а они уже доедают на завтрак остатки хлопьев – надо быть готовыми ко всему, хоть к концу света. Потом, не сговариваясь, выходят на крыльцо и ждут, сами не зная чего. Заря едва занялась, воздух после ночной грозы чист и свеж, в кронах деревьев перекликаются птицы. Мир, омытый дождем, сделался на тон темнее, валуны из бежевых стали темно-золотыми, а серовато-бурая земля – почти черной, но все на своих местах. Из дупла выглядывает сонная белка и, повиснув вниз головой, лениво тянется вправо, влево. Возле ног Чижа пара хлопотливых муравьев, подхватили крошку от завтрака и неуклюже тащат ее в сторону муравейника.

Может быть, все еще наладится. Может быть, все хорошо, просто они задержались; может быть, Маргарет и Доми уже в пути, живые, невредимые и с победой.

Едут! – Сэди вскакивает.

Так и есть: меж деревьев шуршат по гравию колеса машины. Чиж и Сэди смотрят с крыльца, как она подъезжает. Машина Герцогини, такая шикарная и столь неуместная здесь – будто в замедленной съемке показывают, как пуля буравит чашу. Машина подъезжает еле-еле, словно нехотя. Сэди берет Чижа за руку, или он ее, непонятно, кто первый, – и они следят, как автомобиль приближается к хижине, мучительно медленно. Вот уже видны двое впереди, но сквозь тонированное стекло не разглядеть лиц, лишь силуэты, один за рулем, другой рядом. Машина тормозит, двигатель глохнет, открывается дверь

справа, и выходит не Маргарет, а кто-то долговязый, нескладный, оборачивается, и Чиж сдавленно ахает. Папа, за рулем хмурая Герцогиня – значит, случилось непоправимое.

«Папа! – кричит Чиж. – Папа!» Но звука нет. Сэди, стоя рядом, плачет.

И папа, будто услышав его безмолвный крик, бросается к ним, обнимает обоих.

Герцогиня не находила себе места в своем роскошном особняке, пока ждала Маргарет, – весь вечер, до глубокой ночи. Возвращайся, как только поймешь, что тебя засекли. Не жди. Беги, чтобы успеть улизнуть от них. Не тяни до последнего, вечно тебя заносит. И Маргарет согласилась.

Но когда она начала говорить, то уже не могла остановиться – даже когда прошло время, о котором они с Доми договорились, даже когда перешла все пределы разумного, а потом и неразумного. Когда стало ясно, что Маргарет не придет, что случилась беда, самый темный час ночи уже миновал, и Доми села за руль и отправилась в Бруклин. Голос Маргарет к тому времени почти умолк – полиция, смыкаясь вокруг нее кольцом, находила и крушила приемники один за другим, – но в четвертом часу утра, когда Доми переехала через мост, он послышался снова – голос подруги, еще громче, отчетливей, из устройств, которые пропустили или еще не нашли, как будто чем она ближе, тем слышней ее слова. От имени тех, кто за себя говорить не мог; голос ее, то печальный, то гневный, то нежный, стал голосом тысяч людей.

Но за несколько кварталов до места стало ясно: что-то случилось. Вдруг наступила мертвая тишина. Дороги, начиная от Флашинг-авеню, были перекрыты, даже до парка Форт-Грин Доми не смогла доехать. Весь район окружили полицейские машины, без сирен, но с мигалками, и Доми развернулась и переулками поехала домой. Она знала, зачем они здесь, и поняла: то, что искали, они уже нашли. И все равно надеялась, поглядывала на телефон: вдруг вспыхнет экран, вдруг позвонит Маргарет, откуда угодно, неважно откуда, и скажет, что все хорошо.

Когда телефон наконец зазвонил, было уже в разгаре утро, и Доми ждала этого звонка, была к нему готова. Да, дом принадлежит ей – а

что там нашли? Нет, полная неожиданность, и она в ужасе, как и можно догадаться. Нет, совершенно непонятно как... а хотя минутку, сзади там есть панель с кодом – должно быть, эта женщина как-то ухитрилась открыть и попасть в дом. Так чем она там занималась? Кошмар, просто нет слов. Нет, сама она туда никогда не заходит; отец купил этот дом во время Кризиса, хотел сделать ремонт, но руки так и не дошли, а потом он умер, и дом с тех пор пустует. Потому этот дом для нее печальное место, ее туда никогда не тянуло, однако продавать она пока не готова. Клод Херцог, так его звали, – да, компания носит его имя; да, семейное дело. Да, конечно, надо подумать о безопасности – сигнализацию поставить, охрану нанять. Время сейчас беспокойное, лучше перестраховаться. Пусть сообщат, когда полиция закончит там дела, хорошо?.. Спасибо за доброту; спасибо за вашу работу, за то, что поддерживаете порядок, – о, кстати, давно хотела сделать пожертвование в пользу сотрудников полиции. Нет-нет, это вам спасибо.

Тем временем она искала. Маргарет ей мало что рассказала, но даже это немного пригодилось. Просто удивительно, сколько всего можно выяснить по одному лишь имени, если знаешь, у кого спрашивать. Итан Гарднер. Имя привело ее в Гарвард, оттуда – к списку сотрудников библиотеки, и вскоре она узнала то, что нужно: адрес в Кембридже, в студгородке. Без телефона, но звонить она бы и не стала, слишком рискованно. Дорога до Бостона заняла почти пять часов – час пик, пробки у въезда в Стамфорд, в Нью-Хейвен, в Провиденс. До Кембриджа она добралась в пятом часу, въехала на стоянку возле общежития и стала ждать. Может быть, они разминутся, или пятница у него нерабочий день, или он вообще сюда не переезжал, или она заблудилась и все это зря. Она уже готова была сдать. Но наконец, в начале девятого, он появился – чуть старше, и седины чуть прибавилось, но по большому счету не очень-то изменился. Даже одет так же: вельветовая куртка, голубая рубашка, заправленная в брюки. В те времена она не понимала, что Маргарет в нем нашла, зато сейчас поняла – разглядела в нем мягкость, обещание нежности.

Когда он с ней поравнялся, Доми вышла из машины.

Окликнула: Итан! – и он обернулся, вздрогнул. Опешил. Вгляделся в ее лицо, ища знакомые черты.



Я Доми, сказала она и сразу поняла: узнал. Я приехала из-за Маргарет, продолжала она и, не дав ему вставить хоть слово, добавила: и из-за Чижа.

В тот понедельник он вернулся с работы в пустую квартиру – и у него сердце замерло. Ну вот, свершилось, подумал он с ужасом, Чижа все-таки забрали, несмотря ни на что. Ной, звал он, включая всюду свет – в гостиной, в спальне, кружа по квартире, словно не ребенка ищет, а забытые ключи. И далеко не сразу увидел на столе записку, рисунок, клочок бумаги со словом «Нью-Йорк». Даже через столько лет он узнал ее почерк – быстрый, летящий, уверенный – и все понял.

О том, чтобы позвонить в полицию, и речи быть не могло: как только начнут искать, сразу обнаружат связь с Маргарет, станут копаться в ее досье, радуясь, что нашли повод, и заведут досье и на Чижа. Можно поехать в Нью-Йорк, но что дальше? Оставалось только ждать. Если Чиж найдет Маргарет, уверял он себя, они выйдут на связь. Он не позволял себе думать: а если нет?

Во вторник с утра он позвонил в школу и сказал, что Чиж заболел; отпросился с работы, тоже сказавшись больным. Если Чиж вернется, он будет ждать дома. Весь день он ходил взад-вперед по квартире, брал с полки словари, ставил на место. Снова и снова разглядывал рисунок Маргарет: кошки, дверца. Что увидел в нем Чиж? Про обед он начисто забыл. Где сейчас Чиж? Нашел он Маргарет? А если нет?.. В ту ночь ему привиделось в полусне, будто он в своей старой квартире с Маргарет и Кризис еще не утих. Утром он проснулся один, осовелый, разбитый, на двухэтажной кровати, где место Чижа пустовало, и опять позвонил в школу и на работу, сказал, что оба еще болеют. Обессиленный, он то и дело задремывал; несколько раз ему чудился голос Чижа, но никого рядом не было.

В пятницу он пошел на работу: все отгулы он уже истратил. В библиотеке машинально обходил с тележкой ряд за рядом, аккуратно расставляя по местам книги. Его смена закончилась, а он уходить не спешил, не хотел возвращаться в пустую квартиру. Отправился в юго-западный сектор уровня Д, стал рыться на полках и наконец нашел: тонкая книжица, на обложке нарисованы кошка и мальчик, чем-то похожий на Чижа.

Оказалось, эта версия сказки отличается от версии Маргарет. Здесь семья не могла прокормить всех детей, и мальчика отдали в учение к монахам, и дом был не дом, а храм. Наверное, Маргарет что-то забыла или нарочно изменила. Или, думал он, просто есть разные варианты сказки. Что такого увидели в ней Маргарет и Чиж, а он – нет? До закрытия библиотеки снова и снова перечитывал он сказку, ища в ней ключ к разгадке, ответ, где искать родных. Но книга ни о чем ему не говорила.

Эти мысли не отпускали его в темноте по дороге домой. Какой бы ни таился там смысл, он не в словах, а в чем-то другом, – и тут из машины вышла Доми, окликнула его.

Глухой ночью они поехали обратно через Коннектикут: поток машин на дороге иссяк, все сидели по домам, за задернутыми шторами. Кое-где уже гасли фонари, а машина Доми скользила по шоссе как по маслу. Они летели сквозь тьму в пузырьке света от фар, и зачастую на многие мили им не попадалось ни одной встречной машины. Мир будто опустел, обезлюдел. Итан молчал, и Доми, чтобы не сидеть в тишине, болтала без умолку. Все самое важное она ему уже успела выложить: и про Чижа, и про дом, и про план, и куда они едут. Покончив с самым срочным, Доми невольно возвращалась к мелочам. Как выглядела Маргарет, когда они увиделись спустя столько лет. По всему было видно, говорила Доми, что ей счастливо с тобой жилось. По глазам можно было прочесть, как жаль ей все это терять.

Она рассказала Итану как можно подробнее про все: про записные книжки Маргарет, про ее скитания из семьи в семью, и картина вставала у него перед глазами – карта странствий, испещренная следами, точно стежками, словно она пыталась сшить что-то разорванное в клочья.

Слышал бы ты, повторяла Доми, видел бы ты... ее голос будто...

Доми махнула рукой, и машину слегка вынесло за желтую линию разметки.

Ее голос будто струился из воздуха. Отовсюду. И люди стояли, слушали. Смотрю в окно и вижу: стоят. Как истуканы. Всех она обратила в камень.

С той лишь разницей, подумала Доми – но вслух не сказала, не могла себя заставить, – с той лишь разницей, что некоторые из этих

каменных изваяний плакали. Маргарет держала это в уме, даже когда засуеутилась полиция, отыскала приемники и растоптала, даже когда разогнали толпу, даже когда из окна стал виден лишь пустой тротуар с обрывками проводов и осколками пластика. А те, кто здесь стоял только что, смахнули слезы и вернулись к привычной жизни, но слезы было не отменить – и Доми уверяла себя, что это важно, что это многое значит.

Но Итану этого говорить не стала, а сказала: славный он мальчик, Чиж. Хороший паренек.

И, помолчав, добавила: так похож на нее, на вас обоих.

Так и есть, отозвался Итан, и оба снова замолчали, а за окном неслась навстречу подсвеченная фарами дорога.

Было как в Помпеях, скажет потом очевидец. Все просто застыли на месте. Стоишь, а этот голос льется на тебя лавой, неся и гибель, и вечность.

Другая свидетельница запомнит эти минуты на всю жизнь, а спустя годы, когда поведет дочь в Музей естествознания, остановится перед диорамами, где звери совсем как живые, просто замерли на миг, словно воры в луче фонарика, и стоит отвернуться, как тут же бросятся врассыпную. И, глядя на диораму – лев в засаде, рядом пасется стадо антилоп, в тени маячат шакалы, нарисованное небо над саванной в медовой дымке, и все, хищники и жертвы, пригвождены к месту неведомой силой, – она вдруг вспомнит тот вечер, вспомнит, как на закате тот голос воззвал ко всем, кто был рядом, вспомнит чувство единения с незнакомыми людьми. Ей вспомнится человек, что сидел на скамейке напротив, – хмурый, с проседью, в мешковатой спецовке, ботинки прохудились, из прорех проглядывали серые носки; он посмотрел ей в глаза, и во взгляде мелькнуло: да, и я слышу. Больше она его никогда не увидит, но там, в музее, вспомнит о нем, о незримой связи, возникшей между ними, задумается о том, что встреча их была не случайна, что их сблизила та удивительная минута, – и вновь застынет, глядя сквозь льва и антилопу в прошлое, и очнется, лишь когда дочь, потянув ее за руку, спросит: мама, почему ты плачешь?

Хоть убей, не понимаю, твердит Доми. И трет кулаком глаза, размазывая по лицу вчерашнюю тушь. Рядом притулилась Сэди,

положив голову ей на плечо. Почему она тянула до последнего? Мы же с ней договаривались, она же обещала. Я думала, раз обещала – значит, выполнит.

Ты же знаешь Маргарет, отвечает Итан. Ее заносило время от времени. Она была отчаянная.

У него и у Доми одновременно вырывается горестный смешок – все, чем Маргарет выводила их из себя, теперь стало для них драгоценным.

Они говорят о ней в прошедшем времени, и Чижу трудно удержаться от улыбки: как дети, не видят дальше собственного носа! Они считают, что ее не стало, а он знает – нет. Я вернусь, обещала она, и лишь теперь он понимает: она же не сказала когда, просто обещала вернуться. И Чиж верит, по-прежнему верит: она вернется. Когда-нибудь, как-нибудь. Так или иначе. Он ее найдет, надо только стараться. Ведь случаются на свете чудеса. Может быть, она где-то рядом, только в ином обличье, как бывает в сказках, – обернулась птицей, цветком, деревом. Если стараться, он найдет ее. И с этими мыслями он повсюду ищет ее черты: в березе, что роняет листья им под ноги, в пустельге, что взмывает в небо с тонким, скорбным, проникающим в душу криком. В солнце, что пробивается сквозь листву, заливая все нежным золотым светом.

И что дальше? – спрашивает Чиж. Но ответ он уже знает.

Сейчас они стоят перед выбором. Все они могли бы вернуться к прежней жизни. Чиж с папой возвратились бы в Кембридж: Чиж – в школу, папа – в библиотеку, к своим книгам. Сделали бы вид, будто ничего и не было, на расспросы отвечали бы: нет, она нам чужая, от нее не было вестей уже несколько лет. У нас с ней нет ничего общего, не было и не будет; конечно же, взглядов ее мы не разделяем. А Сэди... Герцогиня говорит, что может подыскать ей безопасное место, но Чиж по глазам Сэди понимает, чем это кончится – она снова сбежит, так и будет все время в бегах, как до встречи с Маргарет, так и будет искать родителей, искать выход, и след ее затеряется. Словом, все они могли бы жить как раньше, как будто ничего не было, ничего не изменилось, а значит, все было зря.

Или продолжать. Искать дальше – родителей Сэди, других родителей, детей. Искать Маргарет – вдруг она жива, вдруг она где-то здесь, пусть никто из них не смеет об этом сказать, даже подумать.

Дальше собирать истории, искать способы ими поделиться. Думать, как сохранить их, передать их людям. Им придется скрываться, как скрывалась все эти годы Маргарет, – скользить из тени в тень, жить милостями добрых людей. Слушать, запоминать. Отказываться похоронить прошлое. Пусть то, что сделала Маргарет, преобразит их, хоть что-то изменит в мире. Можно и дальше катить в гору камень.

Ведь прямо сейчас кто-то где-то может говорить кому-то: слушай, тут на днях такое случилось, у меня из головы не выходит. Спустя дни, даже недели голос Маргарет словно замыкает электрическую цепь, и загорается лампочка, освещая темные уголки души, неведомые им самим. Слушай, я все думаю об этом. В городе восемь миллионов людей, истории передаются из уст в уста. Прислушается ли хоть кто-то? Хотя бы один из восьми миллионов, одна восьмимиллионная часть. Это все-таки больше, чем ничего. Хоть кто-то запомнит эту историю, передаст другим. Слушайте! Где-то кто-то скажет наконец: слушайте, так нельзя!

Никто из них не знает точно, как к этому подступиться, куда идти, как искать путь, но ничего невозможного тут нет, а это главное.

Провожая их, Доми берет Чижа за руку.

Жаль, что ты не слышал, говорит она. Лицо у нее покраснело и опухло, будто отяжелело от груза того, что пришлось пережить. Жаль, что ты ее не слышал.

И когда-нибудь он услышит – однажды он встретит того, кто, узнав его историю, скажет: помню, я там был, никогда не забуду, и перескажет ему конец маминого выступления, единственную историю, которую она не зачитала по написанному, а рассказала от себя, – передаст почти слово в слово, потому что помнит ее с той далекой ночи, когда из темноты, из ниоткуда, отовсюду, неслись слова любви.

А сейчас Доми говорит: ее стихи.

Давным-давно захожу я в книжный, а там, на витрине, ее книга. Я всегда знала, что у нее выйдет книга, обязательно выйдет. И сразу же купила, и прочла в один присест. Мы с ней много лет не разговаривали. Знаешь ли, одно время я ее ненавидела, просто люто ненавидела. Думала, мы с ней больше не увидимся, – до того, как она сама ко мне пришла. Но стихи у меня засели в голове, читаю – и

слышу ее голос. И думаю обо всем, что мы вместе пережили, какими мы были тогда.

Чиж слушает, затаив дыхание. А вдруг книга у нее сохранилась? И сейчас она достанет из сумочки замусоленный томик и сунет ему в руки?

Но Доми качает головой.

Я ее сожгла, говорит она. Когда на нее началась охота. Никто не знал, что она у меня есть, и, может быть, так бы и не узнали, но я все равно сожгла. Струсила. Вот я и хотела тебе сказать, Чиж: прости, нет ее у меня.

К горлу Чижа подступает ком. Кивнув, он спешит отвернуться. Но Доми еще не договорила.

Было там одно стихотворение, бормочет она, словно разговаривает сама с собой, припоминает полузабытый сон. Стихотворение, в нем...

Она касается пальцем ямки между ключиц, будто строки засели там, в горле.

Знаешь, я его столько раз перечитывала. Потому что была в нем мысль, которую я никак не могла ухватить, но когда я его читала, слова помогали обрести опору, хоть ненадолго. Понимаешь?

Чиж кивает, хоть он и не совсем понял.

Наверное, продолжает Доми, наверное, я могла бы его для тебя записать. Может, слово-другое перевру. Но кажется – кажется, почти все помню. Хочешь, запишу?

Теперь Чиж представляет, как все будет. Как он снова ее найдет. Что он будет делать дальше, что бы ни преподнесла ему жизнь. Где-то есть те, кто до сих пор помнит ее стихи, кто сохранил в памяти хоть несколько слов, прежде чем чиркнуть спичкой. Он станет их искать, расспрашивать, объединит их воспоминания, пусть даже неполные, обрывочные – строчку от одного, строчку от другого, – и вот так, по кусочкам, снова воссоздаст ее на бумаге.

Да, пожалуйста, отвечает он. Буду очень рад.

## Пояснение автора

Мир, в котором живут Маргарет и Чиж, отличается от нашего, но он и не чужой. У большинства событий и случаев, описанных в книге, нет прямых аналогий, но на меня повлияли многие реальные события прошлого и настоящего – а случилось, что мои фантазии успевали стать явью, пока я работала над книгой. Маргарет Этвуд писала о «Рассказе служанки»: «Если я придумываю сад, пусть жабы в нем будут всамделишными», и далее я перечислю лишь малую часть «всамделишных жаб» (и, в противовес им, маячков надежды) – те, что я держала в уме, когда писала книгу.

У изъятия детей как средства политического контроля длинная история, как в США, так и в мире. Если это не оставляет вас равнодушными – надеюсь, что нет, – вот вам примеры из прошлого и настоящего, как детей разлучают с родителями: это и разделенные семьи рабов, и государственные интернаты для индейских детей (скажем, в Карлайле, штат Пенсильвания), и основанная на несправедливости система опеки, и то, как до сих пор отбирают детей у мигрантов на южной границе США. Этой теме следует уделить гораздо больше внимания, а книга Лоры Бриггз «Как забирают детей: история американского ужаса» – бесценный источник сведений.

Пандемия, начавшаяся в 2020 году, резко усилила дискриминацию азиатов, но и это далеко не новое явление, оно уходит корнями глубоко в историю США. Во время работы над романом я держала в уме примеры из жизни, в том числе интернирование японцев в США во время Второй мировой войны, убийство Винсента Чина в 1982 году, долгосрочную «китайскую инициативу» министерства юстиции и многое другое. Если для вас это новая тема и вы хотели бы узнать больше, советую начать с этих книг: «История азиатской Америки» Эрики Ли; «Желтая опасность: архив страха перед Азией» под редакцией Джона Кво Вэй Чана и Дилана Йейтса; «Позор: страшная история интернирования японцев в США в годы Второй мировой войны» Ричарда Ривза и «От шепота к крику: убийство Винсента Чина и процесс, всколыхнувший азиатское движение в США» Паулы Ю. Новые книги об американцах азиатского происхождения выходят

каждый год, и я благодарна тем, кто освещает эту бездонную тему с разных сторон.

Удивительно, как язык и сказки живут, передаваясь из поколения в поколение, и при этом постепенно меняются – и как мы находим в них новые оттенки смысла в зависимости от обстоятельств нашей жизни. Версия «Спящей красавицы», которую вспоминает Чиж, – это версия братьев Гримм из «Иллюстрированной библиотеки для юношества», книга моего детства, а Маргарет рассказывает Чижу западноевропейские и восточные сказки, которые я тоже с детства помню. Японская сказка, лежащая в центре романа, была опубликована на английском языке Лафкадио Хирном в 1898 году и с тех пор неоднократно пересказывалась; версия сказки в романе, с некоторыми вариациями, – моя собственная. Что касается языков и размышлений Итана об этимологии, мне помогли этимологический словарь онлайн, различные лингвистические форумы и исследования моего отца, посвященные истории китайской письменности, а все ошибки Итана, разумеется, целиком на моей совести.

Некоторые акции протеста, описанные в романе, вдохновлены широко известными источниками – в частности, концепцией «подпольного искусства» и работами Джина Шарпа о ненасильственной борьбе. Сеть из ниток в общественном саду схожа с «уличным вязанием» пацифистов в США и Великобритании, а ледяные фигурки детей в Нэшвилле перекликаются с нелегально установленными скульптурами – например, статуями обнаженного Дональда Трампа, созданными группировкой INDECLINE в знак протеста против его политики, и незабываемыми «детьми в клетках», выставленными возле Центра юридической поддержки беженцев, чтобы привлечь внимание к разделению семей мигрантов на мексиканской границе. Ненасильственные акции сербского движения «Отпор», противников Асада в Сирии и других групп, особенно те из них, что так красочно описаны в книге Срджы Поповича<sup>[9]</sup> «Чертеж революции», дали мне идеи цементного куба в Остине, теннисных шариков в Мемфисе и крышечек Маргарет, а заодно помогли воссоздать общий дух мирных протестов. Думала я и о Гонконге – в частности, о выступлениях против закона о «национальной безопасности», принятого властями Китая. А еще я глубоко благодарна



Анне Дивер Смит: о ее работе я узнала, уже закончив книгу, но она, несомненно, одна из предтеч плана Маргарет.

В книге упомянуты и реальные люди. Анна Ахматова появилась в моей жизни как раз вовремя, помогла собрать воедино идеи для романа – тут хочешь не хочешь, а поверишь в судьбу. Прекрасный сборник стихотворений Ахматовой в переводах Стэнли Кунца и Макса Хейворда дает представление о ее жизни и творчестве. Я удостоилась чести назвать героиню романа, которая смело выступает против несправедливости, именем Сони Ли Чун, в благодарность ее семье за щедрую поддержку Фонда помощи семьям мигрантов. Маргарет вспоминает о Латаше Харлинс и Акае Герли – мы не забудем ваши имена и вашу жизнь. И последнее, но немаловажное: когда книга была уже готова, я узнала, что на Фейсбуке одна из групп пользуется меткой *#ourmissinghearts* для объявлений о поиске людей. Спасибо им за помощь семьям пропавших.

И наконец, нетрудно оказалось вообразить ПАКТ, его предпосылки и последствия – слишком часто у нас душат свободу слова и оправдывают дискриминацию во имя «защиты» и «безопасности». Пока я писала роман, новости снабжали меня потоком свежих примеров, а к тому времени, как книга дойдет до вас, наверняка появятся новые. Тяжело анализировать эпоху, в которой живешь, и здесь очень помогает взгляд в историю. Труды о маккартизме, в том числе «Называем имена» Виктора С. Наваски и «Век маккартизма: краткая история с документами» Эллен Шреккер и Филипа Дири, обрисовывают мрачную картину всеобщего страха; в книге Джеффри Р. Стоуна «Опасные времена: свобода слова во время войны» приведены десятки примеров из прошлого, перекликающиеся с нынешними днями, а такие книги, как «Тьма над Парижем: город света в годы немецкой оккупации 1940–1944» Рональда Росботтома, помогли мне разглядеть зыбкую грань, за которой кончается сопротивление и начинается смирение, а за смирением – коллаборационизм. Книга Тимоти Снайдера «О тирании» заставляет задуматься о том, как быстро приходят к власти авторитарные режимы (и как этому противостоять), а ставшее классикой эссе Вацлава Гавела «Сила бессильных» (1978) изменило мой взгляд на роль личности в сломе устоявшейся системы. Надеюсь, что он прав.

## Благодарности

Ни одно дело не делается в одиночку, и я бесконечно благодарна очень многим людям за помощь в работе над книгой.

До сих пор не понимаю, за что мне достался такой замечательный агент, Джули Барер, – огромная ей благодарность. Большое спасибо Николь Каннингем Нолан и всем в *Book Group*. Точка.

Как всегда, спасибо моему редактору Вирджинии Смит Юнс за неизменное спокойствие и квалифицированную помощь (а заодно и за то, что приносила мороженое, как раз когда оно мне было особенно нужно) и Кэролайн Сидни за то, что весь рабочий процесс шел гладко. Еще раз спасибо Джулиане Кийан, Мэтью Бойду, Даниэлле Плафски, Саре Хатсон, Энн Годофф, Скотту Мойерсу и всему коллективу издательства *Penguin Press* за то, что помогли книге увидеть свет и работали вдумчиво и с любовью; спасибо, что моя работа попала в такие хорошие руки. Спасибо моему корректору Джейн Каволине за зоркость сокола и терпение святой.

Спасибо вам, мои британские друзья Каспиан Деннис и Клер Смит, за постоянную поддержку моей работы; спасибо Грейс Винсент, Селесте Уорд-Бест, Хейли Кэмис, Кимберли Ниамондере и всему коллективу издательства *Little, Brown* (Великобритания), а также Николь Уинстэнли и Деборе Сан де ла Круз из издательства *Penguin Random House* (Канада). Спасибо Дженни Майер и Хайди Голл за то, что находите моим книгам таких замечательных издателей за границей; спасибо моим зарубежным редакторам и переводчикам за то, что доносите мои слова до читателей.

Спасибо вам, Эйлет Амиттай, Тасним Хусейн, Соня Ларсон, Энтони Марра, Уитни Шерер и Энн Стамешкин, за чтение рукописей и отзывы, а моей литературной группе спасибо за постоянную поддержку и вдохновение. Дженн Фан и Долен Перкинс-Вальдес, разговоры с вами помогли мне привести в порядок мысли и сделали книгу неизмеримо сильнее (и спасибо Дженн за родословное древо Мэри).

Спасибо вам, Дженни Феррари-Адлер, Марисса Перри Ступарик, Ариэль Джаникян и Энн Стамешкин (еще раз), за выходные в лесу, за

посиделки у огня и за два десятка лет умных разговоров; спасибо Кэтрин Николс за наши совместные обеды с интересными беседами и лапшой рамен, а также за любезное разрешение использовать имя Чиж; спасибо Джермену Брауну за юридическую информацию об изъятии детей и за отрезвляющее замечание: «При лояльной судебной системе возможно все». Огромная благодарность Питеру Хо Дэвису за мудрость, наставничество и за то, что поделился историей об отце, – надеюсь, она не оставит читателей равнодушными.

Благодарю Фонд Гуггенхайма за финансирование проекта, а также за слова поддержки, без которых я, возможно, так и не решилась бы написать эту книгу. Кембриджская публичная библиотека не только приютила меня, но и послужила источником вдохновения; спасибо за все, что вы делаете, и спасибо Кейт Флейм за экскурсию по служебным помещениям библиотеки, давшую пищу моему воображению.

И самое главное, спасибо моим родным. Спасибо маме и сестре за то, что вот уже сорок лет вдохновляют меня писать. Тяжело, когда в семье есть писатель, – спасибо, что принимаете меня как есть и делитесь со мной историями. Стараюсь, чтобы вы мной гордились. Спасибо моему мужу за то, что приносит мне обед, когда я забываю поесть, терпеливо выслушивает, когда я рассуждаю о сюжете и поиске фактов, берет на себя большую часть домашних обязанностей, когда я пишу, и верит в мою работу, даже когда я сама теряю веру. Это большое счастье, иметь такого спутника. И наконец, спасибо моему сыну: ты лучшее мое творение.

---

|       |
|-------|
| notes |
|-------|

## Примечания

Форт Уильям-Генри – британский форт на южном берегу озера Лейк-Джордж (на территории современного штата Нью-Йорк). Форт получил особую известность после резни, устроенной индейцами против английских солдат и колонистов, сдавшихся французам в 1757 году. Эти события легли в основу романа Ф. Купера «Последний из могикан». В настоящее время форт реконструирован и действует как музей. – *Здесь и далее примеч. перев.*

«Порабощенный разум» (*польск.*), философско-поэтический трактат Чеслава Милоша (1953).

«Вопросы, задаваемые себе» (*польск.*), сборник стихов Виславы Шимборской (1954).

Карлайлская индейская промышленная школа – первая в США государственная школа-интернат для детей коренных народов, открыта в 1879 году Ричардом Генри Прэттом (1840–1924). Целью школы была радикальная интеграция индейцев («убить в них все индейское»).



Манзанар — концентрационный лагерь в Калифорнии, где находились граждане США японского происхождения, интернированные во время Второй мировой войны. Лагерь действовал с 1942 по 1945 год.

Цзюлун – полуостровная часть городской зоны Гонконга.

Грейс Ли Боггс (1915–2015) – американская писательница, философ и общественный деятель, считается ключевой фигурой в азиатско-американском движении.

Маклюбе – блюдо арабской кухни из мяса, риса и овощей. Перед подачей на стол его переворачивают, отсюда название, которое переводится как «вверх-вниз».

Срджа Попович (р. 1973) – один из лидеров сербского студенческого движения «Отпор!», которое участвовало в свержении президента Сербии Слободана Милошевича.